

# DIALOGUE WITH TIME

## INTELLECTUAL HISTORY REVIEW

2008 Issue 25/1

---

### Editorial Council

Carlos Antonio AGUIRRE ROJAS  
La Universidad Nacional  
Autónoma de Mexico

Igor V. NARSKIJ  
South-Ural State University,  
Cheljabinsk

Mikhail V. BIBIKOV  
Institute of Universal History RAS

Valery V. PETROFF  
Institute of Philosophy RAS

Constance BLACKWELL  
International Society  
for Intellectual History

Jefim I. PIVOVAR  
The Russian State University  
for the Humanities

Vera P. BUDANOVA  
Institute of Universal History RAS

Jörn RÜSEN  
Kulturwissenschaftliche Institut, Essen

Tamara A. BULYGINA  
Stavropol State University

Marina F. RUMJANTSEVA  
The Russian State University  
for the Humanities

Piama P. GAIDENKO  
Institute of Philosophy RAS

Irina M. SAVELIEVA  
State University — Higher School  
of Economics

Igor N. DANILEVSKY  
Institute of Universal History RAS

Andrej B. SOKOLOV  
Yaroslavl State Pedagogical University

Galina I. ZVEREVA  
The Russian State University  
for the Humanities

Rolf TORSTENDAHL  
Uppsala Universitet, Sweden

Valentina P. KORZUN  
Omsk State University

Viktoria I. UKOLOVA  
Moscow State Institute of International  
Relations (University) MFA of Russia

Boris G. MOGILNITSKIJ  
Tomsk State University

Nina A. KHACHATURIAN  
Moscow State University

German P. MYAGKOV  
Kazan State University

Chen QINENG  
The Institute of World History,  
Chinese Academy of Social Sciences

# ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

## АЛЬМАНАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

2008 Выпуск 25/1

---

### Редакционный совет

Карлос Антонио АГИРРЕ РОХАС Национальный автономный университет Мехико	И. В. НАРСКИЙ Южно-Уральский государственный университет, Челябинск
М. В. БИБИКОВ Институт всеобщей истории РАН	В. В. ПЕТРОВ Институт философии РАН
Констанс БЛЭКВЭЛ Международное общество интеллектуальной истории	Е. И. ПИВОВАР Российский государственный гуманитарный университет
В. П. БУДАНОВА Институт всеобщей истории РАН	Йорн РЮЗЕН Институт наук о культуре, Эссен, ФРГ
Т. А. БУЛЫГИНА Ставропольский государственный университет	М. Ф. РУМЯНЦЕВА Российский государственный гуманитарный университет
П. П. ГАЙДЕНКО Институт философии РАН	И. М. САВЕЛЬЕВА Государственный Университет — Высшая школа экономики
И. Н. ДАНИЛЕВСКИЙ Институт всеобщей истории РАН	А. Б. СОКОЛОВ Ярославский государственный педагогический университет
Г. И. ЗВЕРЕВА Российский государственный гуманитарный университет	Рольф ТОШТЕНДАЛЬ Уппсальский Университет, Швеция
В. П. КОРЗУН Омский государственный университет	В. И. УКОЛОВА Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ Томский государственный университет	Н. А. ХАЧАТУРЯН Московский государственный университет
Г. П. МЯГКОВ Казанский государственный университет	Чен ЧИНУН Институт мировой истории Академии социальных наук, КНР

**Главный редактор**

Л. П. РЕПИНА

**Заместитель главного редактора**

М. С. ПЕТРОВА

**Члены редакционной коллегии**

М. С. БОБКОВА, И. В. ВЕДЮШКИНА, Е. А. ВИШЛЕНКОВА,  
В. В. ЗВЕРЕВА, И. Н. ИОНОВ, С. Я. КАРП, М. С. КИСЕЛЕВА,  
С. И. МАЛОВИЧКО, А. Ю. СЕРЕГИНА (отв. секретарь), С. А. ЭКШТУТ

**ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ. Альманах интеллектуальной истории. 25/1.**

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008. — 400 с.

**DIALOGUE WITH TIME. Intellectual History Review. 25/1.**

Moscow: KD “LIBROCOM”, 2008. — 400 p.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС 77-24798 от 29 июня 2006 г.

Адрес редакции:

119334, Москва, Ленинский проспект, д. 32-А, к. 1517

Тел. (495) 938-53-91

Web-страница: <http://www.igh.ras.ru/intellect/books/index.htm>

Электронная почта: [dialtime@gmail.com](mailto:dialtime@gmail.com)

**Бригадир выпуска — М. М. Горелов**

Издательство «Книжный дом «ЛИБРОКОМ»».  
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 9.  
Формат 60×90/16. Печ. л. 25. Зак. №

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».  
117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.


**ISBN 978–5–397–00423–7**

© Общество интеллектуальной истории, 2008

© Институт всеобщей истории РАН, 2008

© Журнал «Диалог со временем», 2008

© Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА	
	Е-mail: <a href="mailto:URSS@URSS.ru">URSS@URSS.ru</a> Каталог изданий в Интернете: <a href="http://URSS.ru">http://URSS.ru</a> Тел./факс: 7 (499) 135–42–16 Тел./факс: 7 (499) 135–42–46
URSS	

6518 ID 89356  
**ЛИБРОКОМ**

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СЕГОДНЯ

---

*Л. П. РЕПИНА*

## КОНТЕКСТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ\*

*«...Культура не является причиной, обуславливающей события, поведение, институты или процессы; это контекст, в котором их можно вразумительно, то есть подробно, описать»<sup>1</sup>.*

В настоящей статье, открывающей двадцать пятый — юбилейный! — выпуск «Диалога со временем», уместно продолжить и актуализировать размышления над качественными изменениями в понимании предмета, задач и методологии интеллектуальной истории, начатые мною десятилетие назад в его первом выпуске и представленные в более развернутом виде в последующих публикациях разных лет<sup>2</sup>.

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках исследовательского проекта № 06–06–80059 «Полидисциплинарные подходы, социальные теории и современная историографическая практика (конец XX – начало XXI в.)».

<sup>1</sup> Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. N. Y., 1973. P. 14.

<sup>2</sup> Репина Л. П. Что такое интеллектуальная история? // Диалог со временем. Вып. 1. 1999. С. 5-12. См. также: Репина Л. П. 1) Интеллектуальная история сегодня: проблемы и перспективы // Диалог со временем. Вып. 2. 2000. С. 5-13; 2) Современная историческая культура и интеллектуальная история // Диалог со временем. Вып. 6. 2001. С. 5-10; 3) Опыт междисциплинарного взаимодействия и задачи интеллектуальной истории // Диалог со временем. Вып. 15. 2005. С. 5-14; 4) От личного до глобального: Еще раз о пространстве интеллектуальной истории // Диалог со временем. Вып. 14. 2005. С. 5-10; 5) Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи // Диалог со временем. Вып. 22. 2008. С. 5-15; и др.

В мировой историографии рубежа XX–XXI вв. предпочтение отдается контекстуальным подходам, которое проявляется в разных ее областях неравномерно и в модифицированных формах. Общий вектор указывает на переход от *каузального* объяснения к *контекстуальному*<sup>3</sup>.

Важнейшую роль в этом процессе «всеобщей контекстуализации» сыграло становление новой исследовательской парадигмы, называемой «постнеклассической» или «неоклассической» и опирающейся на концепции исторического развития, группирующиеся вокруг разных теорий «прагматического поворота»<sup>4</sup>, которые рассматривают действия исторических акторов в их специфических локальных ситуациях, в контексте тех социальных структур, которые одновременно и создают возможности для действий, и ограничивают их. Исследования сторонников «прагматического поворота», ориентированные на синтез социальной и культурной истории, объяснения и понимания, оказывают стимулирующее воздействие на пересмотр теоретико-методологических установок в смежных областях исторического знания.

Понимание исторического контекста как ситуации, задающей не только социальные условия любой деятельности, но также конкретные вызовы и проблемы, которые требуют разрешения в рамках этой деятельности, получило широкое распространение. В последние годы все более очевидной становится правота довольно смелого для конца 1990-х годов утверждения известного французского историка Мориса Эмара о том, что «в конечном счете исторический контекст все-таки одержал верх над тягой некоторых историков к абстракциям»<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Этот факт особенно подчеркивается в работах сторонников «новой компаративной истории». См.: *Cohen, Deborah. Comparative History: Buyer Beware // Bulletin of the German Historical Institute. 2001. № 29. P. 30.* См. также: *Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective / Ed. by D. Cohen, M. O'Connor. N. Y.; L., 2004.*

<sup>4</sup> См.: *Revel J. L'institution et le social // Les formes de l'expérience: Une autre histoire sociale / Sous la dir. de Bernard Lepetit. Paris, 1995; Biernacki R. Language and the Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // History and Theory. 2000. Vol. 39. N 3. P. 289.*

<sup>5</sup> *Эмар М. История и компаративизм // Новая и новейшая история. 1999. № 5. С. 94.*

Как была одержана эта «победа» исторического контекста в объяснительных моделях новейшей историографии? Ответы на этот вопрос неоднозначны и, по-видимому, специфичны для разных ее отраслей и направлений. Что касается интеллектуальной истории, то, например, британский историк Роджер Смит относит к причинам, которые привели к контекстуализации в истории знания, следующие: требование объяснять значение высказываний намерениями говорящих, а также их практическим использованием; желание подогнать исследование в области истории социально-гуманитарного знания под обычные стандарты академической истории; стремление выявить ценностный и политический контекст утверждений о знании; намерение показать, как знание конструируется в чисто социальных категориях; предположение о том, что утверждение о знании чего-либо — это лишь часть дискурса<sup>6</sup>.

В сущности, все перечисленные обстоятельства сыграли свою роль как в истории науки, так и в интеллектуальной истории в целом, в которой новый прагматический подход к изучению интеллектуальных процессов, не ограниченный только идеями (учениями, теориями и т. п.), а «погружающий» последние в исторический контекст их возникновения, бытования и восприятия, демонстрирующий осознание взаимосвязанности идей, проблем и способов их разрешения, предстает как результат весьма длительной дискуссии о соотношении между «внутренним» и «внешним» аспектами истории идей<sup>7</sup>, т. е. между содержанием мышления, воплощенным в тексте, и социальным контекстом творчества.

Если до 1960-х гг. основное внимание уделялось «внутренней стороне», а после — социальному контексту, вследствие чего интеллектуальная история отступила перед социальной историей интеллектуалов, «выплеснувшей с водой» высказанные ими идеи, то потребовалась «встряска» лингвистического поворота второй половины 1980-х — начала 1990-х гг., пробудившего интерес исто-

---

<sup>6</sup> См.: *Смит Р.* История и история наук о человеке: чей голос? // Коллаж — 3. Социально-философский и философско-антропологический альманах. М., 2000. С. 6-26 (С. 9-10).

<sup>7</sup> Подробнее об этом см.: *Kelley, Donald.* What is Happening to the History of Ideas? // *Journal of the History of Ideas.* Vol. 51. № 1. P. 12-13.

риков к теориям языка, речи и построению текста, чтобы затем, в ходе преодоления крайностей «постмодернистского вызова» вновь привлечь внимание к внелингвистическим, социальным характеристикам дискурса, связанным с событийным контекстом, в котором создается и распространяется текст, а также с индивидуальными целями, интересами, мировоззренческими ориентациями его творца и коммуникативной ситуацией «читателя». Стало ясно, что интерпретируя тексты, недостаточно восстановить их «лингвистический» контекст, а необходимо выявить *все* обстоятельства их создания, включая динамическую составляющую рассматриваемой исторической ситуации и перипетии интеллектуальной биографии автора. Это невозможно сделать в пределах анализируемого текста и даже «полного собрания сочинений» автора (предшествующих и последующих). Чтобы понять авторское высказывание необходимо «увидеть» весь процесс его порождения, в котором «вызов» встающих перед мыслителем проблем соединяется с реальными социально-политическими и жизненными обстоятельствами, с его интересами, намерениями и целями, с располагаемыми культурно-интеллектуальными ресурсами, с событийным рядом его действий по производству текста, и проч.

Таким образом, проблемно-ориентированная интеллектуальная история отказалась от дихотомии «внутреннего» и «внешнего», содержания и конкретных условий интеллектуальной деятельности<sup>8</sup>. Фокусировка на проблемах, а не на учениях и теориях, позволила включить идеи и тексты в их исторический контекст, совместить их с целью понять высказывание или текст как событие, результаты которого определяются как мыслительным процессом, так и внешними обстоятельствами. Подчеркнем: речь идет о порождении идеи, помогающей решить проблему, как о *реакции мыслителя на вызов контекста*. Именно такой подход, интегрирующий содержание и

---

<sup>8</sup> Например, в истории наук внимание исследователя сосредоточивается скорее не на собственно теориях как таковых, а на изучении реально стоявших перед учеными проблем (включая весь спектр конвенций, практик и стратегий, вовлеченных в их постановку и решение), ставится задача раскрыть диапазон рассматриваемых ими вопросов, восстановить более общий интеллектуальный контекст, организационные структуры и структуры знания, отраженные в энциклопедиях и учебных программах. См.: *Jardine N. The Scenes of Inquiry: on the Reality of Questions in the Sciences. Cambridge, 1991.*

контекст, позволяет, по удачному выражению Дж. Ливайна, «представлять мысль в динамике — как ответ на конкретные проблемы и меняющиеся ситуации»<sup>9</sup>. Впрочем, «помещение мысли в контекст времени и установление связей с тем, что было до нее, и что пришло после» является главной задачей не только интеллектуальной истории, но и «истории вообще»<sup>10</sup>.

Смещение внимания исследователей от изучения преемственности в развитии идей к познанию каждой из них в контексте собственного времени, места и окружения знаменует переход интеллектуальных историков от абсолютизации к релятивизации объекта своего изучения. «Внутреннее содержание» (идея, учение, теория, текст) выступает одновременно как результат интериоризации мыслящим субъектом внешнего социально-культурного контекста и как возможная предпосылка трансформации последнего. При этом важно подчеркнуть, что ориентация на социокультурный контекст вовсе не означает редукцию к нему того, что составляет содержательную, «внутреннюю» сторону объекта интеллектуальной истории. Как выразился по поводу «идей, несводимых к чему-то еще», американский историк Аллан Мегилл, «идеи имеют последствия» (курсив мой. — Л. Р.), и именно по этой причине они заслуживают критического и исторического изучения»<sup>11</sup>.

Первейшая задача интеллектуального историка — понять исторический текст (будь то письменный текст, созданный средствами языка, феноменологический текст как социальная репрезентация или же текст, порожденный поведением субъекта), то есть — *понять выраженную в тексте идею*. Но это, в свою очередь, означает — выявить во всех его конкретных деталях тот «контекст, в котором эта идея возникла, ограничения, которые эта идея как форма накладывает на исторический текст, и вызванное этими ограничениями воздействие “объективной истории” на состояние воспринимающего субъекта»<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Ливайн Дж. Интеллектуальная история как история // Диалог со временем. Вып. 14. 2005. С. 51.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Мегилл А. Глобализация и история идей // Диалог со временем. Вып. 14. 2005. С. 20.

<sup>12</sup> Чень Синь. Интеллектуальная история в контексте глобализации // Диалог со временем. Вып. 14. 2005. С. 32.



Интеллектуальная история включила в свое исследовательское пространство изучение не только рождения идей, но и их распространения (как в синхронном, так и в диахронном измерении), охватив, таким образом, наряду с каноническими фигурами великих ученых и мыслителей, авторов второго и третьего плана, и еще более скромных медиаторов<sup>13</sup>. Траектория же творческой жизни ученого — на разных ее отрезках — возвращает исследователя к необходимости последовательного сопоставления результатов его деятельности в разных интеллектуальных контекстах, включая предшествующее этой деятельности состояние науки, *современность* — с позиции героя биографии, *актуальность* — с точки зрения самого биографа, а также видение им *перспектив* дальнейшего развития науки. В контексте же изучения интеллектуальных традиций на первый план выходит проблема глубины исторической ретроспективы (как она видится из той точки на темпоральной шкале, которая принимается за настоящее), определения границ находящегося в процессе становления направления / области знаний / дисциплины и специфики восприятия предшественников или же целенаправленного поиска «отцов-основателей», «благородных предков» (с солидным «символическим капиталом»), который завершается построением желаемой интеллектуальной генеалогии. Изучая какой-либо период в истории науки (как и при осмыслении ее настоящего), важно знать не только ее текущее состояние, но и как в то время оценивалось то, что было сделано предшественниками, как было ими конфигурировано искомое исследовательское пространство и как выделась их персональная иерархия в динамическом плане<sup>14</sup>.

Переосмысление теоретических, критических и аксиологических оснований интеллектуальной истории приводит к существенному расширению ее проблемного поля, развитию вопросника: как и

---

<sup>13</sup> В этой связи несомненный интерес представляет сетевая модель изучения интеллектуальных изменений, предложенная американским социологом Рэндаллом Коллинзом. См.: Коллинз Р. Социология философов. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002.

<sup>14</sup> Подробнее об этом см.: Ретина Л. П. От личного до глобального: Еще раз о пространстве интеллектуальной истории // Диалог со временем. Вып. 14. 2005. С. 5-10.

почему те или иные идеи или теории возникали, как и почему менялся их смысл, как, кем и в какой форме они распространялись, какое оказывали воздействие в чередующихся друг друга конкретно-исторических контекстах, почему одни идеи распространялись быстрее, чем другие, как и почему некоторые становились «вечными», в то время как другие были обречены на скорое забвение, почему одни тексты становились каноническими, а другие маргинализировались, как устанавливались и менялись взаимосвязи между издавна существующими и вновь возникающими идеями, концепциями, теориями, учениями, культурными традициями, системами знания, ценностей, смыслов. Этот постоянно расширяющийся круг вопросов стягивает в неразрывный узел «внешние» и «внутренние» аспекты интеллектуальной истории.

\* \* \*

Научная программа созданного в 1998 г. Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН и программа издаваемого им журнала «Диалог со временем» строятся на основе того нового понимания предмета и задач современной интеллектуальной истории, о которых говорилось выше.

В центре внимания журнала находятся междисциплинарные исследования творческой деятельности и интеллектуальных процессов в сфере истории мысли, гуманитарного, социального и естественнонаучного знания, всех аспектов творческой деятельности на базе интеграции истории идей, социально-интеллектуальной истории и микроаналитических подходов «новой культурно-интеллектуальной истории».

Новые коллективные научно-исследовательские проекты Центра интеллектуальной истории «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в XVI–XX вв.» и «Интеллектуальная история в гендерном измерении» ориентированы на сравнительно-историческое исследование интеллектуальных процессов в различных странах и регионах Европы в разные исторические эпохи.

*Н. А. СЕЛУНСКАЯ*

## **ЮБИЛЕЙ И ЮБИЛЕИ**

### **УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ЛОКАЛЬНАЯ РИМСКАЯ ИСТОРИЯ**

Журнал «Диалог со временем» празднует юбилей — выпуск, в котором появится данная статья, — двадцать пятый. Представляется любопытным обратиться именно в данный момент на страницах этого юбилейного тома к таким сюжетам, как представления о юбилее и история юбилеев. Юбилей как понятие существует в совершенно различных социо-культурных контекстах. Это слово присутствует и в бытовой лексике, и в языке Библии и, таким образом, может служить образцовым объектом для применения исследовательской стратегии интеллектуальной истории. Предлагаемый очерк должен объединить несколько задач — показать перспективы исследования темы как в контексте всеобщей, так и локальной истории, а также охарактеризовать не только стереотипы историографии, но и распространенные представления и доступные источники информации относительно истории юбилеев в христианском мире.

Почему мы, современные люди европейской культуры, считаем числа 25, 50 или 100 юбилейными? Приверженность десятичной системе не объясняет этих вопросов. Откуда происходит стремление к круглой юбилейной дате? Совпадает ли оно с желанием «отпраздновать» нулевые даты как рубеж эпохи, тысячелетия и т. д.? Естественно, можно увидеть в том и другом лишь недостаток культуры счета, хотя разночтения при подсчете юбилейной даты также имеют своего рода традицию. Речь идет и о том, чтобы обозначить дохристианские представления и традиции, которые могли создать предпосылки для дальнейшего развития идеи юбилея в латинском мире средневековья и Ренессанса. Что же такое юбилей, откуда пришло к нам представление о годе юбилея? С какой сферой представлений — светской или сакральной — связан юбилей своими корнями? Равным образом важно выделить значимые аспекты темы — как «юбилей в контексте (локальной) традиции римской истории», так и корни традиции юбилеев и циклических годовщин празднований в иудео-христианской и языческой римской истории.

Юбилей изначально связан с представлением о святом, священном годе. Не только историку<sup>1</sup>, но и любому знакомому с Библией человеку, известно понятие юбилея в особом религиозном значении. Согласно Ветхому Завету святой год отпущения и благодати, который назывался юбилейным, наступал с определенной периодичностью, по закону Моисееву такой обычай должен был соблюдаться раз в пятьдесят лет, но это никак не было связано с половиной столетия. В библейском представлении о юбилее, проявилась символика числа семь. Символика Дней Творения и Субботы была перенесена на семилетку, и седьмой год также считался годом благодати и отдохновения, когда прощались долги и отпускались на свободу рабы. Следовательно, момент семикратного повторения годов отпущения должен был тем более восприниматься как год особой милости и благодати. Семикратное повторение семилетнего цикла — совершенный сакральный момент; в этот год отдохновения и милости предполагалось, что верующие, уповая на щедрость Бога, должны отрешиться от заботы об урожае, и каждый соединиться со своим племенем<sup>2</sup>. При этом в талмудистской тра-

---

<sup>1</sup> Лучше сказать, что понятие юбилея известно и интересно также и анти-историку. Авторы одиозных «новых хронологий» интересуются данным концептом, причем их точка зрения на историю юбилеев оказывается в числе первых, предоставляемых по поиску термина, в то время, как ни один академический сайт не открывается в первой сотне по запросу на слово «юбилей» с русскоязычных поисковых систем. В такой ситуации антинаучная картина истории становится расхожим мнением, бытующей точкой зрения, и именно в этом качестве не может не заинтересовать нас.

<sup>2</sup> Левит 25-27, Числа 36:4, Навин 6 подробнее всего в (Leviticus 25:10-12). Левит, глава 25, стихи 8-24: <sup>10</sup> и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. <sup>11</sup> Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, <sup>12</sup> ибо это юбилей: священным да будет он для вас; с поля ешьте произведения ее. ...по расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе; Левит, глава 25, стихи 25-34: <sup>30</sup> если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его, и в юбилей не отойдет от него. <sup>31</sup> А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли: выкупать их [всегда] можно, и в юбилей они отходят... <sup>33</sup> а

диции могли возникать споры о том, какой же именно год — 49 или 50-й — тот самый святой год. Кроме канонических книг Ветхого Завета понятие о юбилее отражает и ряд Апокрифов<sup>3</sup>.

Возможно, кроме библейского концепта юбилея и святого года «отпущения» на основе семилетних циклов в создании юбилейной традиции христианского Рима сыграла свою роль и историческая память об античной языческой практике празднования столетий, известной как *ludi saeculares* и упомянутой Горацием. «*Carmen Saeculare*» («Вековая песнь») сочинена Горацием к десятилетнему юбилею получения Октавианом в 27 г. до н.э. титула «Август». Вековые торжества или вековые игры предписывались Сивиллиными книгами и устраивались первоначально с целью умиловивления божеств<sup>4</sup>.

---

*кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых; Левит, глава 27, стихи 16-25. <sup>18</sup> если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей;...<sup>21</sup> поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле зачатое; священнику достанется оно во владение. Числа, глава 36, стихи 1-13. <sup>4</sup> и даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут [женами], и от удела колена отцов наших отнимется удел их.*

<sup>3</sup> Цит. по изд.: Книга Юбилеев / Введ. и рус. пер. проф. прот. А. Смирнова // 2-й вып. апокрифов Ветхого Завета. Казань, 1895. «Вот слова деления дней по закону и свидетельству, по событиям годов, по их седмицам, по их юбилеям, на все годы мира, согласно с тем, что говорил Он с Моисеем на горе Синай: «...Я возвещаю тебе на этой горе, первое и последнее, и грядущее, согласно со всем делением времени под законом и свидетельством и по седмицам юбилейных годов, до века, пока Я не сойду и не буду жить с ними от века до века»». (<http://www.krotov.info/spravki/temy/a/apokrif.html>).

<sup>4</sup> Тексты Горация и русские авторизованные переводы доступны по Интернет-каналам Q. Horatii Flacci Carmen Saeculare (<http://www.horatius.ru/index.xps>; <http://www.horatius.ru/index.xps?1.0.5>): «Phoebe silvarumque potens Diana, / lucidum caeli decus, o colendi / semper et culti, date quae precamur / tempore sacro / quo Sibyllini monuere versus / virgines lectas puerosque castos / dis, quibus septem placuere colles, / dicere carmen». Интернет ресурсы содержат и комментарии к Вековой песне PORPHYRIONIS COMMENTVM IN HORATIVM FLACCVM (<http://www.horatius.ru/index.xps?9>): PHOEBE SILVARVMQVE POTENS DIANA. Hoc carmen saeculare inscribitur. Cum enim

Таким образом, можно говорить о римской и иудейской основе западной христианской традиции юбилеев. Сакральная символика половины столетия и, соответственно, сотни была известна латинскому миру средневекового христианства из разных источников<sup>5</sup>. На рубеже Дученто и Треченто юбилейные чаяния стали особенно ощутимы, и в 1300 г. папская булла узаконила эпоху христианских юбилеев, т. е. идею, которая уже не являлась чужеродной для сознания человека этой эпохи.

В этом пункте можно также из любопытства обратиться к утверждениям «новой хронологии», как показателю уровня бытовых представлений. Авторы этой картины истории глубоко убеждены, что научных исследований по данной теме нет, как, впрочем, и исторических источников для ее изучения: «А теперь обратимся к “античной” и средневековой истории. Может быть, там тоже есть упоминания о подобных юбилеях? Если есть, то очень интересно посмотреть — в какую именно эпоху справляли такие юбилеи в Европе?»

Сразу скажем, что в современных исторических трудах подробных комментариев о подобных юбилеях нам найти не удалось...»<sup>6</sup>. Сразу скажем, что упоминаний и описаний, скорее, слишком много, как всегда, когда речь идет о средневековой и ренессансной Италии. Складываются хрестоматийные топоры описания, что и таит в себе опасность. Образ имперского раннехристианского Рима и Рима Возрождения и ренессансных пап преобладают и в сознании специалиста-историка, и в восприятии поверхностно образованного читателя). Встречу двух миров — древнего имперского величия Города и роскоши Ренессанса и величия ренессансного папства — видят в традиции празднования римских юбилеев, а образ римского средневековья как будто выпадает как лишнее звено<sup>7</sup>.

---

saeculares ludos Augustus celebraret, secundum ritum priscae religionis a uirginibus puerisque praetextatis in Capitolio cantatum est.

<sup>5</sup> Не удивительно также, что после того, как один из римских юбилеев был отпразднован «не в срок» — 1390 г. — толпы верующих прибыли на никем не объявленный юбилей 1400 года.

<sup>6</sup> [http://www.chronologia.org/xpon6/x6\\_05\\_1317.html](http://www.chronologia.org/xpon6/x6_05_1317.html)

<sup>7</sup> Неслучайно пресловутые изобретатели новых хронологий считают, что первый юбилей христианского мира был отмечен на исходе XIV в., и при этом знают не более одного «средневекового» свидетельства о юбилеях (ис-

Даже не имея никаких специальных исторических знаний, но воспользовавшись хотя бы расхожими справочными англоязычными Интернет-ресурсами, нетрудно убедиться, что представление о юбилейных годах милости и благодати существовало тогда, когда римский юбилей еще не стал реальностью христианского мира<sup>8</sup>. Если же обратиться к основным историографическим предпочтениям, господствующим в научной литературе, можно констатировать, что основными сюжетами исследований являются — учреждение первого юбилея, юбилеи XV–XVII вв., тема паломничеств и индульгенций.

Однако для исследователей настолько несомненно, что средневековый менталитет включал представление о 50-летнем юбилейном цикле задолго до того, как стала осуществляться практика отпущения грехов римской церковью в юбилейные годы, что среди профессиональных историков данный вопрос не дискутируется. При этом надо отметить, что в латинской христианской культуре идея юбилея ре-актуализировалась именно на исходе XIII столетия. Менталитет этого времени воскрешал идею юбилея не только в виде представления о периодически наступающем священном моменте, но в связи с усилением эсхатологических настроений и стремлением к некоему универсальному и полному отпущению грехов.

Разницу между двумя типами восприятия юбилея можно показать на хрестоматийно известных примерах. Начнем с представления о юбилее в Англии 1220 г. в эпоху прославления Фомы Бекета. Перенесение мощей святого в 50-летний юбилей со дня мученической

---

точник этот на самом деле принадлежит эпохе Нового времени — а именно «Лютеранский Хронограф» XVII века, напечатанный на церковно-славянском языке и описывающий всемирную историю от сотворения мира до 1680 г.).

<sup>8</sup> Не странно ли, что Рунет до сих пор звучит как глас вопиющего в пустыне и одновременно напоминает фразу «впервые в советской историографии», при том, что посредством англоязычных сайтов и поисковых систем достаточно легко найти вполне вразумительный ответ по интересующему вопросу? Католическая энциклопедия в сетевом формате, как и Wikipedia, дают корректные исторические отсылки, например, отражают упоминания о юбилеях в средневековых нарративах, в частности в гимнах времен борьбы с альбигойцами (*Anni favor jubilaei /Poenarum laxat debitum./Post peccatorum vomitum/Et cessandi propositum*), а также в исторических хрониках: упоминание о юбилейном 50-летнем цикле и в хронике Альберика начала XIII в. (Pertz, MGHS, XXIII, 889).

кончины Св. Фомы Кентерберийского, в восприятии образованных современников события, не совпадение, но свершение сакрального цикла<sup>9</sup>. Представление о юбилее около 1300 г. для толпы римлян и пилигримов — это совсем иное: здесь призыв к празднованию юбилея равнозначен требованию отпущения грехов папой. С эпохи Треченто для предоставления возможности каждому чаду римской церкви приобрести к юбилейной благодати святые юбилейные годы стали провозглашать не однажды в столетие (как это предполагалось сначала), но раз в 50 лет, в 33 года (земная жизнь Иисуса и средний срок жизни в средневековой Европе) и затем раз в 25 лет.

Несомненно, что бытовое представление о юбилеях в современном мире обязано своим существованием именно такой трансформации идеи юбилея в христианской церковной традиции и выделения не только 50-летнего цикла, но и производных от него чисел 25 и 75, которые совершенно теряют связь с символикой семерки и семичастной основой библейского юбилейного цикла.

«Святыми» юбилейные годы на латинском Западе стали называть лишь с 1475 г. И самые роскошные празднования юбилеев связаны с периодом Высокого Ренессанса и новым усилением папства, а также новым расцветом папского Рима. Восприятие образов юбилейных лет и празднований, исторические интерпретации римских юбилеев — составляют проблему изучения Западного мира на рубеже Средневековья и Раннего Нового Времени.

Мне представляется важным заострить внимание на том, что подходы историков к традиции юбилеев в целом и к отдельным событиям юбилейной истории, например к первому провозглашению юбилея, могут быть рассмотрены в контексте как глобальной, так и локальной истории. Ведь юбилейный 1300 год, провозглашенный в апостольской столице — Риме, стал для латинского христианского мира не просто грандиозным событием, изменившим его, но объединяющей великой традицией. В то же время феномен

---

<sup>9</sup> PL, CXC, 421. См. также [http://en.wikisource.org/wiki/Catholic\\_Encyclopedia\\_\(1913\)](http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)): «The translation of St. Thomas of Canterbury took place in the year 1220, fifty years after his martyrdom. The sermon on that occasion was preached by Stephen Cardinal Lantron, who told his hearers that this accident was meant by Providence to recall “the mystical virtue of the number fifty, which, as every reader of the sacred page is aware, is the number of remission”».



средневекового юбилея и его восприятие современниками и потомками неотделимы от локальной римской истории.

Из заявленных нами тем исследования истории юбилеев — локальной и универсальной — наиболее распространен именно глобализирующий подход. Задачи раскрытия темы «юбилей и универсальная история», как ни странно, легче обозначить, чем перечислить аспекты римской истории, связанной с юбилеями. При этом более активно развиваемая модель восприятия, естественно, несет в себе и более весомое бремя противоречий и стереотипов.

Представления об идее юбилеев, и в частности о традиции христианских юбилеев, составляют ограниченный ряд образов, которые существуют и создаются достаточно широким популярным дискурсом и узкоспециализированной академической историографией. В школьной и энциклопедической литературе, как и в ряде научных исследований, на мой взгляд, излишне утрируются некоторые черты и почти игнорируются иные значимые моменты. Эти интерпретации пересекаются в определенных пунктах — например, в оценке юбилейных индульгенций, которые становятся узловой точкой описания. В советский период даже в серьезных исследованиях, например в комментариях к Данте, встречались одиозные определения сущности юбилеев: идея юбилейных лет низводилась на уровень политики обогащения римской курии, напрямую связывалась с практикой продажи индульгенции за деньги. В западной литературе имелись более осторожные, но также прямолинейные тезисы: именно в феврале 1300 г. было положено начало новой христианской традиции, связанной с Римом, которая возникла благодаря политике папства в период понтификата Бонифация VIII.

Принципиально важно и интересно с точки зрения исторического исследования поставить вопрос: насколько справедливо утверждение о том, что первый христианский «юбилей» был учрежден Бонифацием VIII? Не менее актуален тесно взаимосвязанный с этим вопрос о том, какую роль сыграл исторический контекст первого юбилея: атмосфера средневекового Рима накануне прихода эры юбилеев и психологический настрой тех, кто стремился испросить у папы года юбилейной благодати.

Папа Целестин, отшельник Петр Мурроне, в начале своего недолгого понтификата, пожелал дать полное отпущение грехов всем,

пришедшим в Аквилу, чтобы своими глазами увидеть нового наместника Св. Петра. Отпущение грехов 1294 года не просто предвосхитило юбилей, но и показало, насколько жаждала толпа этого чуда всепрощения и насколько радостно и легко могла воспринимать эту невиданную милость. Данный факт остается малоизвестным, интересует лишь узкую группу специалистов, а также паломников, участников месс в Аквиле.

Но традиция ведет отсчет юбилеев с 1300 по 2000 г., и «круглая дата» здесь играла свою роль. Что касается папы Бонифация, сменившего папу Целестина, то именно его хрестоматийно считают отцом римским юбилеев, разумеется, не просто потому, что его понтификат пришелся на рубеж столетий. На первый взгляд, нововведение и было обязано своим существованием инициативе этого незаурядного понтифика, всеми силами способствовавшего укреплению могущества Римской Церкви и утверждению превосходства папской власти над всякой другой. Однако булла *Antiquorum fida relati*, подводившая основание под нововведение не содержит, ни толкования, ни самого упоминания слова «юбилей». Это не дает оснований считать понтифика, изображенного Джотто в момент провозглашения юбилейной милости, единоличным инициатором ре-актуализации идеи юбилея. В названии же сочинения современника и сподвижника Бонифация, кардинала Якопо Стефанески, содержатся оба ключевых слова — «юбилей» и «столетие»: “*De Centesimo seu Jubileo anno liber*”<sup>10</sup>. Этого римлянина (что важно — отпрыска исконно римских семейств *Stefaneschi* и *Orsini*) следует считать идеологом и главным автором юбилейного проекта.

При этом ослабление папства и отсутствие понтифика в Риме (т. н. «авиньонское пленение пап» — Бонифаций, как известно, был низвергнут и умер, не вынеся осмеяния, а кардинал Якопо окончил дни в Авиньоне), как будто, должно было перечеркнуть возможность превращения новшества в последовательный ряд юбилеев в Вечном городе. Тем не менее, юбилей 1300 года не только не стал единичным событием, но положил начало традиции, которая набирала силу и сторонников, несмотря на упадок независимости и власти папства и оторванность его от Рима.

---

<sup>10</sup> *Cardinal Stefaneschi. De Anno Jubileo /La Bigne // Bibliotheca Patrum, VI, 536.*

Юбилей — невиданное и необычное событие — превратилось в событие повторяющееся, а со временем — в обычай, очевидцем и участником которого может стать любой, каждое поколение христиан (именно этим мотивировалась необходимость проводить юбилеи чаще).

Христианский культ всегда был связан с городской культурой, будь то начало христианской эры<sup>11</sup> или время возникновения нищенствующих орденов на латинском Западе. Но Рим — это особый случай и особый город, точнее даже — архетип города. Многие наводит на мысль о том, что решающее значение в укоренении традиции имел сам Вечный Город, некий культ Рима, проявившийся в самосознании христианского мира в целом, и образы Рима, созданные в той или иной среде — как возникшие в сознании средневековых горожан, так и поддерживаемые имперскими или папскими притязаниями.

Весьма важным представляется анализ самоидентификации средневековых римлян, той *цивитас*, которой продолжала именовать себя римская община, а также интерпретации взаимодействия римских исторических реалий с восприятием средневекового человека, странника, впервые столкнувшегося со спрессованными веками римской истории как квинтэссенции истории романизованного мира.

Теперь, когда мы поговорили об эпохе средневековых чаяний юбилея и первого проведения юбилея, восстановив в правах средневековье как звено юбилейной традиции, важно понять, какие умонастроения, связанные с Римом, преобладали в тот период. Нет ли необходимости уточнить, что способствовало почитанию Рима в большей степени — универсалистские идеи, связанные с ним, или же римская история как таковая, запечатленная в каждой пяди римской земли, в каждом камне и повороте течения Тибра. Естественно, Рим всегда был местом поклонения, а с началом христианской эры прошел путь от оплота гонений и сопротивления новому культу до основного центра, столицы христианского мира. Вечный Город (Рим имперский, Рим могущественной папской курии, Рим — средоточие христианских и святынь) должен был стать не тем об-

---

<sup>11</sup> *Baldovin J. F. The Urban Character of Christian Worship: The Origins, Development, and Meaning of Stational Liturgy. Rome: Pont. Institutum Studiorum Orientalium, 1987.*

разом столицы «империи зла», которым его запечатлели ранние христианские авторы, а местом чудес и паломничества.

Путешествия и паломничества в Рим составляли особую страницу в истории средневекового христианства<sup>12</sup>. Так, паломничества в Рим к христианским святыням, конечно, практиковались до начала Треченто, но никак не связывались с необходимостью совершать их по особым датам. Только в некоей особой точке пересечения истории церкви и истории римского паломничества встретились и наложились друг на друга представления о юбилейном святом времени и об очистительном посещении святыни. Только при этом совпадении сакральности момента и места действия паломника возник образ юбилейного Рима<sup>13</sup>. Особенности пилигримажа в эпоху юбилеев, изменения, коснувшиеся тех центров, через которые следовали пилигримы, а также самих форм гостеприимства, составляют особую сферу исследований, которые интенсивно развиваются в последние годы<sup>14</sup>. Эти исследования интересны для нашей темы и в той перспективе, которая показывает, насколько четким и конкретным было представление пилигрима о цели паломничества. В определенный период эти представления приобретают более четкие очертания: вместо стремления в идеальный символический центр христианского мира, путешествия, которое имело лишь мистический смысл, мы видим стремление запечатлеть в виде планов, карт и заметок исторические реалии.

Для эпохи Высокого средневековья и для начала Ренессанса в Италии понятия сакрального пространства, святых мест и тема паломничества связаны с собственно христианской традицией не так четко и прямолинейно, как это представляется на первый взгляд.

---

<sup>12</sup> *Birch D. J.* Pilgrimage to Rome in the Middle Ages: continuity and change. Woodbridge (Suffolk); Rochester (N.Y): Boydell Press, 1998; *Cahn W.* Margaret of York's Guide to the Pilgrimage Churches of Rome // Margaret of York, Simon Marmion, and the Visions of Tondal. Papers delivered at a symposium organized by the Department of Manuscripts of the J. Paul Getty Museum in collaboration with the Huntington Library and Art Collections, June 21-24, 1990. Malibu, 1992. P. 89-98.

<sup>13</sup> *Hulbert J. R.* Some Medieval Advertisements of Rome // *Modern Philology*. 20. 1922–23. P. 403-424; *Cahn W.* Margaret of York's Guide...

<sup>14</sup> Интересный пример — работа независимого венгерского исследователя, который руководит на протяжении десятилетия работой лаборатории визуальных ресурсов Центрально-Европейского Университета в Будапеште: *Szabo, Thomas*. "Le vie per Roma." *Storia dei Giubilei*, volume primo: 1300–1423. P. 70-89.

Формы паломничества в Средние века (особенно в поздний период) также нельзя свести к одной единственной модели, а осуществление миссии пилигрима было возможно наряду с другими способами удовлетворить «охоту к перемене мест», дух бродяжничества, которым жило средневековье.

С началом нового тысячелетия (с XI по XIII в. — в особенности) умножились формы небезвозмездного гостеприимства, по мере роста числа пилигримов в эпоху крестовых походов усложнились все структуры, все виды социальной коммуникации, сопутствующие жизни паломника<sup>15</sup>. Несомненно, что и эти предпосылки сыграли свою роль в увеличении масштаба паломничества, а все возрастающий поток паломников затем запускал новые механизмы обеспечения взаимодействия пилигримажа и гостеприимства в итальянских землях. При этом речь идет, разумеется, не о феномене де-сакрализации, а о более сложной взаимосвязи тех компонентов культуры, которые мы теперь расчленяем в виде понятий мирского и сакрального, но которые, однако, оставались неразделимыми в сознании средневекового человека.

Таким же двуликим, как и феномен странничества и гостеприимства, был и обличенный сакральным и мирским величием средневековый город Рим, неоднозначные образы которого неразделимо существовали в восприятии паломников. Рим, средоточие христианских святынь, демонстрировал паломникам еще и культ Города, миф Города, который был в равной степени востребован сознанием человека этого времени<sup>16</sup>. Во всяком случае, это, без сомнения, значимый образ, запечатленный, если не созданный в эпоху юбилеев. Можно смело утверждать, что востребован был образ прошлого величия Рима, а не средневековые реалии. Но важно, что именно средневековая культура сама и подготовила для себя этот образ прошлого, особый блеск величия Вечного Города, в свете которого засиял и Рим эпохи Треченто.

Свидетели святого 1300 года, великие и малые мира сего, не могли не отреагировать на это событие, вне зависимости от того, как они относились к усилению светской власти церкви и политическим инициативам папы Бонифация. При этом современники разно-

<sup>15</sup> Peyer H. C. *Viaggiare nel medioevo*. 4 ed. Bari, 2005. P. 70-73.

<sup>16</sup> *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII* / A cura di G. Albin. Torino, 1998.

го культурного уровня и эстетических идеалов рассматривали юбилей именно в четкой взаимосвязи с римскими реалиями и римской историей, и не только историей церковной и христианской. Данте, политический противник папы, возможно, был непосредственным участником и свидетелем юбилея, судя по точности и оригинальности использованного им в «Божественной комедии» сравнения движения паломников по мосту через Тибр и шествия грешников в Аду — 8 круг. Известно, что во избежание давки мост святого Ангела был разгорожен вдоль, и по одной его стороне народ шел к собору святого Петра, лицом к замку Ангела (Сант-Анджело), а по другой — навстречу, к холму Монте-Джордано<sup>17</sup>. Флорентиец Дж. Виллани, автор известнейшей хроники, посетил Рим в год юбилея и, по собственному утверждению, был вдохновлен этим паломничеством на историописание в духе римской истории<sup>18</sup>.

Сами люди, жившие после этой даты и бывшие очевидцами становления традиции святых лет в XIV–XVI вв. (т. е., по нашим представлениям, современники Ренессанса), скорее назвали бы свое время эпохой Юбилея, а не Возрождения. Юбилей, соответственно, ассоциируются с Возрождением и новым расцветом Рима. Ренессансный Рим — это главный образ, который существует, как в представлении рядового туриста, так и в историографии истории Рима после падения Империи<sup>19</sup>. Остается решить вопрос, что же

---

<sup>17</sup> Данте. Ад Песнь 18. «Уже другая скорбь и казнь другая, /Какие в первом рву заключены. /25 Там в два ряда текла толпа нагая; /Ближайший ряд к нам направлял стопы, /А дальний — с нами, но крупней шагая. /28 Так римляне, чтобы наплыв толпы, /В год юбилея, не привел к затору, /Разгородили мост на две тропы, /31 И по одной народ идет к собору, /Взгляд обращая к замковой стене, /А по другой идут навстречу, в гору».

<sup>18</sup> См.: La Nuova Cronica di Giovanni Villani (IX, 36): “E trovandomi io in quello benedetto pellegrinaggio ne la santa città di Roma, veggendo le grandi e antiche cose di quella, e leggendo le storie e' grandi fatti de' Romani, scritti per Virgilio, e per Salustio, e Lucano, e Paulo Orosio, e Valerio, e Tito Livio, e altri maestri d'istorie, li quali così le piccole cose come le grandi de le geste e fatti de' Romani scrissono, e eziandio degli strani dell'universo mondo, per dare memoria e esempio a quelli che sono a venire presi lo stile e forma da'lloro, tutto sì come piccolo discepolo non fossi degno a tanta opera fare... E così negli anni MCCC tornato da Roma, cominciai a compilare questo libro a reverenza di Dio e del beato Giovanni, e commendazione della nostra città di Firenze”.

<sup>19</sup> Stinger, Charles L. The Renaissance in Rome. Bloomington: Indiana University Press, 1998; Partner, Peter. Renaissance Rome 1500–1559, Berkeley:

было исторически первичным в связке Рим — юбилей — Ренессанс? Юбилеи ли способствовали возвышению Рима или Рим породил христианскую традицию юбилеев?

Может быть, новая мода на античную историю привлекла внимание к Вечному городу и воплотила в роскоши столицы папства эстетические потребности ренессансного человека? Ведь именно в эти века не существовало эстетического диссонанса между вкусовыми предпочтениями церкви и горожан Рима, по крайней мере, между вкусами представителей римских кардиналов и элиты общины, которые и выступали обычно в качестве заказчиков. С другой стороны, такое согласие, не только не удивительно, но просто закономерно, если проследить историческую близость римского папства и римского нобилитета.

Символические репрезентации важны для любой городской общины, для городской культуры Средневековья в целом. Но Рим — Вечный город был определенной моделью, архетипом городской жизни. Для подтверждения права и статуса *цивитас* необходимо было доказать, что средневековая община является наследницей древней традиции и славы. В этом смысле возрождение празднований, подобных античным, могло приобретать и особую ценность для формирования римской идентичности новой эпохи. И папство, и городская община не упускали случая подчеркнуть преемственность с былой славой Рима. В какой-то мере обе стороны имели моральное право на древнеримское наследие, ибо и Город, и Церковь не дали погибнуть многому из античного богатства, причем не только материального, но и идейного.

В 1300 г. Бонифаций, папа из рода Каэтани, как представитель аристократии Римской провинции, образованный и ученый деятель церкви, смог осознать и совместить в великом проекте римских юбилеев чаяния пилигримов и римлян с риторикой власти, слить в едином образе прошлое и будущее Вечного города. Несмотря на крах самого Бонифация, после «авиньонского пленения» идея юбилеев воплотилась в жизнь, поскольку соответствовала менталитету эпохи. Оставались, однако, вариативные возможности использования этой идеи, в частности, совместно с идеей нового возвеличения Рима. Эта тенден-

---

University of California Press, 1976. (Хотя работа Партнера посвящена XVI столетию, в своем Введении он касается XV века); Partridge, Loren. The Art of Renaissance Rome, 1400–1600. New York: Harry N. Abrams, 1996.

ция и была воплощена в продолжении традиции юбилеев Треченто. Юбилейные празднества в эпоху Ренессанса, начиная с Кватроченто, происходили на фоне усиления папства в Италии.

Да, нельзя забывать о том, что риторика и аллюзии, связанные с образом Вечного Города, не побудили коммуны Италии или хотя бы соседние общины римской округи добровольно предоставить пальму первенства средневековому Риму и объединиться под его началом. Но та взаимосвязь противоречивых черт, которую мы проследили, была для средневекового сознания образом Рима, неразделимым космосом мирских и сакральных основ городского величия.

С другой стороны, юбилей — необычайно важный инструмент создания западно-христианской идентичности, в которой Рим является универсалистской идеей и никак не воспринимается на уровне конкретной локальной истории. Необходимо проследивать обе эти логики, не смешивая между собой разнородные дискурсы, но понимая, что в сознании средневекового человека эти противоречивые для нас модели восприятия юбилея должны были существовать, так сказать, нераздельно и неслиянно.

В настоящий момент, учитывая особенности историографической традиции, можно сформулировать следующий вывод: история христианских римских юбилеев анализировалась в основном в связи с проблемой паломничества или феноменом продажи индульгенций, т. е. рассматривалась извне — с точки зрения пилигрима или с позиции протестантского раскола. Для сбалансированности исследовательских стратегий и создания более гармоничной исторической картины феномена юбилеев необходимо уделять больше внимания этой проблеме в контексте локальной, т. е. римской истории. Такой микро-исторический и локальный ракурс, включающий не только более тщательные реконструкции фактуры юбилейных событий, но и интерпретации представлений и менталитета римлян эпохи начала юбилеев, анализ символических репрезентаций Рима и его общины, всей христианской общины с центром в Риме, преломления сакрального действия — юбилейного отпущения грехов в особой среде — сакральном пространстве Вечного Города с его символами и атрибутами. Такой подход становится все более актуальным: распространение знания, сфокусированного на исторической конкретике, позволяет избежать — хотя бы частично — исторических спекуляций, основанных на универсалистском подходе к истории юбилеев.



# К ЮБИЛЕЮ ИОГАННА ГУСТАВА ДРОЙЗЕНА

---

*И. М. САВЕЛЬЕВА, А. В. ПОЛЕТАЕВ*

## «ВОЗВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ В РАНГ НАУКИ»

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения великого немецкого историка Иоганна Густава Дройзена. Впрочем, Дройзен был не только историком, но и классическим филологом (ему принадлежат переводы Эсхила и Аристофана), философом (развивавшим идеи философии истории) и политиком (член Франкфуртского парламента во время революции 1848 года). Одни называют его имя вслед за основателем научной исторической школы Леопольдом фон Ранке, другие связывают его с классиками немецкой философии Иммануилом Кантом и Георгом Гегелем, третьи помнят о вкладе Дройзена в решение так называемого «немецкого вопроса»<sup>1</sup>. Многоликость нашего героя имеет, однако, некоторые общие черты (единство в многообразии), определяющие творческий образ Дройзена. Среди них — отчетливая причастность немецкой традиции (немецкость), вкус к теоретическому поиску и активность, выраженная как в научных, так и в политических пристрастиях и баталиях. И все-таки прежде всего Дройзен — историк, но и как историк он вездесущ. Он оставил работы на очень разные и далекие друг от друга темы, притом писал их годами и томами, как и было принято у немцев в те времена. Наряду с изучением политической истории, что сближало его с большинством известных историков-современников, он много лет отдал разработке теоретического курса «о природе и задаче, методе и компетенции» исторической науки<sup>2</sup>, создав совре-

---

<sup>1</sup> Можно упомянуть и другие ряды, в которых Дройзен оказывается среди весьма почтенных философов и ученых, например: Шлейермахер, Гумбольдт, Бёк, Дройзен в связи с герменевтикой. См.: *La Naissance du paradigme hermeneutique: Schleiermacher, Humboldt, Boeckh, Droysen* / Eds. A. Laks, A. Neschke. Lille: Pu du septentrion. 1995.

<sup>2</sup> *Дройзен И. Г. Очерк истории [1858] // Дройзен И. Г. Историка*. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 449-501. (С. 452). Далее: *Дройзен. Очерк...*

менную теорию исторического знания, все еще сохраняющую актуальность. И сделал это первым, оставив всем нам призыв: «ищите методы».

Пользуясь юбилейным поводом, мы хотим привлечь внимание читателя к *теоретическим* текстам Дройзена, его мыслям и формулам и показать, что удивительным образом в некотором смысле он по-прежнему находится на передовых рубежах исторической науки, при том что далеко не все историки даже сегодня достигают этих рубежей.

### «Универсальный историк»

Иоганн Густав Бернхард Дройзен родился в Трептове (Померания) в 1808 г., умер в Берлине в 1884 г. Его первым детским воспоминанием был звук пушек, возвестивших взятие Парижа союзными армиями. Поступив в 1826 г. в Берлинский университет, Дройзен совершенно в духе интересов своего времени изучал литературу и историю Древней Греции, а его первым и очень значимым достижением были переводы Эсхила и Аристофана, которые стоят в одном ряду с переводами на немецкий Гомера, сделанными Иоганном Генрихом Воссом в конце XVIII века.

С 1833 г. Дройзен выступает уже с крупными историческими работами, публикуя «Историю Александра Великого», а затем два тома «Истории эллинизма» (1836–1843)<sup>3</sup>, которые составили ему репутацию известного специалиста по античности. Дройзен с удивительной для молодого ученого (ему нет еще 30-ти лет) смелостью ввел в научный оборот термин «эллинизм», охарактеризовав так историческую эпоху в истории стран Восточного Средиземноморья от походов Александра Македонского (334–323 гг. до н. э.) до завоевания этих стран Римом, завершившегося в 30 г. до н. э. подчинением

---

<sup>3</sup> Обе работы изданы на русском в переводе с авторизованного Дройзеном французского издания 1883–1885 гг., содержавшего дополнения по сравнению с немецким вариантом. В русском 3-томном издании обе работы объединены под общим названием «История эллинизма»: *Дройзен И. Г. История эллинизма. В 3-х т. / Пер. с фр. М.: К. Т. Солдатенков, 1890–1893 [1833–1843].* В 1997–1999 гг. эта работа была переиздана в издательстве «Наука» (СПб.), в 2003 г. — в издательстве «Эксмо» (Москва). Первый том русских изданий содержит «Историю Александра Великого», 2-й и 3-й тома — 1-й и 2-й тома собственно «Истории эллинизма» под названием «История диадохов» и «История эпигонов».

Египта. В этом смысле его заслуженно можно поставить в один ряд с «изобретателем» «Средних веков» Христофором Келлером (Целлариусом) и создателями концепции «Ренессанс» Жюлем Мишле и Якобом Буркхардтом. Дройзен назвал эллинизм *новым временем* античности, обозначив этим понятием эллинистическую, т.е. не чисто эллинскую, а смешанную с восточными элементами культуру, формирование которой было обусловлено распространением политического господства эллинов (греков и македонян) на восточные страны<sup>4</sup>. С тех пор ведущие специалисты по античному миру много спорили о содержании и географических границах эллинистического мира, но сам термин прочно утвердился в исторической науке.

Когда в 1836 г. Дройзен стал экстраординарным профессором по кафедре древней истории и классической филологии в Берлинском университете, казалось, что путь его вполне определен, но приглашение в Кильский университет в 1840 г. радикально изменило его профессиональную ориентацию, да и жизнь в целом. Однако прежде чем последовать за Дройзеном в Кильский, Йенский и вновь в Берлинский университеты, зададимся более общим вопросом: *что значило быть признанным историком в середине XIX века*, и в какой мере Дройзен соответствовал «идеальному типу» историка своего времени?

На середину XIX века приходится пик популярности исторической литературы и исторической профессии. Именно в этот период, как никогда прежде или впоследствии, историков любила, читала и слушала публика. И не только слушала, но и прислушивалась к их мнению. Характеризуя исключительное положение представителей своей профессии в этот период, французский историк Анри-Ирене Марру писал:

«Историк стал королем, вся культура подчинялась его декретам: история решала как следует читать “Илиаду”; история решала, что нация определила в качестве своих исторических границ, своих наследственных врагов и традиционной миссии... Под объединенным влиянием идеализма и позитивизма идея про-

---

<sup>4</sup> Анализ взглядов Дройзена на философию истории (исторического процесса) в связи с его концепцией эллинизма см. в: *Rüsen J. Begriffene Geschichte. Genesis und Begründung der Geschichtstheorie Johann Gustav Droysens*. Paderborn: Schöningh, 1969.

гресса была навязана в качестве фундаментальной категории... Владеющий секретами прошлого историк, как генеалог, обеспечивал человечество доказательствами знатности его происхождения и прослеживал триумфальный ход его эволюции. Только история могла дать основания для доказательства осуществимости утопии, показывая, что она... укоренена в прошлом»<sup>5</sup>.

Преуспевающий историк нередко сочетал увлечение классической древностью с активным участием в создании национального прошлого, интерес к политической истории — с политической ангажированностью, публичность — с «ученостью». Значимы и самые имена европейских историков — современников Дройзена: кажется, количество известных представителей истории в XIX в. сильно превышает число сопоставимых по известности историков века XX-го. Одно из определений XIX столетия — «век истории» — в большой степени следует отнести к заслугам выдающихся историков того периода.

В XIX в. история была поставлена на службу государству, и многие известные историки занимали высшие государственные должности. В Англии ведущие представители исторического цеха (Арчибалд Алисон, Генри Галлам, Томас Маколей) активно влияли на политическую жизнь, конструируя прошлое, основанное на концепциях «виггов» и «тори». Еще более показателен пример Франции середины XIX в., где два популярнейших историка, Луи-Адольф Тьер и Франсуа Гизо, возглавляли соперничающие политические партии, а затем их «сбросили» другие историки — Луи Блан, Алексис де Токвиль и Наполеон III<sup>6</sup>. В Германии в это время концепцию национальной истории создавала малогерманская школа, крупнейшие представители которой были видными политиками (Георг фон Зибель, Генрих фон Трейчке, да и Дройзен).

С переходом на службу в Кильский университет завершается первый этап научной карьеры Дройзена, и по существу изучение эллинизма отступает на задний план (хотя и в Киле, и впоследствии в Йене и Берлине он регулярно читал лекции и вел семинары по

---

<sup>5</sup> *Marrou H.-I.* De la connaissance historique (Sixième édition, revue et augmentée). Paris: Editions du Seuil, 1954. P. 11.

<sup>6</sup> *Зелдин Т.* Социальная история как история всеобъемлющая [1976] // THESIS. 1993. Вып. 1. С. 154-162. (С. 157).

древней истории, а в последние годы жизни написал несколько статей по истории Древнего мира)<sup>7</sup>.

С 1840-х годов новая и главная сфера его интересов — политическая история Германии. Лекции по эпохе освободительных войн, прочитанные в 1842–1843 гг. и опубликованные в 1846 г., последовательно развивают идеи свободы и национальной независимости<sup>8</sup>. Основными главами эпопеи освобождения в интерпретации Дройзена становятся Американская и Французская революции, а также борьба Пруссии против Наполеона. Одна из важнейших тем научного творчества Дройзена — проблема объединения Германии, в решении которой он, как представитель малогерманской школы историографии, занимал позицию сторонника «прусского» варианта<sup>9</sup>. Впрочем, не только история интересует в это время профессора. Начинается период бурной политической активности в жизни Дройзена, что вполне соответствовало духу времени. С 1844 г. Дройзен участвовал в антидатском национально-освободительном движении в Шлезвиге и Гольштейне; в 1848–1849 гг. был членом Франкфуртского парламента.

Политически весьма деятельный Дройзен навсегда покидает поле практической политики в 1851 г. Впоследствии он продолжал внимательно следить за воплощением проекта объединения Германии вокруг Пруссии, но со стороны. Однако если французский историк Огюстен Тьерри, пережив опыт революции 1848 года, ушел из исторической профессии и больше уже не писал, а другой французский историк, Франсуа Гизо, тогда же радикально пересмотрел свои взгляды, то Дройзен, переехав из Киля в Йену, а затем в Берлин, спокойно продолжал работать над сочинением «История политики Пруссии». Он уже не искал, как в 1830-е годы, аналогий между объ-

---

<sup>7</sup> Эти статьи были опубликованы в: *Droysen J. G. Kleine Schriften zur alten Geschichte*. 2 Bde. Leipzig, 1893–1894.

<sup>8</sup> *Droysen J. G. Vorlesungen über die Freiheitskriege*. 2 Bde. Kiel: Universitäts-Buchhandlung, 1846.

<sup>9</sup> Впрочем, как отмечал Бенедетто Кроче, и в работах по античной истории «Дройзен облакает свою тягу к сильному централизованному государству в форму истории Македонии — своего рода древнегреческой Пруссии» (Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с итал. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917]. С. 23). До сих пор эта проблема остается одной из центральных в историографии по «античному» наследию Дройзена.

единением Греции Филиппом II и объединением Германии, хотя во втором издании книги об Александре Македонском (1877 г.) эта связь была подчеркнута еще сильнее, чем в первом. Считая объединение Германии долгом Пруссии, Дройзен рассматривал свое исследование как важное подспорье в решении актуальных политических задач и писал историю Пруссии как предысторию грядущей Единой Германии, отдав этой задаче более 30-ти лет жизни (первая книга этого 14-томного труда вышла в 1855 г, последняя — в 1886 г., уже после смерти автора). Как отмечает Йорн Рюзен,

«конструкция Дройзена с помощью документов обосновывала единство политики и исторической науки, что было типично для эпохи буржуазных революций в Германии. История служила для него одновременно отправной точкой и для научного исследования, и для политической практики...»<sup>10</sup>.

Работа над историей Пруссии проявила одну (далее мы покажем, что не единственную) линию идейного, точнее идеологического, разрыва Дройзена с Ранке. Ранке в своих работах стремился к беспристрастности и достигал ее (что неоднократно отмечали его современники — коллеги и читатели). Дройзен, напротив, не скрывал своих политических целей и был щедр на моральные оценки. Его отношение к позиции Ранке передает избыточно резкий тон пассажа в одном из личных писем, написанных в середине 1850-х годов:

«Он [Ранке] со всей его трусливой интеллигентностью принадлежит как раз к современному берлинскому сброду; в нем нет и следа нравственной ярости, возвышенности убеждений; и отсюда проистекает то, что, когда кто-либо прочтет его книгу, он чувствует, что стал умнее, но не лучше, и он заканчивает это занятие не с новым благим порывом или с просветленным взглядом и расправленными плечами, а всего лишь с изумлением перед такой массой ума, знания и искусства»<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> *Rüsen J. Politisches Denken und Geschichtswissenschaft bei J. G. Droysen // Politische Ideologien und nationalstaatliche Ordnung. Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Festschrift für Theodor Schieder / Hgg. K. Kluxen, W. J. Mommsen. München: R. Oldenbourg, 1968. S. 171-187. (S. 171).*

<sup>11</sup> Цит. по: *Крист К. Иоганн Густав Дройзен (1808–1884) [1972] // Дройзен И. Г. История эллинизма. В 3-х т. / Пер. с франц. СПб.: Наука, 1997–1999 [1833–1843]. Т. 1. С. XIII. Здесь и далее цитаты из русских переводов работ Дройзена даются с незначительной стилистической правкой.*

Впрочем, раздраженный тон этого письма не должен вводить в заблуждение — Дройзен очень высоко ценил труды Ранке и неоднократно приводил их в пример в качестве образцовых сочинений<sup>12</sup>.

«История политики Пруссии», будучи на тот момент одним из высочайших достижений немецкой исторической науки (немногие работы даже немецких историков основывались на таком количестве нового документального материала, правда, почерпнутого почти исключительно в прусских архивах), по разным причинам не была принята ни публикой, ни коллегами по историческому цеху. Публике, и не без оснований, это сочинение Дройзена, в отличие от других, показалось скучным, а историкам — пристрастным даже по критериям того политически ангажированного века<sup>13</sup>.

Таким образом, если как создатель концепции эпохи «эллинизма» Дройзен входит во все исторические энциклопедии и исследования по соответствующей тематике, то изучение политики Пруссии не создало ему славы даже при жизни. Такова судьба второго научного проекта Дройзена.

Нас же более всего интересует третий, не завершённый, проект Дройзена, получивший название «историка» [die Historik].

#### «Ищите методы»

«Мы должны искать методы. Ибо для исследования разных проблем требуются разные методы». Этот призыв Дройзена, прозвучавший в 1864 г., в известной мере отмечает начало нового этапа дискуссии об историческом методе.

Обратим внимание на то, что *история* методологии истории довольно длинна. Истоки ее обнаруживают в античности у Дионисия Галикарнасского и Лукиана из Самосаты. В Новое время становление современных представлений об историческом знании началось в середине XVI века именно с написания разнообразныхopusов о «методе». Если за предшествующие две тысячи лет о понятии «история» в значении знания было написано несколько десятков абза-

---

<sup>12</sup> См. напр.: Дройзен И. Г. Энциклопедия и методология истории [1936 посм./1857] // Дройзен И. Г. Историка. С. 144-145. Далее: Дройзен. Энциклопедия...

<sup>13</sup> Gooch G. P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.; N. Y.; Toronto: Longmans, Green and Co., 1928 [1913]. P. 140.

цев, то теперь за одно столетие — несколько десятков *трактатов*, специально посвященных проблемам методологии истории. Достаточно сказать, что в 1579 г. Иоганн Вольф из Базеля издал собрание работ по методологии истории «Сокровищница исторического искусства», включавшее 18 текстов, из которых 16 были созданы в XVI в. (кроме того, туда были включены работы Дионисия Галикарнасского и Лукиана)<sup>14</sup>. Обсуждение проблем методологии истории активно продолжалось вплоть до первых десятилетий XVII в. Формирование представлений об «историческом» было «коллективным предприятием», в котором участвовало множество мыслителей начала Нового времени. Одним из важнейших сочинений в этой области по праву считается трактат Жана Бодена «Метод легкого написания истории» (1566). Весьма существенную (хотя не вполне положительную) роль в формировании представлений об историческом методе сыграл и труд Фрэнсиса Бэкона «О достоинстве и приумножении наук» (1623)<sup>15</sup>.

Процесс выработки исторического метода, начавшийся во второй половине XVI в., уже в начале следующего столетия фактически прервался, и новая волна интереса к методологическим проблемам возникла лишь во второй половине XIX в., в связи со становлением истории как самостоятельной дисциплины. В этот же период формируются другие общественнонаучные дисциплины — экономика, социология, психология, этнология, которые раньше были в большей или меньшей степени растворены в философии общества. Самоопределение истории в ходе «распада» достаточно единого до той поры знания об обществе, помимо прочего, означало отчетливую специализацию по времени. В последней трети XIX в. история в качестве отдельной области научного знания становится знанием о *прошлой* социальной реальности, в то время как другие общественные науки концентрируются преимущественно на анализе *настоящего*. Превращение истории в науку и ее специализация сопровождались рефлексиями по поводу специфических для этой дисциплины

---

<sup>14</sup> Заметим, что это было уже второе издание компендиума, подготовленного Вольфом — первое было выпущено в 1576 г. и включало 12 трактатов.

<sup>15</sup> Подробнее см.: Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: Теория и история. В 2-х т. Т. 1: Конструирование прошлого. Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2003–2006. Т. 1. С. 42 и далее.



правил и конвенций, принимаемых профессиональным сообществом, которые и именуются «научными методами».

В XIX в. история обретает полноценный академический статус и научную организацию: кафедры, факультеты, общества, дипломы. Так, хотя первые самостоятельные кафедры истории были учреждены в Берлинском университете в 1810 г. и в Сорбонне в 1812 г.<sup>16</sup>, в Англии, например, первые кафедры истории появились только в 1860-е годы (в Оксфорде в 1866 г. и в Кембридже в 1869 г.). Точно так же, хотя уже в конце XVIII – первой половине XIX в. во всех европейских странах издавалось множество исторических периодических изданий (только в Германии в 1790 г. их было 131)<sup>17</sup>, первые *профессиональные* национальные исторические журналы появляются лишь во второй половине XIX в.<sup>18</sup>

В отличие от многих своих европейских коллег, немецкие историки уже с начала XIX века работали в университетах, и это явилось важной предпосылкой ранней сциентизации исторического знания в Германии. Немецкая историческая школа прежде других национальных европейских историографий пришла к «научной» форме репрезентации прошлого. Те немецкие историки, которые работали в русле аналитической, а не романтической истории, ставили задачу создания «истинной картины» прошлого, неважно, универсальной или локальной. Они очень серьезно относились к историческому труду и профессии историка и вели бесконечные дебаты о специфике и задачах исторической науки. Последнее было подмечено не без сарказма еще Георгом Гегелем:

«Англичане и французы знают в общем, как следует писать историю: они более сообразуются с общим и национальным уровнем культуры; у нас же всякий стремится придумать что-нибудь

<sup>16</sup> Если не считать открытую в 1504 г., но просуществовавшую всего несколько лет, кафедру истории в университете Майнца (*Гене Б.* История и историческая культура средневекового Запада / Пер. с фр. М.: Языки славянской культуры, 2002 [1980]. С. 42) или основанную Уильямом Кемденом в начале 1620-х годов кафедру истории в Оксфордском университете, которая также перестала существовать после его смерти в 1623 г.

<sup>17</sup> *Wittram R.* Das Interesse an der Geschichte // *Die Welt als Geschichte.* 1952. Bd. XII. H. 1. S. 1.

<sup>18</sup> «Historische Zeitschrift» (1859) в Германии, «Русская старина» (1870) в России, «Révue historique» (1876) во Франции, «Rivista storica italiana» (1884) в Италии, «English Historical Review» (1886) в Англии, «American Historical Review» (1895) в США.

особенное, и, вместо того чтобы писать историю, мы всегда стараемся определить, как следовало бы писать историю»<sup>19</sup>.

Тем не менее именно немцы создали «школу» исторического исследования, оставили после себя огромный массив опубликованных и проанализированных документов и множество исторических сочинений, если не читаемых, то почитаемых до сих пор.

Стремление следовать научной модели знания позволило немецким историческим школам во второй половине XIX в. занять лидирующие позиции в историческом знании, вписаться в позитивистскую конструкцию и стать «образцом» европейской историографии, которому сознательно следовали иные национальные школы (русская, американская и др.). А установленные немцами критерии научности, связанные с отношением к источнику, радикально изменили характер исторических исследований, став признаком профессиональной культуры любого ученого-историка.

Дройзен, безусловно, относится к выдающимся представителям немецкой исторической школы, но, в отличие от Ранке и его последователей, он не только реализовывал новую научную методологию на практике, но и активно размышлял об историческом методе. Уже в Предисловии ко второму тому «Истории эллинизма», опубликованному в 1843 г. всего в нескольких экземплярах (в остальных экземплярах этого издания присутствовал только первый абзац предисловия с посвящением Юстусу Ольсгаузену)<sup>20</sup>, он говорил о недостатке в исторических штудиях собственно исторической теории при избытке историософии. Он писал, что история, именем которой иногда называют XIX столетие, как наука все еще не находит своей «жизненной точки» и по-прежнему заимствует ее то в философии истории, то в теологии истории, и бог весть, где еще.

«Пожалуй нет научной области, столь далекой от того, чтобы быть теоретически обоснованной, знающей свой предел, струк-

---

<sup>19</sup> Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории / Пер. с нем. СПб.: Наука, 1993 [1837 посм.]. С. 60.

<sup>20</sup> Юстус Ольсхаузен (Justus Olshausen) (1800–1882) — немецкий востоковед и филолог, профессор Кильского университета. Так же как и Дройзен, в 1852 г. был вынужден покинуть университет за антидатские настроения. В том же году получил должность профессора восточных языков в Кёнигсбергском университете в Пруссии. С 1860 г. — член Прусской академии наук.

турированной, как история; за виртуозностью своей техники и огромным накопленным материалом, за умышленной дерзостью публицистики и легковесным дилетантизмом философии наука, кажется, забывает, чего она лишена... Нам требуется такой как Кант, который бы пересмотрел не исторические материалы, а теоретическое и практическое отношение к истории...»<sup>21</sup>.

Чтобы оценить по достоинству дерзания Дройзена, читатель должен сделать интеллектуальное усилие и перенестись в середину XIX в. В лекционном курсе, который он неоднократно читал студентам Берлинского университета с 1857 по 1883 г., Дройзен отвечал на «исторический вопрос» *своей* эпохи. Насколько данные им ответы опередили время, может понять только специалист (историк скорее, чем философ, ибо прорыв был совершен именно в области интерпретации природы исторического знания). Для того чтобы обрисовать диспозицию (основные подходы к трактовке исторического знания и их соотношение) на тот момент, когда Дройзен приступил к чтению курса, лучше всего привести его собственные слова. Нам неизвестно, чтобы кому-то еще, даже и в последующих поколениях, удалось столь кратко и одновременно исчерпывающе подвести итоги дискуссий об историческом знании, начатых еще в XVIII в. и продолжавшихся при Дройзене.

В речи, произнесенной при вступлении в Берлинскую Академию наук в 1868 г., он отметил, что с древних времен над историей «тяготеет предвзятое мнение, что она представляет собой занятие, лишенное метода (*ἀμέθοδος ἔλξη*), равно как и господствующее в классической античности представление, что она относится к области риторики». Это представление, по его словам, вновь возродилось в тезисе, что история является одновременно и наукой, и искусством<sup>22</sup> (сколько еще раз впоследствии воспроизведется этот тезис!). В то же время Дройзен выступал против сведения истории к эмпирической работе, призванной лишь поставлять материал для философов:

---

<sup>21</sup> Дройзен И. Г. Теология истории (Предисловие ко 2-му тому «Истории эллинизма») [1843] // Дройзен И. Г. Историка. С. 505-525. (С. 516).

<sup>22</sup> Дройзен И. Г. Речь, произнесенная при вступлении в Берлинскую Академию наук [1868] // Там же. С. 574-580 (С. 576). Далее: Дройзен. Речь...

«Достоправная гёттингенская историческая школа<sup>23</sup> прошлого столетия, хотя и не первая, попыталась сделать систематический обзор области истории и развить ее научный метод, и с ее стороны не было недостатка в наименованиях и изобретательных различиях. Например, в наш обиход вошли от нее такие рубрики и дистрикции, как всемирная история, всеобщая история, история человечества, исторические элементарные и вспомогательные науки. Однако метод, которому она учила, был лишь техникой исторической работы; и воспринятое ею выражение Вольтера “философия истории” было как бы приглашением, адресованным философии»<sup>24</sup>.

Наконец, Дройзен вступал в открытую полемику с тогдашней «философией истории». Он говорил (это существенно с точки зрения современных дискуссий о характере исторического знания), что если бы философы взяли на себя только обоснование исторического процесса *познания* (курсив наш. — И. С., А. П.), то это «в высшей степени заслуживало бы благодарности». Но философы занялись и созданием субстанциальной философии истории, разработкой концепций исторического *процесса*, что привело к довольно плачевным последствиям для исторической науки.

«В одной системе... был сконструирован общий исторический труд всего рода человеческого как самодвижущаяся идея. В другой же системе учили об этом самом общем труде человечества, что “всемирная история, собственно говоря, есть только случайная конфигурация и не имеет метафизического значения”. С третьей стороны, требовали в качестве научной легитимизации нашей науки, обозначая как ее задачу, нахождение законов, по которым движется и изменяется историческая жизнь. Ей рекомендовали заимствовать норму из географических факторов и “первозданной естественности”; в связи с так называемой “позитивной философией” была сделана весьма привлекательная попытка “возвести” историю, как заявляли, “в ранг науки”»<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Основатель гёттингенской исторической школы XVIII в. — Август Людвиг Шлёцер (1735–1809). С 1765 г. — ординарный профессор истории Петербургской Академии наук, с 1769 г. — профессор Гёттингенского университета. Его историографическая концепция изложена в работе «Понятие всеобщей истории» (*Schlözer A. L. von. Vorstellung Seiner Universal-Historie. 2 Bde. Göttingen / Gotha: Dieterich, 1772–1773*).

<sup>24</sup> Дройзен. Речь... С. 577.

<sup>25</sup> Там же.

Имена Георга Гегеля, Огюста Конта, Генри Бокля и других известных архитекторов философии истории легко прочитываются в резюме Дройзена, равно как и его отношение к подобным взглядам на прошлое и научное знание о нем.

Результаты исследовательской деятельности самого Дройзена в области теории истории по содержанию и последствиям следует интерпретировать уже в контексте того этапа в развитии исторической науки, который в целом может быть охарактеризован как господство позитивистской историографии. Облик исторической науки второй половины XIX-го, а во многом и первой половины XX в., очень заметно изменился под влиянием позитивистского подхода, представители которого, с одной стороны, много сил приложили к отделению истории от философии, но с другой — передоверили задачи исторического анализа социальным наукам, сделав уделом историка сбор эмпирического материала.

Понятно, что подобные усилия не реализовались полностью, и были историки, которые вели борьбу за суверенность своей дисциплины в противовес контовско-спенсеровскому «натурализму», стремившемуся превратить историю в придаток социологии с ее «объясняющими законами». Фигура Дройзена — одна из первых и по времени, и по значению в отнюдь не длинном ряду методологов истории. Примечательно, что, будучи, безусловно, философствующим историком, Дройзен оказался одновременно и одним из первых теоретиков только возникающей исторической науки. Свою задачу он видел в том, чтобы обеспечить методологическую автономию истории как самостоятельной научной дисциплины, сделать исследовательский процесс независимым от религиозной, философской или естественнонаучной картины мира.

«Во все времена спекуляция, как теософская, так и философская, пыталась играть главную роль в областях, принадлежащих истории, и уж тем более в областях природы... Но едва наша наука вышла из-под власти философии и теологии — большая заслуга XVIII в. — как пришли естественные науки, возжелавшие овладеть ею и опекать ее. Точно так же, как полвека назад философия... надменно говорила: лишь философия — наука, а история постольку наука, поскольку умеет быть философичной, — так и теперь естественные науки говорят: наука лишь то, что движется

на основании естественнонаучного метода, и к ним присоединяется так называемая позитивная философия Конта и Литтре...»<sup>26</sup>.

Неудовлетворенный в разной мере и по разным основаниям всеми этими подходами Дройзен видел задачу историков своего времени (и в первую очередь свою собственную задачу) в том, чтобы обобщить имеющиеся в распоряжении историков «методы, объединить их в систему, разработать их теорию и таким образом установить не законы истории, а только законы исторического процесса познания и знания»<sup>27</sup> (курсив наш. — И. С., А. П.). Не Бокль возвел историю в ранг науки, а Дройзен.

Значение теоретических работ Дройзена состоит еще и в том, что в данном случае к вопросам методологии обращался именно историк. Для нас это решающий пункт, поскольку у Дройзена речь идет не о поисках общенаучного метода или пусть даже метода всех наук о культуре, как впоследствии будет у Вильгельма Дильтея или Генриха Риккерта, а о попытке определить метод науки-истории.

### «Историка»

Свою теорию исторической науки Дройзен именовал «историкой» или «наукоучением истории»<sup>28</sup>. По словам известного специа-

---

<sup>26</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 59-60. Эмиль Литтре (Émile Maximilien Paul Littré) (1801–1881) — французский философ-позитивист и филолог, член Французской академии (1871). Ученик и последователь Огюста Конта, дополнил его учение о трёх стадиях развития человечества понятием четвёртой стадии — техники. Вместе с Григорием Николаевичем Вырубовым (1843–1913) основал и издавал журнал «La philosophie positive» (т. 1–26, 1867–1881). В качестве филолога известен как автор «Истории французского языка» (т. 1–2, 1863) и «Словаря французского языка» (т. 1–4, 1863–1872).

<sup>27</sup> Дройзен. Очерк... С. 578.

<sup>28</sup> Здесь и далее, следуя Дройзену, «историкой» мы будем называть его концепцию, сформулированную как в «Энциклопедии и методологии истории», так и в «Очерке историка». Термин «историка» (Historik) заимствован Дройзену у немецкого историка Георга Готфрида Гервинуса, который обозначал им теоретические представления об истории как реальности и истории как науке (*Gervinus G. G. Grundzüge der Historik. Leipzig, 1837*). В действительности по своему содержанию он является синонимом методологии (*Methodologie, Methodenlehre*), которым Гервинус не пользовался, но это слово уже входило в лексикон историков для обозначения области теоретических проблем. В 1910-е годы русский историк Николай Иванович Кареев использовал термин «истори-

листа по историографии Эрнста Брейзаха, теория Дройзена

«...являет собой лучшее и наиболее полное выражение немецкой исторической теории XIX в., которой Ранке никогда не написал, и которая... стала первой линией обороны в борьбе со сторонниками историографии, организованной по подобию естественных наук»<sup>29</sup>.

Остается только сожалеть, что давно всеми забытая «История политики Пруссии» заняла (и отняла) последние 30 лет жизни великого историка. Примерно столько же лет (с 1857 г.) он читал курс «Энциклопедия и методология истории», названный по образцу курса лекций Августа Бёка «Энциклопедия и методология филологических наук», который Дройзен прослушал в молодости. Писать одновременно две книги ему было просто некогда, и лекции остались неизданными (хотя имеются свидетельства того, что он задумывался об их издании)<sup>30</sup>. При жизни ученого свет увидела только небольшая брошюра «Очерк историки», написанная в виде тезисов специально для слушателей курса. Впервые изданная на правах рукописи в 1858 г., она оказалась востребованной и трижды переиздавалась (в 1862, 1875 и 1882 гг.). Эрих Ротхакер в 1925 г. включил «Очерк историки» в первый том своей серии «Философия и гуманитарные науки», назвав ее «самым гениальным введением в историческую науку из всех, какие у нас есть»<sup>31</sup>. Как писал в 1922 г. Эрнст Трельч, в этой брошюре были

«...затронуты все новейшие понятия, связанные с логикой истории: понятие исторического времени; понимание в противоположность объяснению; преобразование, но не отражение прошлого в исторических понятиях; идиографический и номотетический метод; иррационализм истории и свободы в противовес рационализму в естественных науках; понятие отно-

---

ка» в названии одной из своих работ (*Кареев Н. И.* Из лекций по общей теории истории. Ч. I. Теория исторического знания (Историка). Ч. II. Историология. Теория исторического процесса. Ч. III. О школьном преподавании истории. СПб./Пг.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913, 1915, 1917).

<sup>29</sup> *Breisach E.* Historiography: Ancient, Medieval and Modern. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1983. P. 238.

<sup>30</sup> Об истории публикации лекций Дройзена см.: *Хюбнер Р.* Предисловие издателя // *Дройзен И. Г.* Историка. С. 24-40. Далее: *Хюбнер.* Предисловие...

<sup>31</sup> Цит. по: *Хюбнер.* Предисловие... С. 25.

сительно-исторического и потому относительно закономерного; диалектика; формула историзма»<sup>32</sup>.

Записями самих лекций по курсу «Энциклопедия и методология истории» долгое время никто не интересовался. Когда внук Дройзена историк Рудольф Хюбнер обнаружил, что тетради с записями существуют (к счастью, на 73-м году жизни Дройзен начисто и наново переписал курс), он взялся за подготовку рукописи к печати, и в 1936 г. книга была издана.

Естественно публикация не может воспроизвести полностью те лекции, которые некогда были прочитаны — «живое слово и исходящую от него силу воздействия никогда нельзя заменить печатным текстом»<sup>33</sup>. Тем более что и сам Дройзен в уже упомянутом письме признавался, что добиться «блеска в глазах» слушателей ему более удастся в устной речи и благодаря этому он «смог кое-чего достичь на кафедре: здесь есть нужное мгновение, и ощущаемая тобой реакция слушателей, и рост их возбуждения»<sup>34</sup>. Однако, по удачному выражению Хюбнера, публикация этих лекций позволяет «довольствоваться заменой того, что само по себе незаменимо»<sup>35</sup>.

Особенностью курса Дройзена по методологии истории является то, что он представляет собой «энциклопедию» еще и в смысле репрезентации поистине безграничных познаний лектора, знатока разных исторических эпох и ареалов, специалиста по экономической истории и истории права, историософии и филологии, литературе и зодчеству, нумизматике и эпиграфике. Текст во все не абстрактен, что порой характерно для теоретических курсов. Он и не выстроен по распространенной модели: тезис — пример или по принципу: теория — «исторический фон». Дройзен превосходно выдерживает логику теоретического рассуждения, погрузившись при этом во всемирную историю, лавируя в гуще сведений об огромном количестве исторических личностей, фактов, курьезов, документов, исследований.

---

<sup>32</sup> Трельч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994 [1922]. С. 541, сн. 55.

<sup>33</sup> Хюбнер. Предисловие... С. 32-33.

<sup>34</sup> Цит. по: Крист. Указ. соч. С. XIII.

<sup>35</sup> Хюбнер. Предисловие... С. 33.



Здесь самое время напомнить, что мы имеем дело не с методологическим трактатом, а с лекционным курсом. «Историка» адресовалась студентам, и обратим внимание на то, что профессор Дройзен считал необходимым и возможным читать молодым людям столь теоретически сложный и новаторский курс, требующий к тому же глубокого знания истории. Это делает честь и ему, и его слушателям.

Курс лекций Дройзена начинается своеобразной «декларацией независимости»:

«Конечно, мы не будем заимствовать из других наук дефиницию нашей науки и правила ее метода. Ибо мы тем самым подпали бы под их нормы и стали бы зависимы от их методов»<sup>36</sup>.

Как мы уже могли заметить по приведенным выше высказываниям, для Дройзена вопрос о методологическом суверенитете истории был действительно первостепенным. Сам Дройзен обращал внимание на то, что

«“Историка” не является ни энциклопедией исторических наук, ни философией (или теологией) истории, ни физикой исторического мира и уж тем более ни поэтикой историографии. Она должна поставить перед собой задачу быть органом исторического мышления и исследования»<sup>37</sup>.

Итак, метод делает науку наукой, и для поиска исторического метода, по мнению Дройзена, важны три момента: имеющийся в наличии эмпирический материал; способ, при помощи которого мы получаем результаты из этого исторического материала, и отношение полученных таким образом результатов к реалиям, объяснить которые мы пытаемся<sup>38</sup>.

#### «Вопрошающий ум»

«Энциклопедия и методология истории» Дройзена включала следующие разделы: методика, систематика и топика (изложение) истории (в разное время они компоновались по-разному). Методика делилась на эвристику, критику и интерпретацию (исторического материала), отвечая на вопросы: *почему, каким образом, с какой це-*

---

<sup>36</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 43.

<sup>37</sup> Дройзен. Очерк... С. 466.

<sup>38</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 61.

лю. Систематика определяла область применения исторического метода, отвечая на вопрос: *что* может исследовать история. К топике относился анализ форм исторического изложения (план выражения, как сказал бы современный исследователь). И в каждом из указанных разделов мы обнаруживаем идеи, к которым не применим эпитет *устар.*

На самом деле «Энциклопедия и методология истории» полна множеством вопросов. Есть в ней и раздел «Исторический вопрос», в котором рассматривается такая часть ремесла историка как умение правильно задавать вопросы: текстам и вещам. Строго говоря, основную задачу всего курса можно свести к позднейшей формулировке Шарля-Виктора Ланглуа и Шарля Сеньобоса: «Как ставить вопросы в науке, столь отличной от других наук?»<sup>39</sup>.

Во многом чередование вопросов и ответов определяется форматом лекции. Отчасти такая манера связана с новизной и сложностью предмета. Но, кроме того, нам кажется, что объяснение кроется и в природе *ума* самого Дройзена, недаром он утверждал:

«Чем сильнее развит вопрошающий ум, чем богаче содержание, которое вкладывает он в свой вопрос, приступая к новой задаче, тем значительнее вопрос, который он ставит»<sup>40</sup>.

Конечно, как писал Дройзен, «вопрос и поиск, отталкивающийся от него, — это первый шаг исторического исследования»<sup>41</sup>. Лекции позволяют проследить процесс поисков ответов (здесь тоже хорошо видны преимущества устного жанра). Но мы, ввиду собственных жанровых ограничений, сосредоточимся на нескольких важнейших, с нашей точки зрения, ответах (научных результатах).

Представления Дройзена об исторической науке могут быть суммированы в нескольких его тезисах:

«История — не сумма происшествий, не общий ход всех событий, а некоторое знание о происшедшем, т. е. происшедшее, которое знают»<sup>42</sup>.

«Наша наука — не просто история, а *istoría*, исследование, и

<sup>39</sup> Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / Пер. с фр. 2-е изд. М.: ГПИИБ, 2004 [1898]. С. 201.

<sup>40</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 80.

<sup>41</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 82.

<sup>42</sup> Дройзен. Очерк... С. 461.

с каждым новым исследованием история становится шире и глубже»<sup>43</sup>.

«...Материалом нашего исследования является то, что еще не исчезло из былых времен»<sup>44</sup>.

«Задача истории есть понимание [прошлого] путем исследования»<sup>45</sup>.

Остановимся на некоторых из этих тезисов, которые Дройзен обозначал как «фундаментальные предложения», чуть более подробно.

Область научных прозрений Дройзена, с которой хочется начать, ибо она непосредственно касается и объекта, и задач исторической дисциплины — представление об исторической реальности. Концепция Дройзена исходит из удивительно опережающей свое время интерпретации природы прошлой социальной реальности. В то время как глава немецкой исторической школы Леопольд фон Ранке призывал историков, описывая прошлое, следовать девизу «как это было на самом деле», Дройзен утверждал, что

«результатом критики источников является не “подлинный исторический факт”, а то, что материал подготовлен для получения относительно точного и конкретного *мнения*» (курсив наш. — И. С., А. П.)<sup>46</sup>.

Он писал, что фундаментальный принцип исторической науки состоит в том, что сведения о прошлом

«...она ищет не в нем самом, а в том, что от него еще имеется в наличии, и тем самым, в какой бы то ни было форме, доступно эмпирическому ощущению. Наша наука целиком основывается на предположении, что на основе таких современных нам материалов мы будем устанавливать не прошлые события, а аргументировать, исправлять и расширять наши представления о них...»<sup>47</sup>.

Такая трактовка результата исторического исследования непосредственно связана с абсолютно актуальным и четко артикулиро-

---

<sup>43</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 63.

<sup>44</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 64.

<sup>45</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 70.

<sup>46</sup> Дройзен. Очерк... С. 474.

<sup>47</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 63.

ванным представлением о предмете исторической науки. Дройзен полагал, что таковым является не прошлое, а *человеческие действия, совершенные в прошлом* (по терминологии Дройзена, *волевые акты*). Именно эти акты историк должен попытаться вычленил из течения событий:

«... Любой так называемый исторический факт, помимо средств, связей, условий, целей, которые действовали все одновременно, является комплексом волевых актов... которые как таковые минули вместе с тем настоящим, которому они принадлежали, и сохраняются лишь в виде остатков того, что тогда было сформировано или сделано, или проявляют себя во взглядах и воспоминаниях»<sup>48</sup>.

И в другом месте: «Когда мы говорим: “Государство, народ, церковь, искусство и т. д. делают то-то и то-то”, то мы имеем в виду “благодаря волевым актам” [людей]»<sup>49</sup>.

При такой постановке вопроса Дройзен вступал в прямую полемику с позитивистами, полагавшими, что социальная жизнь определяется историческими законами, а поступками людей можно либо пренебречь, либо искать в них лишь проявления этих самых законов.

Дройзен также первым подвел итоги «классического» этапа развития источниковедения. В частности, им была предложена развернутая классификация «источников», т. е. эмпирического материала, используемого в исторических исследованиях. Дройзен, в соответствии с традициями школы Ранке (который работал в том же Берлинском университете), уделял существенное внимание эмпирическому материалу исторического исследования. Оставляя в стороне его не слишком удачную классификацию<sup>50</sup>, можно констатировать, что подход Дройзена к проблеме источников имел, как минимум, три примечательных особенности.

---

<sup>48</sup> Дройзен. Очерк... С. 471.

<sup>49</sup> Дройзен. Очерк... С. 488.

<sup>50</sup> Дройзен подразделял исторический материал на *остатки* — «то, что имеется еще непосредственно в наличии из того настоящего, понимание которого мы ищем»; *источники* — «то, что от них перешло в представления людей и дошло до нас как воспоминание»; и *памятники* — «вещи, в которых объединены обе формы» (Дройзен. Очерк... С. 468).

Во-первых, Дройзен предложил необычайно широкую трактовку исторических источников, не многим отличающуюся от современной. К историческому материалу он относил не только архивные «деловые документы» (корреспонденции, счета, юридические грамоты и т. д.), но также «изложение мыслей, выводов, духовных процессов всякого рода» (мифы, философские и литературные произведения, а также «исторические труды как продукт своего времени»), сказания и исторические песни, речи в суде и парламенте, публицистические речи и проповеди, воспоминания (мемуары), «произведения искусства всякого рода», надписи, медали, монеты и т. д., «произведения, которым дал форму человек (художественные, технические и т. д.)», вплоть до дорог и общинных лугов; «любые монументальные отметки для памяти вплоть до пограничного камня, титула, герба, имени»; наконец, сохранившиеся в настоящем «правовые институты нравственных общностей» (нравы, обычаи и традиции, законы, государственные и церковные установления), и этим список далеко не исчерпывается<sup>51</sup>.

Во-вторых, говоря об источниках, Дройзен постоянно отмечал их отрывочность и фрагментарность, не позволяющую получить полную картину прошлого. Поэтому «мерой достоверности исследования» он полагал четкость в обозначении пробелов и возможных ошибок. А отсюда вытекает необходимость анализировать разные виды источников, в поисках точки пересечения между ними<sup>52</sup>.

Наконец, Дройзен всячески выступал против «фетишизации» источников, настойчиво подчеркивая, что источники — это только материал для изучения, их анализ и критика — лишь подготовительный этап, а самое сложное в работе историка начинается на стадии собственно исследования.

«Добросовестность, не идущая дальше результатов критики [источников], заблуждается, предоставляя дальше работать с ними фантазии, а надобно было бы поискать для дальнейшего исследования правила, которые гарантируют его корректность»<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Дройзен. Очерк... С. 468-469; подробнее см.: Дройзен. Энциклопедия... С. 84-145.

<sup>52</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 224.

<sup>53</sup> Дройзен. Очерк... С. 474.

Еще один фундаментальный принцип Дройзена — «Сущность исторического метода — понимание путем исследования»<sup>54</sup>. «Понимание является синтетическим и одновременно аналитическим, индукцией и дедукцией»<sup>55</sup>, — так тезисно сформулировал Дройзен свое представление о «понимании» в «Очерке истории». Расшифровывая эти тезисы в «Энциклопедии и методологии истории», он пишет:

«Наша задача может заключаться только в том... чтобы попытаться узнать путем исследований имеющихся у нас материалов, чего хотели те люди, которые создали, действовали, трудились, что волновало их Я, что они хотели высказать в тех или иных выражениях и отпечатках своего бытия. Из материалов, какими бы фрагментарными они ни были, мы пытаемся познать их волеия и деяния, условия их желаний и поступков; из отдельных выражений и образований, которые мы еще можем понять, мы пытаемся реконструировать их Я, или в том случае, если они действовали и создали сообща, постичь это общее, ... частицей и выражением которого они являются»<sup>56</sup>.

При этом следует обратить внимание на слово «пытаться», которое не случайно встречается в процитированном абзаце три раза. Дройзен прекрасно понимал ограниченные возможности и пределы нашего понимания людей прошлого, их мыслей и чувств:

«Необходимо длительное и трудное опосредование, чтобы вникнуть в чуждое, ставшее для нас непонятным, чтобы восстановить представления и мысли, которыми люди руководствовались сто, тысячу лет назад, совершая те или иные поступки, по-своему их воспринимая; необходимо как бы понять язык, на котором говорят странные для нас теперь события и социальные отношения»<sup>57</sup>.

Конечно, сам термин «понимание» ныне выглядит немного архаично и в значительной мере уже ушел из современного научного лексикона, но в то время, акцентируя роль «понимания», Дройзен противостоял как естественнонаучным методологическим дискуссиям об «описании и объяснении», так и представлениям романтиков о возможности вчувствования, проникновения в мысли людей про-

<sup>54</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 65.

<sup>55</sup> Дройзен. Очерк... С. 463, 464.

<sup>56</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 71.

<sup>57</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 144.

шлого. (Как легко заметить, и естественнонаучные, и романтические представления об историческом знании не изжиты полностью по сей день.) Дройзен считал, что сознание человека, рождение мысли скрыто от самого проницательного исследователя, который всегда имеет дело с действиями, будь то поступок или запечатленное слово. «Хотя человек и понимает человека, — разъяснял Дройзен, — но лишь периферийно; он воспринимает поступок, речь, мимику другого (т. е. действия. — *И. С., А. П.*), но не может доказать, что он правильно понял его, совершенно понял»<sup>58</sup>.

Естественно, читая лекции, Дройзен много импровизировал. «Энциклопедия...» завершается словами из конспекта Фридриха Мейнеке, слушавшего курс в зимний семестр 1882/83 г. Это единственная вставка фрагмента из конспекта в оригинальный текст, сделанная Хюбнером по совету Мейнеке, который ранее этими же словами заключил свою работу о Дройзене:

«Два момента нашего обзора обозначаются особенно ясно. Во-первых, мы, в отличие от естественных наук, не имеем в арсенале наших средств эксперимента, мы можем только исследовать, и ничего иного. Во-вторых, в результате даже самого основательно-го исследования можно получить только фрагмент, отблеск прошлого; история и наше знание о ней отличны, как небо и земля... Это могло бы привести нас в уныние, если бы не одно обстоятельство: развитие *идеи* в истории мы все-таки можем проследить, даже имея фрагментарный материал. Таким образом, мы получаем не образ происшедшего самого по себе, а образ нашего восприятия и мысленной его переработки. Это наш суррогат.

Получить его не так легко, и изучение истории не столь от-ратно, как это кажется на первый взгляд»<sup>59</sup>.

#### «Немецкое счастье» Иоганна Густава Дройзена

Читая теоретические работы Дройзена, поражаешься тому, насколько основные темы «историки» соответствуют содержанию теоретических поисков нашей науки на протяжении всего XX столетия. Конечно, оставляя за кадром «антиквариат» в идейном наследии Дройзена и фокусируя взгляд на актуальных положениях его труда,

<sup>58</sup> Дройзен. Очерк... С. 477.

<sup>59</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 446. См.: *Meinecke F. Johann Gustav Droysen. Sein Briefwechsel und seine Geschichtsschreibung // Historische Zeitschrift. 1929. Bd. 141. S. 249-287. (S. 287).*

мы получаем (и предлагаем читателю) не «настоящего» Дройзена, а «избранные» рассуждения, извлеченные из целостного текста. Принадлежность их к XIX столетию порой выдает только форма изложения. Между тем в тексте лекций обнаруживается и достаточно много представлений и идей, которые сегодня выглядят архаичными. Родившись в начале XIX века и дожив почти до его конца, Дройзен в своих исследованиях вполне отражал «дух эпохи», ее основные философские и религиозные искания, равно как и историографические «повороты». Мы же преследовали цель вычленив из достаточно пространного и неоднородного текста лекций мысли, созвучные современному взгляду на природу исторического знания.

Идеи Дройзена, предлагающие расширительное толкование исторических источников и их классификацию, получили развитие уже в конце XIX в. в работах Эрнста Бернгейма и Шарля-Виктора Ланглуа и Шарля Сеньобоса<sup>60</sup>, и по существу именно этот подход лежит в основе современного источниковедения.

В рамках разделения исторических материалов на «источники», «остатки» и «памятники» Дройзеном (и вслед за ним Бернгеймом) были намечены первые подходы к проблеме прошлого как *Другого* и дистинкции разных типов «прошлого» (в современном научном дискурсе различение прошлого и настоящего тесно связано с понятием *Другого*). Уже в середине *позапрошлого* (sic!) века Дройзен писал:

«Данным для исторического опыта и исследования являются не прошлые времена — они минули, — а непреходящее, то, что от них осталось в данный момент, то есть Здесь и Теперь... Не былые времена проясняются, а то, что от них осталось в настоящем. Эти пробужденные ото сна отблески суть идеальное прошлое, мыслимая картина былых времен»<sup>61</sup>

(Заметим, что и в наши дни отдельные историки все еще пребывают в уверенности, что история изучает *прошлое*).

Проблема многоярусного присутствия прошлого в настоящем была осмыслена спустя сто лет социологом Эдвардом Шилзом, который выделил два типа «прошлого». Вслед за Шилзом, известный английский специалист в области истории политической мысли Майкл Оукшот выдвинул идею о наличии трех «прошлых», которые

---

<sup>60</sup> См.: Бернгейм Э. Введение в историческую науку / Пер. с нем. СПб.: Изд-во «Вестника знания», 1908 [1889]; Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Указ. соч.

<sup>61</sup> Дройзен. Очерк... С. 462.



он именовал «практическим», «зафиксированным» и сконструированным в человеческом сознании<sup>62</sup>.

Не менее современны и некоторые принципиальные высказывания Дройзена, содержащиеся в разделе «Топика», касающиеся проблематики истории в значении текста и, в частности, риторики исторического исследования.

«Формы изложения определяются не по аналогии эпоса, лирики, драмы (Гервинус), не по различию “определенных во времени и пространстве действий свободного человека в государстве” (Ваксмут), не по случайным всевозможным хроникам, достопримечательностям, картинкам из старины, историям (quibus rebus agendis inter fuerit is qui narret, Авл Геллий), а двойственной природой исследуемого»<sup>63</sup>.

Двойственность же исторического исследования состоит в том, что представление о происшествиях и порядках былых времен, которое можно получить исходя из настоящего и из некоторых наличествующих в нем элементов прошлого, одновременно ведет к обогащению и углублению понимания настоящего путем прояснения былых времен, и объяснению прошлых времен путем открытия и развертывания того, что из них имеется в настоящем. При этом, как уточнял Дройзен,

«каким бы плодотворным ни было исследование, полученные им представления далеко не совпадают с многообразием содержания, движения, реальной энергии, которыми обладали вещи, когда они были настоящим»<sup>64</sup>.

Поднятая Дройзеном тема понимания позднее возникла в работах Вильгельма Дильтея и баденских неокантианцев Вильгельма

<sup>62</sup> Shils E. Tradition. Chicago: The University of Chicago Press, 1981; Oakeshott M. J. On History and Other Essays. Totowa (NJ): Barnes & Noble, 1999 [1983]. О проблеме прошлого в истории см. также: Савельева И. М., Полетаев А. В. Указ. соч. Т. 1. Гл. 4.

<sup>63</sup> Дройзен. Очерк... С. 494. Вильгельм Ваксмут (Ernst Wilhelm Gottlieb Wachsmuth) (1784–1866), немецкий историк, с 1820 г. — профессор Кильского университета, с 1825 г. — профессор Лейпцигского университета. Его работа «Эскиз теории истории» (*Wachsmuth W. Entwurf einer Theorie der Geschichte*. Halle, 1820), так же, как и упомянутое выше сочинение Гервинуса, оказала большое влияние на методологические поиски Дройзена.

<sup>64</sup> Дройзен. Очерк... С. 494-495.

Виндельбанда и Генриха Риккерта<sup>65</sup>. В качестве обобщающего признака общественных наук они начали использовать термин «понимание», которое и противопоставлялось ими естественнонаучному «объяснению». Эти идеи получили широкую известность в конце XIX – начале XX в. В многочисленных работах они воспроизводились буквально или с небольшими вариациями. В частности, к числу последователей неокантианцев можно отнести и ряд российских философов истории начала века<sup>66</sup>.

Позднее Макс Вебер четко показал, что понимание и объяснение неразрывно связаны в общественных науках (в частности, в социологии и истории). Именно поэтому Вебер ввел понятие «объясняющего понимания»<sup>67</sup>, которое позволяет ликвидировать это искусственное противопоставление. В самом деле, даже на уровне обыденной семантики вряд ли можно дать объяснение тому, что ты не понимаешь, точно так же, как понимание (прежде всего человеческих действий) достигается прежде всего через их объяснение. Тем не менее, противопоставление «понимания» и «объяснения» до сих пор продолжает время от времени всплывать в методологических дискуссиях, в том числе и по поводу исторического знания.

В соответствии с правилами эпохи и собственной ярко выраженной гражданской позицией Дройзен немало сказал и о функциях истории. В исторической науке второй половины XX века, вплоть до недавнего времени, теоретические основания этой проблемы почти не обсуждались. Отчасти, по нашему мнению, потому, что функции, издавна приписываемые истории, в какой-то мере обнаружили свою неэффективность. Однако в последние десятиле-

---

<sup>65</sup> При этом указанные авторы совершенно по-разному концептуализировали понятие «понимание» и, строго говоря, вкладывали в него абсолютно разный смысл. В частности, Дильтей и Риккерт принципиально по-разному определяли объект обществознания («науки о духе» и «науки о культуре») и использовали разные немецкие слова для обозначения «понимания» (соответственно, *Verstehen* и *Auffassung*).

<sup>66</sup> См.: *Хвостов В. М.* Теория исторического процесса. Очерки по философии и методологии истории. 4-е изд. М.: Комкнига, 2006 [1909]; *Ланно-Данилевский А. С.* Методология истории. 2-е изд. М.: Территория будущего, 2006 [1911–1913]; *Кареев Н. И.* Указ. соч.

<sup>67</sup> *Вебер М.* Основные социологические понятия («Хозяйство и общество», гл. 1) [1921] // Теоретическая социология. Антология / Ред. С. П. Баньковская. В 2-х ч. М.: Университет, 2002. Ч. 1. С. 70-146. (С. 78).

тия, и особенно в странах, озабоченных поисками национальной идентичности и даже «национальной идеи», проблема социальных функций истории приобрела не только идеологическое, но и научное измерение<sup>68</sup>. В этой связи вполне современно звучат слова Дройзена, что «практическое значение исторических исследований заключается в том, что они — и только они — дают государству, народу, армии и т.д. *образ самого себя*»<sup>69</sup>, то есть, говоря языком социологии, способствуют формированию национальной идентичности. Эти слова, кстати, произнесены в финале такого сугубо методологического произведения как «Очерк историки».

В связи с темой социальных функций истории упомянем и о возникшей на исходе XX века новой волне озабоченности общества состоянием массового исторического образования (первая волна пришлась как раз на время Дройзена). Если в XIX в. становление общеобразовательной школы ставило вопрос о создании «правильных» программ по истории, так как «изучение истории есть основа *политического (курсив наш — И. С., А. П.)* воспитания и образования»<sup>70</sup>, то сегодня претензии общественности самых разных стран относятся и к приведению содержания программ по истории в соответствие с политическими реалиями, и к качеству исторических знаний населения. Реакция на вызовы общественности тех историков, которых больше волнует обновление научного содержания массовых исторических представлений, близка идее Дройзена, который четко разделял познавательные и социальные функции истории и определял «значение истории в деле образования» в том числе и такими словами:

«У любого настоящего существует потребность заново реконструировать историю своего становления, своего прошлого, т.е. понять все то, что есть и стало таковым, осмыслить в свете *добытого нового знания (курсив наш. — И. С., А. П.)* как бы с более высокой точки, окидывая взором все большие пространства»<sup>71</sup>.

В связи с призывами некоторых современных исследователей к демократизации процесса производства исторического знания, к

<sup>68</sup> Подробнее см.: Савельева И. М., Полетаев А. В. Указ. соч. Т. 1. Гл. 8.

<sup>69</sup> Дройзен. Очерк... С. 499.

<sup>70</sup> Там же.

<sup>71</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 143.

созданию истории «людьми с улицы» (и даже крайними утверждениями о превосходстве такого способа историописания), актуальным остается и мнение Дройзена о непроницаемой границе между «популярной» (общедоступной) и научной историей.

«...Многие результаты исторического исследования никак не подходят для того, чтобы их излагали в популярнейшей форме. Один александрийский ученый, когда царь Птолемей VII пожелал выучить математику за короткое время, ответил ему: “К наукам нет царского пути”. Но нет и народного пути к наукам, широкой столбовой дороги для всякого человека из народа. Любая наука по своей природе эзотерична и должна оставаться таковой. Ибо лучшая часть всякого научного познания есть сам труд познания»<sup>72</sup>.

И любителям модного конструкта «историческая память» есть что почерпнуть из размышлений полуторавековой давности о соотношении социальных представлений, укорененных в традиции, и профессионального исторического знания. Очевидно, что Дройзен безошибочно чувствовал разницу между знанием, запечатленным в текстах, и памятью, передаваемой в образцах поведения, ритуалах и т. д.

«Любое воспоминание, — говорил Дройзен, — пока оно внешне не зафиксировано (в поэтической речи, в сакральных формулах, в письменной редакции и т. д.), живет и преобразуется вместе с комплексом представлений тех, кто ими руководствуется (например, “традиция” в римской церкви)»<sup>73</sup>.

Перечень актуальных идей Дройзена можно и продолжать, но пора признаться, что мы действуем в режиме историцистского подхода, при котором важно обнаружить и зафиксировать все интересные (и даже не очень интересные) идеи или работы (вплоть до неопубликованных рукописей), создававшиеся в прошлом, независимо от того, были ли они известны современникам и, тем более, оказали ли они влияние на потомков<sup>74</sup>. Поскольку Дройзен при жизни не

<sup>72</sup> Дройзен. Энциклопедия... С. 394-395.

<sup>73</sup> Дройзен. Очерк... С. 469

<sup>74</sup> Об историцистском и презентистском подходах в истории мысли см.: Полетаев А. В. Классика в общественных науках // Классика и классики в современном социально-гуманитарном знании / Ред. И. М. Савельева, А. В. Полетаев. М.: Новое литературное обозрение, 2009 (в печати).

опубликовал свое основополагающее сочинение по теории исторического знания, его научный приоритет в этой области фактически остался непризнанным. Более того, «Энциклопедии и методологии истории» Иоганна Густава Дройзена не повезло дважды.

Первый раз потому, что она не была издана тогда, когда была создана (за исключением тезисного «Очерка историки»). Тем самым в развитии теории исторического знания исследование Дройзена не сыграло той основополагающей роли, которую оно могло бы сыграть. Хотя имя Дройзена, как правило, упоминается в ряду основоположников теоретических основ исторической науки второй половины XIX в., и тезисы его были известны и высоко оценены по крайней мере многими ведущими немецкими историками (среди них: Фридрих Мейнеке, Отто Хинце, Эрнст Трельч, Эрих Ротхакер), при этом обычно читали и, соответственно, цитировали написанные и опубликованные позднее монографические исследования Бернгейма, Ланглуа и Сеньбоса, а также, когда речь шла об определении характера исторического знания — Дильтея, Виндельбандта и Риккерта.

Второй раз «историке» не повезло потому, что когда, наконец, эти лекции были изданы в Германии, шел 1936-й год. Место и время — роковые для произведения, содержащего концепцию *исторического* знания. Публикация сочинения примерно совпала по времени с появлением теоретических работ Чарльза Бирда, Карла Беккера, Мортона Уайта, Фридриха Мейнеке, Марка Блока, Люсьена Февра, Робина Коллингвуда, но ведь написано оно было на 80 лет раньше! Тем не менее, по нашему мнению, публикация могла бы стать заметным явлением в исторической науке и в 1930-е годы, если бы не изоляция нацистской Германии в интеллектуальном пространстве. Впрочем, в середине XX века речь в любом случае могла идти скорее об оценке места Дройзена в дискуссиях об историческом знании *post factum*. В результате, несмотря на то, что его сочинения относятся к классике исторической мысли и упоминаются без исключения всеми, кто пишет о проблеме методологии истории, сам текст оказывается, как правило, вне поля зрения. И совершенно незаслуженно. Как бы далеко вперед ни продвинулись за последующие полтора столетия социальные науки, многие идеи Дройзена и по содержанию и по форме оставались актуальными на протяжении всего XX века в контексте дискуссий о характере исторического знания.

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

---

*И. И. КОЛЕСНИК*

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ

*Творческие идеи создаются как новые сочетания, или рефрейминги прежних идей*

Рэндалл Коллинз.  
Социология философий

### **Интеллектуальное сообщество: союз, институт, сетевое общество**

В современной литературе довольно широко используется понятие «интеллектуальное сообщество», которое воспринимается не просто как «базовая реальность», но одновременно как продукт воображения, образ, конструируемый участниками культурной жизни и ее исследователями. Экспликация понятия «интеллектуальное сообщество» предполагает самые разные стратегии. Одна из них — идеально-типический метод М. Вебера, согласно которому объединение в сообщество возможно в виде таких идеальных типов, как «целевой союз» и «институт». «Целевой союз» — это объединение участников на принципах доверия, понимания / договоренностей. Впрочем, не каждое объединение является «целевым союзом», так как конститутивными для него, по Веберу, должны быть: 1) общие правила; 2) наличие «собственных органов союза»<sup>1</sup>. Рядом с «целевым союзом», основанным на договоренностях о целях, способах и порядке, М. Вебер вводит еще одну идеально-типическую форму объединения — «институт». В отличие от «целевого союза», который возникает благодаря добровольному согласию/договоренности участников, «институт» как идеальный тип объединения основывается на 1) «рациональных установках»; 2) «аппарате принуждения». Кроме того, М. Вебер делает попытку типологизировать общественные объединения. Разновидностями «целевого союза» являются языковая или семейная общность (не

---

<sup>1</sup> Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 515, 519.

имеющие рациональных установок), «института» — государство и церковь. Институт, по М. Веберу, — это «частично рационально организованный союз». В отличие от «союза», где порядок основывается на согласии / договоренности, «институт» отличается принудительное введение порядка «органами института»<sup>2</sup>.

Исходя из веберовской стратегии формирования понятий, «интеллектуальное сообщество» можно определить с помощью идеально-типической пары союз/институт. «Интеллектуальное сообщество» коррелируется с идеальным типом «целевой союз», который основывается на принципах согласия и договоренностей. В таком контексте «интеллектуальное сообщество» идентифицируется как аморфное, добровольное объединение в виде семейных культурных гнезд, кружков, салонов, клубов по интересам, неструктурированных общественных организаций, собраний, дружеских сообществ. Что касается интеллектуальных сообществ по типу «институт», то это более жестко структурированные объединения корпоративного, научного, политического характера (масонские ложи, тайные политические организации, политические кружки и партии, научные учреждения, кафедры, научные общества, академические школы).

Конкурирующей стратегией при экспликации понятия «интеллектуальное сообщество» являются теории «сетевого общества». Сетевой подход ориентирован на изучение механизмов функционирования интеллектуальных сообществ с учетом мозаики их форм, прозрачности идеологий, организационной неструктурированности, а также многочисленных метаморфоз и неожиданных перевоплощений.

Теория сетевого общества (theory of network society) Мануэля Кастельса, созданная в 1990-х гг., фиксирует новый тип общества, которое формируется потоками информации. Новое общество — это открытая и подвижная сеть взаимоотношений, ничем не ограниченных. Сетевое общество представляет собой бесшовную ткань взаимоотношений, которые как бы пульсируют, то расширяясь, то сужаясь за счет информации. Информационные потоки и технологии пронизывают все сферы общества от экономики до личной жизни и идентичностей. Современная экономика, которая питается информационными технологиями, превращается в компонент куль-

---

<sup>2</sup> Там же. С. 537-539.

туры. Политика использует информационные технологии для манипулирования сознанием и обществом. От потоков информации зависит и власть, которая играет культурными кодами. Сетевое общество трансформирует социальный и личный опыт, изменяет идентичности. Кризис теории нации / государства порождает новые коллективные идентичности в рамках информатизированной культуры. В современных условиях власть выходит из-под контроля таких традиционных институтов, как государство, церковь, бизнес и как бы растворяется в информационных сетях и коммуникационных потоках. «Новая власть», по мнению М. Кастельса, заключается «в кодах и образах репрезентации», вокруг которых общество создает свои институты, а люди устраивают личную жизнь и определяют собственную модель поведения<sup>3</sup>. Базовые понятия сетевой теории — «информация» и «культура». Основой интеграции в обществе нового типа являются не производство или классовая борьба, даже не моральный императив, а информация. Именно информационная культура интегрирует современное общество не как систему, а скорее как бесшовную, подвижную, гибкую структуру или сеть коммуникаций и потоков информации.

В сфере интеллектуальной истории сетевой подход был апробирован Рэндаллом Коллинзом, который в своем исследовании «Социология философий» конструирует историю философии как историю групп друзей, партнеров по обсуждению и тесных кружков единомышленников. Коллинз применяет метод моделирования интеллектуальных сетей. Внутренняя структура интеллектуальных сетей функционирует в виде трех компонентов: 1) **вертикальных цепочек**, или «**межпоколенных сетей**», связей по образцу «учитель — ученик» (например, Фалес — Анаксимандр — Анаксимен,

---

<sup>3</sup> Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. N. Y., 1997. P. 3. (Рус. пер.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000); *Idem*. The Rise of the Network Society. N. Y., 1996; *Idem*. The Power of Identity. Oxford, 1997; *Idem*. An introduction to the information age // City. 1997. № 7; *Idem*. End of Millennium. Oxford, 2000; *Idem*. Materials for an exploratory theory of the network society // The British Journal of Sociology. 2000. № 51; *Idem*. Toward a sociology of the network society // Contemporary Sociology. 2000. № 29; *Idem*. Informationalism, Networks and the Network Society: a Theoretical Blueprinting // The Network society: a Cross-Cultural Perspective. Northampton, 2004.



или Brentano — Гуссерль — Хайдеггер — Гадамер — Арндт); 2) «горизонтальных альянсов», т. е. взаимосвязанных групп интеллектуалов (классический пример — Пифагор / Сократ / Платон / Аристотель, или Венский кружок 1920/30-х гг. и кружок французских экзистенциалистов 1930/40-х гг.; в российском интеллектуальном пространстве аналог таких последовательных горизонтальных цепочек — славянофилы/западники, в украинском — кирилло-мефодиевцы / «Основа» / кружок киевских интеллектуалов-старо-громадовцев); 3) важной составляющей интеллектуального поля является **структурное соперничество**. Выдающиеся мыслители, считает Р. Коллинз, как правило, появляются парами / триадами. Линии соперничества (интеллектуального партнерства / конкуренции) современников прослеживаются во все времена на любом локальном материале. Паттерн творчества современников-оппонентов (соперничество, партнерство), по Коллинзу, является универсальным — от классических пар Гераклит / Парменид или Эпикур / Зенон Стоик до современности<sup>4</sup>.

Кстати, идея структурного соперничества интеллектуалов-современников Р. Коллинза полностью коррелируется с тезисом М. Вебера относительно борьбы, присущей всем, без исключения, социальным объединениям. Следовательно, борьба (соперничество, партнерство, конфликт) — атрибут любого социального объединения, в том числе и интеллектуального сообщества. От рыцарских турниров, судебного спора или товарищеского поединка и до спортивных соревнований — повсюду находим объединения в сообществах сторон, которые борются<sup>5</sup>. Совершенно очевидно, что такая перекличка идей М. Вебера и Р. Коллинза относительно соперничества / борьбы иллюстрирует вертикальную линию их собственных интеллектуальных связей и зависимостей.

Социологию философий Р. Коллинз репрезентует как новую дисциплину на стыке социологии и истории науки и называет ее «социологией интеллектуального развития». Предметом этой дисци-

---

<sup>4</sup> Collins R. *Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change*. Harvard Belknap Press, 1998. Рус. пер.: Коллинз Р. *Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения*. Новосибирск, 2002. С. 47-52.

<sup>5</sup> Вебер М. Указ. соч. С. 534-535.

плины являются не сами мыслители, их учения, идеи, а сети личных связей / знакомств между ними. Изобретением Коллинза стали так называемые «сетевые карты» — схемы личных знакомств мыслителей, ученых философов (всего 2670 чел.). Коллинз вводит понятие «интеллектуальные ритуалы», т. е. нормы и привычки взаимодействия интеллектуалов (создание групп, обсуждение проблем, взаимобмен «культурным капиталом» и «эмоциональной энергией»), а также понятие «соперничества за пространство внимания»<sup>6</sup>.

Свое исследовательское задание видим в адаптации понятия «интеллектуальное сообщество» применительно к культурно-интеллектуальной истории Украины. Актуализация этого понятия обусловлено спецификой культурно-духовной жизни Украины на протяжении «долгого XIX столетия». В ситуации безгосударственности, институциональной нелегитимности культурно-образовательных украинско-ориентированных практик, центрами духовно-интеллектуальной жизни в Украине являлись аристократические салоны, помещичьи усадьбы, резиденции вельмож-меценатов, литературно-философские кружки, тайные организации, масонские ложи, громады, землячества / гмины и пр. Носителями культурно-национальных ценностей и традиций, очагами интеллектуальной жизни, активной гражданской позиции выступали украинско-старшинские фамилии, харизматические культурные кланы, представители многих поколений которых давали ярких деятелей национальной культуры, науки, искусства, общественной мысли, как, например, род Марковичей-Маркевичей, Максимовичей-Тимковских, Ханенко-Герещенко, Репниных-Волконских-Разумовских, Белозерских-Кулишей, Драгомановых-Косачей, Антоновичей, Грушевских-Шамраев и др. Такое разнообразие интеллектуальных сообществ, семейно-свояцко-соседских, культурно-общественных, научно-корпоративных, образовательных объединений или групп создавало условия для использования этих локальных, открытых и динамичных объединений для легитимации собственно украинских форм мыслительных и образовательных практик в имперском культурном дискурсе.

---

<sup>6</sup> См.: Розов Н. Интеллектуальная жизнь России в зеркале «социологии философий» Р. Коллинза. (Сумеем ли мы извлечь пользу из «неполиткорректного» взгляда на значимость отечественной мыслительной традиции) [http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002\\_03\\_17.html](http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_03_17.html).

Важно учитывать и фактор чрезмерной политизации украинской духовно-интеллектуальной жизни, что было типичным для сильных политических режимов, какими являлись Российская и Австрийская империи. Если в условиях несвободы духовная энергия российских интеллектуалов была сконцентрирована на создании религиозно-философских и социально-политических утопий, то культурные усилия украинских интеллектуалов были направлены на утверждение права украинского народа на независимое существование, поиски национально-политической идентичности<sup>7</sup>. В условиях идеологизации и политизации духовно-интеллектуального бытия активного украинства происходил процесс сублимации украинской культуры в национальную идею. Из-за отсутствия государственного статуса, механизмов институционализации национальных форм образования, науки, литературы, искусства, интеллектуальных и общественных движений культура выступала репрезентантом национальной идеи. Возникающие сети интеллектуальных сообществ формировали душу и тело украинской культуры на протяжении «долгого XIX века».

Совершенно очевидно, концепт «интеллектуальное сообщество» находится на стыке культурной и интеллектуальной историографий, т. е. аккумулирует множество смыслов и кодов. Методология интеллектуальных сетей, апробированная Р. Коллинзом, дает определенный импульс и понятийно-технический ресурс для процедур концептуализации категории «интеллектуальное сообщество», которое широко используется в современных дискурсивных практиках, хотя до сих пор и не стало объектом теоретической рефлексии.

#### **Концептуализация понятия «интеллектуальное сообщество»**

На наш взгляд, «интеллектуальное сообщество» можно идентифицировать как динамичную и гибкую сетевую структуру коммуникационных и информационных практик. Экспликацию этого концепта целесообразно начать, исходя из ключевого слова «интеллектуал». В современной литературе наметился отход от упрощенного, порой примитивного, отождествления интеллектуала с представителями «свободных профессий» — журналистом, писателем,

---

<sup>7</sup> См.: Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. К., 1994. Т. 1. С. 150.

ученым или юристом, политиком и т. п. Интеллектуал, по существу, тот, кто живет насыщенной внутренней духовной жизнью, маркерами которой являются особый речевой код, поведенческая модель, внешний вид, стиль жизни, круг общения и чтения, самобытная политическая культура, независимая гражданская позиция. Настоящий интеллектуал имеет свою жизненную и профессиональную мотивацию, волю противостоять коллективным иллюзиям и предрассудкам, он сам выступает творцом социальной мифологии в виде политических идеологий, научных программ, культурных проектов, правовых и моральных норм.

«Интеллектуальный класс» (термин Ж.-Ф. Лиотара<sup>8</sup>) представлен разными типами интеллектуалов. Так, П. Бурдьё различает такие типы, как интеллектуал-специалист по конкретным вопросам; интеллектуал — мастер «на все руки»; интеллектуал-одиночка, мифическая фигура; наконец, интеллектуал-менеджер. Р. Коллинз идентифицирует еще один тип — «интеллектуальный герой», т. е. гений<sup>9</sup>. В украинском интеллектуальном пространстве роль «интеллектуального героя», национального гения принадлежит, безусловно, Т. Г. Шевченко, а образ интеллектуала-менеджера блестяще репрезентует М. С. Грушевский. Интеллектуал-одиночка ассоциируется с образом типичного интроверта, погруженного в свой внутренний мир, человека, ориентированного не на внешние проявления индивидуальности в поведении, поступках, а скорее сосредоточенного на внутренней работе мысли. Это известный в украинской культурной традиции тип «сковородинской личности».

Образ интеллектуала имеет и свои культурно-национальные характеристики. Например, французский интеллектуал позиционирует себя как оппонента власти и видит свое предназначение в символической борьбе за справедливость, демократию, либеральные ценности<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Lyotard J.-F. *Mode intellectuelle // Tombeau de l'intellectuel et autres papiers*. Galilée, 1984 (укр. перевод с фр. О. Туркиной: [www.rema.ru/komment/comm/11/2lyotard.htm](http://www.rema.ru/komment/comm/11/2lyotard.htm)).

<sup>9</sup> Коллинз Р. Указ. соч. С. 47.

<sup>10</sup> Каунти Н. Указ. соч. (кстати, Пьера Бурдьё считают последним из когорты «великих французских интеллектуалов»: А. Мальро, П. Валери, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Р. Арона, Кл. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко — см.: Ханаева Д. После интеллектуалов // Республика словесности. Франция в мировой интеллектуальной культуре. М., 2005. С. 353).

Образ англо-американского интеллектуала в изображении Р. Гофшедтера и С. Коллини имеет «антиинтеллектуальный» характер. Англосаксонскому интеллектуалу, в отличие от французского, были присущи прежде всего здравый смысл, а не «политическая горячность», прагматический эмпиризм, а не абстрактный рационализм, ирония вместо патетики и высокомерия<sup>11</sup>. По мнению У. Дюваля, в условиях исчезновения больших нарративов место «универсализующего интеллектуала» занял техник, специалист, университетский профессор<sup>12</sup>.

Российского интеллектуала отличает полная сублимация его духовно-интеллектуального потенциала в создании религиозных, философских и социально-политических утопий, проявление невиданной силы духа, жертвенности, моральности и одновременно размах стихийно-деструктивных сил и движений (политический терроризм, тоталитаризм, репрессии как инструмент политики).

В украинском культурном сознании на протяжении длительного времени создавался и культивировался миф об украинском интеллектуале как носителе национальной идеи, историческая и моральная миссия которого заключалась в пробуждении самосознания украинского народа<sup>13</sup>. Модель политического поведения украинского интеллектуала была подчинена украинским интересам и предопределена национальной идеологией. Противостояние власти в жизненных сценариях украинских интеллектуалов преимущественно приобретало формы культурной, моральной, языковой оппозиции режиму, будь-то имперскому, советскому или постсоветскому. Типичными чертами украинского интеллектуала были чрезмерная идеологизация культурных практик, двойная самоцензура, эмоциональная экзальтация, при этом недостаток политической воли, чувства вождизма, собственной харизмы, постоянная апелляция к исторической памяти, ее трагическим аллюзиям.

---

<sup>11</sup> Hofstadter R. *Anti-Intellectualism in American Life*. N. Y., 1963; Collini S. *Intellectuals in Britain and France in the Twentieth-Century: Confusions, Contrasts — and Convergence // Intellectuals in Twentieth-Century France: Mandarins and Samurais / Ed. by J. Jenkins*. N. Y., 1993.

<sup>12</sup> Дюваль У. Утраченные иллюзии: интеллектуал во Франции // Республика словесности. С. 346.

<sup>13</sup> Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX–XX століть: соціально-політичний портрет. К., 1993. С. 19, 17.

Структуру интеллектуального сообщества определяют различные формы коммуникации, интеллектуального взаимодействия, информационного взаимообмена идеями, символами, идеологиями, текстами, программами, мыслями. «Архетипы взаимодействия» (Э. Дюркгейм), т. е. общение, коммуникации объединяют людей в сообщества, союзы, институты. Формы коммуникации — самые разнообразные по происхождению, содержанию и результатам. Архетипы интеллектуального взаимодействия возникают в семейном кругу, окружении родственников, соседей, друзей, партнеров по обсуждению, объединенных общими интересами, предпочтениями и занятиями. Общение интеллектуалов, как правило, происходило в тесных кружках друзей, единомышленников, в аристократических салонах и гостиных, закрытых ложах, политических организациях, партиях, союзах. Интеллектуальные коммуникации — это не только создание и обмен текстами, мыслями, идеями, а также круг чтения, дискуссии, лекции, издательская деятельность, журналы. Эволюция форм интеллектуальной коммуникации на протяжении целых поколений и ситуация интеллектуальной конкуренции вели к неминуемому возрастанию уровня абстракции и повышению степени саморефлексии субъектов коммуникационного процесса.

Объединение интеллектуалов в сообщество, т. е. структурирование определенного интеллектуального пространства, обусловлено конкретными обстоятельствами и неперменной сменой микроситуаций, из которых и состоит жизнь человека. Во-первых, Р. Коллинз обращает внимание на такие обстоятельства/закономерности, когда известные в будущем личности, были знакомы, общались задолго до своего признания (например, протопоп Аввакум и будущий патриарх Никон происходили из одной местности и были знакомы задолго до их религиозно-политического противостояния). Во-вторых, успех одного из участников интеллектуального объединения/группы обязательно «тянул» за собой успех других корпорантов. В-третьих, аморфное интеллектуально-духовное пространство или сформированное интеллектуальное сообщество структурировались ситуацией интеллектуального партнерства/соперничества. Причем, данная ситуация сопровождалась открытой или скрытой борьбой за лидерство, приоритет, возможность оказаться в центре «пространства внимания». Собственно конфликт, личностный, моральный, идейный, культурный, и служит, по Коллинзу, источником творческого процесса.

Для характеристики творческого тонуса интеллектуала используется понятие «культурный капитал». П. Бурдье и Р. Коллинз, воспринимают культурный капитал (КК) как совокупность предшествовавших и приобретенных знаний. Уровень интеллектуала обуславливается как его доступом к наибольшему объему КК (основы производства новых идей), так и «обращением» КК с повышенной скоростью. Органичным является и тот факт, что все творческие личности обладают непреодолимым стремлением формулировать собственные суждения, подкрепленные ранним опытом, стремлением с детства получить независимость и доступ к «новым порциям опыта».

В сфере социологии философий Р. Коллинз широко использует понятие «эмоциональная энергия» (ЭЭ), под которой понимает творческий энтузиазм, присущий интеллектуалу или группе интеллектуалов. Эмоциональная энергия («эмоциональный капитал»), полагает Коллинз, имеет разные уровни интенсивности. Самый высокий — это энтузиазм; средний — состояние умеренной эмоциональности, интенсивности; а состояние пониженной эмоциональности приравнивается к полюсу депрессий, внутреннего дискомфорта, безынициативности. Существуют схемы распределения эмоциональной энергии в интеллектуальном сообществе. Депрессии, «блокирование письма», переключение внимания с интеллектуальных проектов на мир повседневности, бытовые проблемы — это наиболее типичный путь рядового интеллектуала, двигаясь по которому, он теряет какую-либо возможность оставить память о себе в интеллектуальном сообществе. К сожалению, большинство рядовых интеллектуалов навсегда, по мнению Р. Коллинза, остаются в таком «переходном состоянии».

Эмоциональная энергия, в отличие от простых эмоций и порывов чувств (страх, радость, гнев и др.), — явление более устойчивое. Источником эмоциональной энергии служат архетипы общения, коммуникации и «интерактивные ритуалы» (interactive rituals) — обсуждения, лекции, дискуссии, чтение, письмо. Более того, в духовно-интеллектуальной среде наблюдаются колебания эмоциональной энергии: доминирование, лидерство в группе увеличивает ЭЭ интеллектуала и, наоборот, низкий групповой статус существенно понижает интенсивность эмоциональной энергии. Дело в том, что успех, а любой интеллектуал это знает по собствен-

ному опыту, рождает новый успех, провал приводит к спаду, ряду интеллектуальных неудач, снижению ЭЭ.

Сочетание эмоциональной энергии (ЭЭ) и культурного капитала (КК) структурирует духовный мир интеллектуала, определяет его место в сетевой структуре (старые / новые связи) интеллектуального сообщества<sup>14</sup>.

Механизм создания интеллектуального сообщества связан с появлением лидера или организационного ядра, которое кристаллизуется из семейного или дружеского окружения, кружка друзей, партнеров по интересам, вокруг университетской кафедры или влиятельного журнала. Так, в середине 1830-х гг. участники «Русской троицы» (Маркиан Шашкевич, Яков Головацкий, Иван Вагилевич) представляли организационное ядро украинского интеллектуального сообщества во Львове, национально-романтически настроенных школяров / семинаристов. Студенческие гмины польского и украинского происхождения, конкурирующие между собой в киевской университетской среде в конце 1850 – начале 1860-х гг., через раскол, дискуссии, объединения создали первую украинскую Громаду, позднее целую сеть таких громад (очагов украинской мысли и движения).

Примечательно, что интеллектуальные сообщества возникали из социально-однородных элементов — просвещенного дворянства (аристократические салоны), офицерства и чиновничества (масонские ложи, декабристские организации), студентов и преподавателей (кружок харьковских романтиков, Киевская громада, «Русская троица»), деятелей церкви (кружки русинских интеллектуалов А. Духновича, И. Могильницкого, А. Добрянского в Галиции и на Закарпатье). Как правило, участники интеллектуальных сообществ осознавали свою групповую принадлежность и статусную идентичность.

Интеллектуальное сообщество могло возникнуть в определенном информационно-очерченном поле. Участники интеллектуального сообщества поглощали и продуцировали информацию в виде идей-эмблем, идей-проектов, идеологий, программ, текстов. Вместе с тем интеллектуальные сообщества не создавали ценностных и философских систем, научных схем и теорий, а приспособливали их к соответствующим ситуациям, артикулируя и распространяя те

---

<sup>14</sup> Коллинз Р. Указ. соч. С. 86, 87, 83, 85, 78.



из них, которые были востребованы обществом через различные социокультурные практики. Условием вхождения в определенное интеллектуальное сообщество являлось владение соответствующим культурно-образовательным капиталом. Интеллектуальные сообщества генерировали определенные идеи-символы, которые, создавая интеллектуальное напряжение, объединяли людей, партнеров, современников-оппонентов. Такая группа интеллектуалов обладала харизмой (Р. Коллинз). Результаты творчества в виде разнообразной информации циркулировали в интеллектуальном сообществе, будучи источником творческой, эмоциональной энергии, доступной для всех участников этого сообщества.

Интеллектуальное сообщество — носитель ценностей, этических, социальных и мировоззренческих. Собственно моральные императивы, соединяя теорию с практикой, создают символическую власть в соответствующих контекстах и конкретно-исторических ситуациях. Символическая власть активного украинства представлена разветвленной сетью кружков, выступавших носителями национальной идеологии. В области исторической науки символической властью обладал М. Грушевский и его интеллектуальное окружение, предложенная им оригинальная схема украинской истории была развернута в целостную историческую идеологию.

Украинским интеллектуальным сообществам принадлежала исключительная роль в легитимации культурного дискурса — создании и распространении разнообразных культурно-образовательных практик (украинских журналов, научных обществ, университетских кафедр, научных школ), в поддержании культурных традиций, сохранении национальных ценностей. В ситуации институциональной нелегитимности культурно-образовательных и научных практик украинства именно интеллектуальные сообщества выступали способом структурирования общественно-политических и интеллектуальных движений на украинских территориях. Из кружков, салонов, неформальных групп, семейных «культурных гнезд», украинских интеллектуалов, возникали научные учреждения, общества, закладывались академические традиции, культурные и общественные движения (например, разветвленная сеть громад, позднее «Просвит»).

На основе различных кружков (харьковских романтиков, редакционных кружков «Основы» и «Киевской старины»), групп

друзей, партнеров (киевское окружение П. Кулиша и Н. Костомарова, Первая громада во главе с В. Антоновичем и Т. Рильским, кружок киевских интеллектуалов 1870-х гг.), имперских научных учреждений (Общество истории и древностей российских при Московском университете с его органом «ЧОИДР», Одесское общество истории и древностей, Киевская археографическая комиссия, Юго-Западный отдел Российского географического общества, археологические съезды, сеть губернских архивных комиссий), а также политических объединений (Кирилло-Мефодиевское общество) было создано организационное ядро украинской исторической науки. Как результат выстраивалась украинская «академическая линия»: Юго-Западный отдел Российского географического общества — НТШ — УНТ — ВУАН.

Благодаря сети и группам кружков украинских интеллектуалов происходило структурирование общественных движений в Украине, создавалась цепочка украинских политических альянсов: Новгород-Северский кружок патриотов-автономистов — тайное Малороссийское общество В. Лукашевича — Кирилло-Мефодиевское братство — редакционный кружок журнала «Основа» — Киевский кружок 1870-х гг., как идейно-организационное ядро украинского громадского движения — Братство тарасовцев — студенческие кружки конца 1890-х гг. — первые политические партии в Украине начала 1900-х гг.

Украинские культурные движения конституировались также посредством создания сетей литературно-художественных кружков, театральных трупп, аморфных объединений богемы, которые в лице интеллектуальных героев и мыслителей-одиночек прошли путь от украинского барокко до украинской сецессии и модерна братьев В. и Ф. Кричевских, авангарда К. Малевича и А. Архипенко.

### **Историографические наблюдения и методологические импликации**

Проблема интеллектуальных сообществ на самом деле никогда не исчезала из поля зрения, начиная от ее «мемуарной фазы» и до нынешнего положения дел. Речь идет о стадиях активности или замалчивания данной проблемы.

Как правило, интеллектуальные сообщества рассматривались в дискурсе литературоведения. Так, в конце 1920 – начале 1930-х годов наблюдался настоящий «взрыв» интереса к разнообразным

интеллектуальным сообществам, в частности всевозможным литературным салонам и кружкам. В оригинальном издании «Литературные кружки и салоны», подготовленном участниками семинара по «литературному быту» в Российском институте истории искусств (Ленинград) под руководством Б. М. Эйхенбаума (1929) был апробирован новый подход к изучению литературных салонов и кружков посредством «монтажа» свидетельств участников и деятелей этих литературно-культурных объединений (мемуаров, записок, переписки, дневников, воспоминаний и пр.) В распоряжении составителей этого издания оказались материалы для описания почти 400 таких кружков и салонов, но в книге было представлено свидетельств не более чем о 30-ти таких объединениях. Отбор осуществлялся по принципу воздействия этих кружков на развитие литературного процесса, а также малоизвестности некоторых для исследователей<sup>15</sup>.

Кстати, авторы 1920–1930-х гг. (Б. Эйхенбаум, С. Рейсер, М. Аронсон, В. Гиппиус, Н. Бродский) широко использовали понятие «литературный быт», под которым Б. Эйхенбаум понимал «внешнюю жизнь литературы», или «литературное производство» — издание книг, журналов, поэзии, романов. Эту внешнюю сторону жизни литературы он называл «эстрадою», внутреннюю отождествлял с «литературным бытом». «Литературно-бытовое» значение имели многочисленные салоны и кружки. Эволюцию «литературного быта» Б. Эйхенбаум усматривал в переходе от «домашности» культуры к «салонности», которая к середине XIX века уступает место профессионализму, что приводит к упадку кружково-салонной жизни в северных столицах империи. Правда, возрождение, подъем салонной жизни исследователи 1920-х гг. связывали с возникновением многочисленных литературно-художественных объединений, групп, салонов на рубеже XIX–XX вв. — акмеистов, символистов, кубофутуристов, которые были просто «насыщены особой кружковой семантикой»<sup>16</sup>.

Авторы 1920-х гг. рассматривают салоны и кружки как уникальное культурное явление первой половины XIX века. Вырази-

---

<sup>15</sup> Рейсер С. Монтаж и литература // Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны / Ред. и предисл. Б. М. Эйхенбаума. Л., 1929. С. 10–12.

<sup>16</sup> Эйхенбаум Б. М. Предисловие // Там же. С. 3–6.

тельный образ столичных салонов с характерными социокультурными акцентами создает М. Аронсон. Для XIX века вообще характерна «литературность культуры», а российская культура начала XIX века была «литературной насквозь», что предопределяло активную роль салонов и кружков в культурной, общественной жизни и литературном процессе не только северных столиц, но и культурной периферии империи.

Историю салонно-кружковой жизни выводят из Франции XVI века. В России кружки и салоны возникают в XVIII столетии вследствие недостаточного развития «книжной индустрии». Именно в салонах и кружках осуществлялась связь между автором и читателями, а также между литераторами, тут заказывались рецензии, читались и обсуждались новые произведения, распространялись литературные новинки, (правда, в салоне Ф. Толстого-Американца заботились более об отдыхе и досуге литераторов). Считалось, что литературные кружки теснее связаны с «литературным производством», т. е. литераторами, авторами произведений, а салоны — с читателями, которые эти произведения обсуждали.

Устоявшимися формами культурно-интеллектуальной жизни в первой половине XIX века являлись *салоны — кружки — вечера*. Различие между салоном и кружком определялось социальным статусом хозяев, временем существования, большей привязанностью салонов к «литературному быту». Кружки более кратковременны, выполнив определенное литературное предназначение, они исчезали. Кружки возникали в «недрах» салона как его интеллектуальное ядро, небольшая, но идейно интегрированная группа. Так, А. С. Хомяков находился в центре салона А. П. Елагиной. По воспоминаниям М. П. Погодина, славянофилы «вообще собирались случайно», по чьему-либо приглашению и преимущественно «толковали вдвоём или втроём, не имели никогда специальных намерений... между ними господствовала совершенная свобода». Примечательно, что славянофильство возникает именно в салонах, а западничество — в кружках.

Кроме того, М. Аронсон различает кружки «диалогического типа», которые преобладали в 1820-х гг., где живо обсуждались произведения, устанавливались новые «литературные ценности» («Арзамас», кружок Любомудров), а также кружки 1830-х гг. «монологического типа», в которых доминировала сильная личность,

спланирующая вокруг себя сторонников и единомышленников (вечера у Н. В. Кукольника, позднее кружок В. Г. Белинского).

Происходил также процесс объединения салонов и кружков в группы, между которыми устанавливалась тесная связь, вследствие чего возникали целые «кружковые и салонные цепочки». Так, любознательные были связаны с кружком С. Е. Раича, салоном З. А. Волконской, «кружком архивных юношей». Целый ансамбль салонов возникает в рамках интеллектуального окружения А. П. Елагиной. «Субботы» С. Т. Аксакова были тесным образом связаны с литературно-театральными кружками Ф. Ф. Кокошкина, кн. А. А. Шаховского. Через посредство салонных групп и «кружковых цепочек» распространялись новые идеи, произведения, литературные новинки.

Вслед за салонами М. Аронсон прослеживает эволюцию и таких форм литературно-интеллектуальных объединений, как «вечера». Вечера тесно связаны с салонным общением, практикой «домашних» авторских чтений, которые постепенно трансформировались в университетские или публичные чтения (1859–1862 гг.), на которых внимание публики концентрировалось не столько на литературном произведении, сколько на его авторе. Публике было интересно увидеть и послушать писателя, поэта или университетского профессора. Известно, что в публичных чтениях в Петербурге принимал участие Т. Г. Шевченко (вместе с И. С. Тургеневым, Ф. М. Достоевским и др.) и при этом имел оглушительный успех.

Упадок кружково-салонной жизни был предreshен фактом развития «книжной индустрии», благодаря чему стали возможны литературные объединения, не связанные с местом и временем общения / встреч, а также возникла перспектива донести новые идеи и произведения читателям, которые не имели возможности посещать салоны. «Встречи» читателя с автором и литераторов между собой стали происходить не в салонах, гостиных или званых вечерах, а в редакциях журналов, издательствах, книжных лавках, даже кофейнях. Место кружка или салона как площадки общения и творчества занимает журнал. Еще одна причина упадка кружков и салонов связана с появлением «литературного профессионализма», признаками которого служили оплата литературного творчества и разделение труда/обязанностей в журнале.

В литературе имеются довольно сбивчивые представления о разновидностях кружков и салонов. Впрочем, салонная жизнь про-

текала в самых разнообразных формах. Салоны существовали в виде журфиксов и вечеров. Журфикс (фр. *jour fixe* — назначенный день) — специальный день недели для приема гостей (например, «среды» Н. В. Кукольника, «четверги» Н. И. Греча, «пятницы» В. А. Жуковского, «субботы» С. Т. Аксакова и т. д.). С журфиксами в виде «обедов» конкурировали «вечера» — определенные дни встреч узкого круга приглашенных. Формы раутов, вечеров, журфиксов были изменчивы, непостоянны, иногда причудливы. Например, салон А. Н. Оленина, директора Публичной библиотеки и президента Академии художеств, члена Российской академии наук, не имел строгой формы: «точно определенных *jour fixe*'ов у Олениных, по-видимому, не было. Собирались почти ежедневно к обеду и засиживались порою до поздней ночи в дружеской беседе, шутках и критике произведений близких друзей дома — художников, музыкантов, писателей и т. д.»<sup>17</sup>.

Салон гр. М. Ю. Виельгорского представлял собой «меценатский тип» салона. Хозяин салона царский сановник, приближенный ко двору, музыкант-любитель и меценат, протезировал молодым музыкантам и литераторам, его салон был «на три четверти музыкально-артистическим». Более литературным считался салон зятя М. Ю. Виельгорского графа В. А. Соллогуба, частыми гостями которого были Ф. М. Достоевский, Ф. Тютчев и др. (всего 20-25 чел.). Салон В. А. Соллогуба служил образцом «высокопоставленного» и одновременно «демократического» салона.

К определенной «демократичности» стремился и князь В. Ф. Одоевский, в салоне которого гости «собирались не ежедневно, не случайно, а в определенные дни, так называемые *jour fixes*». Речь идет об известных в Петербурге «субботах» В. Ф. Одоевского. Предметом обсуждения гостей салона были литературные, музыкальные, культурные и общественные темы, анекдоты, обмен новостями, не обходилось без шуток и «дурачеств». Вместе с тем, салон и состав его участников имели амбивалентный характер. Тут можно было встретить аристократа и разночинца, отсюда некоторый присущий салону «антагонизм» между «гостиной и кабинетом». В. Ф. Одоевский стремился объединить в своем салоне писателей-аристократов и литераторов-разночинцев. Литературно-музы-

---

<sup>17</sup> Аронсон М., Рейсер С. Указ. соч. С. 274.

кальный салон В. Ф. Одоевского оставался «долгожителем» салонной жизни, просуществовав с небольшими перерывами почти 40 лет (с 1826 до 1869 г.)<sup>18</sup>.

Салонно-кружковая жизнь до сих пор остается практически «невспаханым» полем микроисторического анализа культурно-интеллектуальной истории, изучения «литературного быта», стиля жизни интеллектуалов, их окружения, борьбы литературных партий, а также интеллектуальных движений XIX столетия.

Малоисследованной остается проблема периодизации салонно-кружковой жизни как культурного явления эпохи. Опираясь на материалы литературной историографии, попробуем изложить свое видение данной проблемы. Первые кружки и салоны возникают в 1810–1820-х гг.; в 1820–1830-х гг. салонно-кружковый быт достигает пика популярности; в 1840-х гг. создаются редакционные кружки («Современник», «Отечественные записки»), в пространстве внимания которых оказываются проблемы организации литературно-журнальной индустрии и общественно-политические вопросы. В 1850–1860-х гг. салоны и кружки исчезают как культурно-литературное явление, отдельные кружки становятся организационным ядром интеллектуальных и общественных движений.

Понятно, что в фокусе нашего внимания находятся украинские мотивы салонно-кружковой жизни северных столиц первой половины XIX века. Салоны и кружки дают представление о литературно-интеллектуальном быте и стиле жизни украинских интеллектуалов, живших в культурном пространстве российских столиц и сохранявших украинский колорит в быту и творчестве. Речь идет о хозяевах салонов/кружков и их гостях. Украинский колорит столичной салонной жизни характеризуют, к примеру, «обеда» С. Т. Аксакова, о которых известно из дневника О. М. Бодянского. «Обеды» Аксаковых зачастую превращались в званые обеды на «вареники», где встречались известные земляки-«малороссияне» Н. В. Гоголь, М. А. Максимович, О. М. Бодянский, общение с которыми сопровождалось литературно-научными беседами, домашним музицированием на фортепиано и «малороссийскими» песнями. Под «варениками», писал Бодянский, «разумеется обед у Сергея Тимофеевича Аксакова, по воскресеньям, где непременно

---

<sup>18</sup> Там же. С. 286-287, 281-283.

блюдом были всегда вареники для трёх хохлов: Гоголя, М. А. Максимовича и меня, а после обеда, спустя час-другой песни малороссийские под фортепиано, распеваемые второй дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною, голос которой очень мелодический. Обыкновенно при этом Максимович подпевал. Песни пелись по “голосам малороссийских песен”, изданных Максимовичем, и кое-каким другим сборникам (Вацлава из Олеска), где голоса на фортепиано положены известным музыкантом Липинским<sup>19</sup>.

Веселой, даже эпатажной, была атмосфера «вечеров» Нестора Кукольника, товарища Н. Гоголя по Нежинской гимназии, от которых, как считают исследователи, пошла литературно-художественная богема. На «средах» Н. Кукольника собирались до 80 человек присутствующих, главным образом, земляков-«малороссов», литераторов, офицеров, чиновников средней руки, художников, музыкантов, актеров. На этих вечерах царил культ «высокого искусства», который вполне мирно уживался «с пьяным разгулом» (И. И. Панаев). Тут звучали импровизации и романсы М. И. Глинки, забавлялись карикатурами Степанова и самого Карла Брюллова. Кстати, «триумvirат» Кукольник — Глинка — Брюллов являлся ядром и «мотором» эпатажных «сред» Н. Кукольника. Об атмосфере «быта» этих вечеров свидетельствует «культура прозвищ» и «своих словечек». Сам кружок именовался «биржею» или «комитетом», Н. В. Кукольник в узком кругу имел прозвище «Клюкольник» и «Епископ» (Гоголь называл его «Возвышенный», из-за выпренности стиля), Я. Ф. Яненко — «Пьяненко», К. П. Брюллов — «Карл Великий».

На «средах» Н. В. Кукольника из литераторов присутствовали Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. И. Сенковский, Н. А. Полевой, члены кружка В. Г. Белинского, противостоявшие партии «литераторов-аристократов». Сам Н. Кукольник в дневнике признавался, что сознательно избегал общества Пушкина и «вообще аристократии». На вечерах Кукольника творческая деятельность уживалась с «угарною обстановкою богемы “Несторовой биржи”, не знающей салонных приличий и тесными узами связанной с операми Глинки, картинами Брюллова и драмами Кукольника». В кружке Н. В. Кукольника происходил синтез искусств на принципах ро-

---

<sup>19</sup> См.: *Гиппиус В. В.* Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники. М., 1931 / Репринт: М., 1999. С. 395.



мантизма — музыку для оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») писал М. И. Глинка, декорации — К. П. Брюллов, а в либретто присутствовали стихи Н. В. Кукольника.

Демократический характер имели вечера другого «петербургского малоросса» Евгения Гребенки — преподавателя кадетского корпуса и популярного литератора. Вечера Е. П. Гребенки начались в середине 1830-х гг. и оборвались с его смертью в 1848 г. Вокруг Гребенки сформировался кружок земляков-«малороссов», среди которых были офицеры, чиновники, художники, литераторы: Н. Я. Прокопович, Н. В. Кукольник, Т. Г. Шевченко, бывали также В. И. Даль, П. П. Ершов, М. А. Языков и др. Круг Гребенки образовал ядро демократично-разночинского украинского землячества — в отличие от предшествующих землячеств «петербургских малороссов», группировавшихся вокруг таких высокопоставленных и известных фигур, как кн. А. А. Безбородко, министр почт и юстиции Д. П. Трощинский. Вечера Е. П. Гребенки славились в петербургских кругах «малороссийским гостеприимством и хлебосольством». Как вспоминает современник, на этих вечерах подавалось «чисто малороссийское угощение: сало, початки, малороссийские наливки, варенье, запеканка, варенец». В противовес богемным «сборищам» Н. В. Кукольника вечера Е. П. Гребенки проходили спокойно, здесь читали, спорили «без малейшего озлобления», просто болтали о бытовых и литературных новостях и приключениях<sup>20</sup>.

В литературе встречаются любопытные упоминания о салонах вельмож и царских сановников украинского происхождения, которые сыграли не последнюю роль в салонно-литературной жизни российской столицы. Речь идет о салонах Трощинского — Хилковой и Полторацких. Салон дочери Трощинского княгини Л. Д. Хилковой представлял собой не *jour fixe*, а ежедневные собрания/встречи, как было принято у знати, на которых все, что выходило из-под пера В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, кн. А. А. Шаховского, немедленно прочитывалось и «становилось предметом самых живых толков». Постоянными гостями салона кн. Хилковой в Петербурге были земляки Трощинского — Василий Капнист, Николай Гнедич, Аркадий Родзянко. Они появлялись в гостиной кн. Хилковой с только что изданными книжками и ничего не печатали без предварительного

---

<sup>20</sup> См.: Аронсон М., Рейсер С. Указ. соч. С. 292-295, 233, 296-297.

обсуждения здесь, в салоне. Литературно-музыкальным был салон Полторацких, в котором бывали Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, А. Н. Оленин, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич и В. В. Капнист, а также художники, музыканты и ученые<sup>21</sup>.

Блестящую реконструкцию образа великосветского салона первой половины XIX века осуществила современная французская исследовательница Анна Мартен-Фюжье. Париж, как известно, считался «законодателем мод» в салонной жизни Европы первой половины XIX века. Такие паттерны французской культуры, как язык (французский — «язык салонов»), мода, этикет, интерьер, декор, манеры, поведенческая модель в высшем свете, были доминирующими в Европе того времени. Салонная жизнь, по мнению А. Мартен-Фюжье, в первой половине XIX столетия не являлась исключительной прерогативой высших классов. Наоборот, светская жизнь аристократов служила образцом для так называемого среднего класса. В те времена считалось, что семья, достигшая уровня мелкого буржуа, имела два способа засвидетельствовать этот факт — завести прислугу и назначить приемный день.

Вечера буржуа напоминали вечера в высшем свете. Разумеется, Париж (как, впрочем, и Петербург, и Москва) имел свою «светскую биографию», а хозяин салона использовал целый набор «светских стратегий», например, такую, как организация «маленьких вечеров» для узкого круга избранных, которые устраивались не столько для самих счастливиц, сколько для тех, кто не был включен в состав приглашенных. Списки приглашенных служили «полезным орудием» в достижении успеха «в свете». Салоны Парижа имели свой особый состав: денди, литераторы, модницы, «синие чулки» и всяческие знаменитости. Светская жизнь имела свой ритм и была традиционно регламентирована. Очередной сезон салонной жизни начинался в декабре, продолжался до Пасхи и делился как бы на две части — до и после Великого поста. До поста светское общество было занято всевозможными раутами, балами, маскарадами, танцами, костюмированными и благотворительными балами во время Масленицы, в период поста танцевали меньше, преимущественно слушали музыку. В мае светское общество покидало столицу, разъ-

---

<sup>21</sup> См.: Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века / Ред., вступ. ст. Н. Л. Бродского. М.–Л., 1930. Прим. 1. С. 41.

езжаясь на лето в свои сельские усадьбы и загородные дома. Примечательно, что англичане наоборот зиму проводили в своих загородных резиденциях, где развлекались охотой с собаками, а с приближением тепла возвращались в Лондон. Каникулы у студентов и учащихся продолжались с середины августа до начала октября. Модный молодой человек, денди, не мог показаться в Париже в сентябре, так как весь октябрь был посвящен охоте. Светское общество возвращалось в столицу в ноябре. Разумеется, жизнь салонов на разных социальных уровнях имела свои особенности<sup>22</sup>.

Салоны, кружки, литературные объединения как «социокультурное явление» рассматриваются и сквозь призму «прикладной социологии литературы». В рамках проекта Института славистики Бохумского университета (Германия) (Seminar für Slavistik / Lotman-Institut für Russische und Sowjetische Kultur der Ruhr-Universität Bochum) было осуществлено издание, посвященное литературным объединениям Москвы и Петербурга 1890–1917 гг.<sup>23</sup> Манфред Шруба предлагает свою типологию литературных объединений как интеллектуальных сообществ: *общества* (товарищества, союзы, постоянно действующие объединения со своим уставом и структурой); *кружки* — группы литераторов, регулярно собирающихся для совместных занятий и объединенных общими тематическими, эстетическими и мировоззренческими установками; *салоны* — (журфиксы, вечера и т. д) регулярные встречи, проходящие в дни приемов для ограниченного литературно-художественного круга; *псевдогруппировки* — фиктивные группы, состоящие из одного человека и бытующие в виде одного названия (импрессионисты, кларисты); *фантастические общества* (например, хлебниковское общество председателей земного шара); *творческие группировки* от

<sup>22</sup> См.: *Мартен-Фюжье А.* Светская жизнь и салоны (из книги «Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж». 1815–1848») // Новое литературное обозрение. 1995. № 13 (<http://vivovoco.rsl.ru/vv/papers/history/salon.htm>); полный вариант: *Мартен-Фюжье А.* Элегантная жизнь, или Как возник «весь Париж». 1815–1848 / Пер. О. Э. Гринберг и В. А. Мильчиной. М., 1998).

<sup>23</sup> См.: *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. М., 2004. См. также: *Leighton L. G.* Circles, Literary: 1800–1860 // *The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literatures (Including Non-Russian and Émigré Literatures)* / Ed. by H. B. Weber. Gulf Breeze, 1981. Vol. 4. P. 181-187; *Parrot Jr. R. G.* Circles, Literary: 1860–1890 // *Ibid.* P. 187-195.

названия направления (акмеисты, кубофутуристы, символисты) а также провинциальные объединения; любительские литературные общества; литературные кружки землячеств и национальных меньшинств; столичные «окололитературные» общества, не связанные напрямую с литературной средой (например, Санкт-Петербургский драматический кружок)<sup>24</sup>.

Проблема интеллектуальных сообществ оказалась в поле теоретической рефлексии и современных российских авторов. Предприняты попытки определить понятие «интеллектуальное сообщество» в качестве «совокупности людей, которые используют интеллект как ресурс для создания новых смыслов», члены которого продуктивны и открыты к взаимодействию с внешним миром<sup>25</sup>. Предметные рамки концепта «интеллектуальное сообщество» Л. П. Репина коррелирует со сферой «историко-социологического анализа» и т. н. «социальной истории интеллектуалов», что полностью вписывается в «социальную историю элит»<sup>26</sup>.

Традиционно в центре внимания находились такие устоявшиеся формы интеллектуальных сообществ, как университет, корпоративные общества, профессиональные группы, социогуманитарные корпорации, научные школы и династии<sup>27</sup>. Заслуживает внимания и сюжет о литературных салонах как специфической форме интеллектуального сообщества. Кто-то воспринимает салон как отжившую форму (И. С. Семенко), для иных салон — это «культурное явление» (Т. А. Сабурова)<sup>28</sup> и одновременно одна из старейших институций России (Р. Пайпс), потому что любая тео-

<sup>24</sup> Шруба М. Указ. соч. С. 5-8.

<sup>25</sup> Семенко И. С. Интеллектуальные сообщества: диалектика консолидации // Политические и интеллектуальные сообщества в сравнительной перспективе / Отв. ред. Л. П. Репина, Л. А. Фадеева. М., 2007. С. 16.

<sup>26</sup> Репина Л. П. Интеллектуальные сообщества как объект и предмет сравнительно-исторического исследования: проблемы методологии // Там же. С. 89.

<sup>27</sup> Семенко И. С. Указ. соч. С. 16-18; Мягков Г. П. Научная школа на перекрестке «структуры» и «воли» // Там же. С. 96-99; Корзун В. П. Отец и сын в мире науки: А. С. и И. А. Лаппо-Данилевские // Там же. С. 214-217; Шмелёва М. М. Проблемы изучения научных династий // Там же. С. 208-210; Корневский А. В. Династия Тойнби в пространстве интеллектуальной истории // Там же. С. 217-221.

<sup>28</sup> Сабурова Т. А. Пространство «мысли и чувства» русской интеллигенции первой половины XIX в. // Там же. С. 159-163.

рия, чтобы стать фактом культуры, должна была переведена «на язык дам и салонов» (Ю. М. Лотман).

Продуктивными для репрезентации интеллектуальных сообществ являются теории коммуникации и сетевого анализа. Так, журналы, переписка, литература — это формы письменной коммуникации, устная коммуникация локализовывалась в салонах, философских, политических кружках и обществах (Т. А. Сабурова). По мнению Г. П. Мягкова, именно сети становятся «новой морфологией сообществ и обществ». В наше время возникают такие разновидности интеллектуальных сообществ, как «сетевые научные школы» вокруг электронных изданий, «виртуальные мастерские» и интеллектуальные клубы, как «площадка для организации дискуссий» (И. С. Семенко). В нынешней ситуации целесообразным представляется использование социологии социальных сетей Р. Коллинза при изучении формальных и неформальных интеллектуальных сообществ (Л. П. Репина); восприятие «семьи интеллектуалов как центра сетевого общения», смещение акцентов с факта трансляции научных идей на феномен «продленной гениальности», как в случае отца и сына Лаппо-Данилевских (В. П. Корзун).

В новейшей украинской литературе также рассматриваются различные типы интеллектуальных сообществ. Формальные интеллектуальные сообщества представлены такими традиционными формами, как научные общества (УНТ, Киевская археографическая комиссия<sup>29</sup>, университеты<sup>30</sup>, редакционные кружки журналов «Основа» и «Киевская старина»<sup>31</sup>), неформальные сообщества, семейные «культурные гнезда» левобережной старшинской аристократии, в частности Марковичей / Маркевичей, Белозерских /

---

<sup>29</sup> Онопрієнко В., Реснит О., Щербань Т. Українське наукове товариство: 1907–1921 роки. — К., 1998; Журба О. І Київська археографічна комісія. 1893–1921: Нарис з історії і діяльності. К., 1993.

<sup>30</sup> Посохов С. Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ–ХХ ст. в публіцистиці та історіографії. Х., 2006; Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах. Из истории Новороссийского университета. Одесса, 2007.

<sup>31</sup> Айтюв С. Ш. Українська історіографія та журнал «Основа» в контексті культурно-національного відродження України: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2001; Палієнко М. Г. «Киевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). К., 2005.

Кулишей<sup>32</sup>. Проблема академических школ в украинском контексте рассматривается или в теоретико-методологическом аспекте, или в практическом ракурсе, как функционирование научно-исследовательских кафедр М. С. Грушевского и Д. И. Багалая<sup>33</sup>.

С точки зрения теоретических разработок, категория «научное сообщество», к примеру, деконструируется в традициях мертоновской «нормальной» социологии науки, как своеобразная «профессиональная корпорация» со своими законами, нормами и правилами поведения, содействующими корпоративной социализации и формированию ценностных ориентиров ученых<sup>34</sup>. Прорыв, как известно, возможен при условии интеграции новейших технологий и лучших традиций отечественного историописания.

### **Интеллектуальные сообщества в Украине:**

#### **попытка типологизации**

Культурный мир украинства эпохи Модерна под углом зрения сетевого анализа воспринимается как гибкая и динамичная структура кружков, групп, сетей интеллектуальных связей, пронизанных скрытым или явным соперничеством современников-оппонентов.

Интеллектуальные сообщества, представляющие собой душу и тело украинской культуры, возникали и конкурировали между собой, исчезали и возрождались в новых формах. У истоков интеллектуального сообщества, как правило, находились или харизматический лидер, или организационное ядро (журнал, издание, кафедра, научная школа и пр.). Например, Новгород-Северский патриотический кружок возникает в 1780–1790-х гг. в кругах высшей бюрократии, среднего чиновничества, просвещенной шляхетской интеллигенции и окультуренного местного дворянства. В среде украинского дворянства и интеллигенции возникает кружок

---

<sup>32</sup> Голубчик Г. Д. Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: «нова сімейна історія»: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2003; Барабаш Н. О. Рід Білозерських і культурний світ України XIX – початку XX століть. К., 2007.

<sup>33</sup> Юркова О. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930). К., 1999; Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921–1934). Х., 1994.

<sup>34</sup> Онопрієнко В. І. Наукове співтовариство: Вступ до соціології науки. К., 1998. С. 24.

просветителей-интеллектуалов — «Поповская академия», идейным лидером которой был архитектор-любитель, литератор и просветитель А. А. Палицын (далекий потомок келаря Троице-Сергиевой лавры Авраамия Палицына). Организационным ядром научно-образовательных объединений украинских интеллектуалов середины — второй половины XIX века являлись редакционные кружки, которые концентрировались вокруг крупных культурно-интеллектуальных проектов украинства — журналов «Основа» и «Киевская старина». Кирилло-Мефодиевское братство выросло из тесного кружка друзей и единомышленников, преподавателей и студентов Киевского университета, лидерами которого были Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш.

Механизм формирования интеллектуального сообщества был следующим: организационное ядро постепенно переплавлялось в дружеский кружок или группу партнеров по интересам, или морально близких людей. Формы кружков, групп интеллектуалов были самыми разнообразными: *по социальному статусу* (аристократические салоны, буржуазные гостиные, студенческо-разночинские, демократические кружки; *по характеру интересов, интеллектуальных занятий* (литературно-философские, литературные вечера, собрания литераторов, столичной и местной литературно-художественной богемы; *по принципу организации* (группы друзей, круг соучеников, «однокорытников»), как называли себя товарищи Н. В. Гоголя по Нежинской гимназии, коллеги; *по степени открытости* — тайные объединения (масонские ложи, декабристские организации, Малороссийское общество), полутайные (Кирилло-Мефодиевское братство, Братство тарасовцев, народнические организации, студенческие политические кружки конца XIX века), легальные культурно-общественные объединения (громады, «Просвита»), научные общества (Киевская археографическая комиссия, Одесское общество истории и древностей, Юго-Западный отдел Российского географического общества, историческое общество Нестора-летописца при Киевском университете, НТШ, УНТ); *по способу репрезентации* (культурные «харизматические кланы», старшинско-дворянские «культурные гнезда», великосветские салоны в губернаторских резиденциях, дворцы меценатствующих магнатов с домашними театрами, артистами, концертами, картинными галереями, библиотеками, коллекциями древностей).

Разнообразие форм интеллектуальных сообществ просвещенного и патриотически ориентированного украинства создавало разветвленную сеть семейно-своячко-соседских, имущественных, служебно-корпоративных, литературных, научных, культурных взаимоотношений, которые и структурировали пространство украинской культуры, кросс-культурные украинско-российские, украинско-польские, украинско-чешские и др. связи. Так, В. В. Капнист был тесно связан с кружком Г. Р. Державина, которому, между прочим, приходился свояком. А. И. Мусин-Пушкин, известный антикварий и писатель, через О. Лобысевича был знаком с деятельностью Новгород-Северского патриотического кружка. М. А. Максимович являлся частым гостем салона А. П. Елагиной. Н. В. Гоголь также был желанным гостем Аксаковых, Елагиной, подолгу жил у М. П. Погодина. М. И. Глинка был вхож в аристократические салоны гр. М. Ю. Виельгоского, В. А. Соллогуба, кн. В. Ф. Одоевского, А. Н. Оленина, а также бывал на литературных вечерах В. А. Жуковского, А. А. Дельвига, тесно общался с «братией» Н. В. и П. В. Кукольников. Т. Г. Шевченко почти ежедневно бывал в салонах гр. Ф. П. Толстого, на журфиксах «Основы», а также на званых обедах у К. Д. Кавелина.

На наш взгляд, украинские интеллектуальные сообщества уместно типологизировать по формуле М. Вебера: союз/институт.

К первой большой группе интеллектуальных сообществ можно отнести те, которые, как союз, основываются на согласии, взаимопонимании, т. е. рациональных основаниях (таких как культурные ценности, идеи/символы, моральные императивы, харизматическая личность/организационный лидер). Речь идет о таких разновидностях интеллектуальных сообществ, как:

1. *Землячества* украинцев в имперских столицах, студенческие *гмины* в университетских городах. Украинцы, жившие в северных столицах, служившие, как правило, в коллегии / министерстве иностранных дел, сенате, синоде, адмиралтействе и др. учреждениях, были теснейшим образом взаимосвязаны привычными практиками протектирования, патронирования и семейственности, оплетены сетью семейно-своячко-соседских, товарищеских, имущественных, служебных и культурных связей. Землячества и гмины представляли собой аморфные интеллектуальные сообщества, неопределенной конфигурации, возникающие на основе нефор-



мальных взаимоотношений. Землячество «петербургских малороссов» сформировалось вокруг таких харизматических личностей, как канцлер А. А. Безбородко и «козак-вельможа» Д. П. Трощинский. Позднее в Петербурге украинские интеллектуалы объединялись вокруг братьев Кукольников, Е. П. Гребенки, Н. В. Гоголя, Н. И. Костомарова, П. А. Кулиша, В. М. Белозерского и др. В Москве центрами «украинского притяжения» считались фигуры М. А. Максимовича, О. М. Бодянского. В конце 1850-х — в начале 1860-х гг. украинское землячество, группировавшееся вокруг организационного ядра и лидеров, превратилось в редакционный кружок, как в случае с «Основой». В то же самое время студенческие гмины в Киевском университете св. Владимира создали почву для возникновения новых форм интеллектуального сообщества, к примеру, Киевской громады. Культурный быт киевских старогородцев первой половины 1870-х гг. также характеризуется еженедельными встречами — «субботами» у Н. Лысенко или П. Житецкого.

2. *Семейные культурные очаги, «старшинско-дворянские гнезда»* или культурные харизматические кланы. Семейные украинские анклавные воспринимаются как специфическая форма организации интеллектуального труда в условиях отсутствия государственности, институциональной нелегитимности культурной жизни в Украине. Метод сетевого анализа предполагает определение места родственников в сети связей личности: сколько их, какие пропорции, создают ли родственники внутри этих связей отдельные группы межличностных связей, каким образом происходит распределение ролей родственников, соседей, знакомых в сетях общественных коммуникаций, «могут ли семейные и товарищеские отношения стать источником существования в экономическом смысле» и т. д.<sup>35</sup>

3. Разновидностью интеллектуального сообщества по типу «союза» являются *кружки*. Культурное пространство «украинского XIX века» дает богатейший спектр таких объединений. Проблема кружков как культурного явления не нова в историографии. В нынешней интеллектуальной ситуации эта проблема может переживать настоящий ренессанс, опираясь на новейшие технологии сетевого

---

<sup>35</sup> Уэллман Б. Место родственников в системе личных связей // Социс. 2000. № 6. С. 78.

анализа, что дает возможность реконструировать межпоколенные цепи и сети культурных миров, осмыслить механизмы взаимодействия личности с ее эгоцентричным миром. Что представляет собой «кружок»? С нашей точки зрения, это — локальные группы, имеющие свою статусную идентичность, которая обуславливается присутствием лидера / идеи, наличием культурного капитала участников группы, а также проявлением эмоциональной солидарности (ощущения единства). Формы репрезентации кружков определяются целями, культурно-стилевыми предпочтениями, поведенческими моделями их участников. Отсюда понятно разнообразие типов кружков: просто круг друзей, группа партнеров по обсуждению, соучеников, клубы по интересам, культурно-просветительские, литературные, научные, литературно-художественные кружки, аристократические салоны с домашними театрами, журфиксы, литературно-музыкальные вечера с любительским музицированием, анекдотами, шутками, светскими новостями, «домашним» чтением, которые оказывали заметное влияние на общественную мысль и социальное поведение.

К другой большой группе интеллектуальных сообществ можно отнести объединения по типу «институт», в которых моральные установки как интегральный фактор дополнялись в обязательном порядке элементами принуждения (социального, морального, институционального или политической целесообразностью).

4. *Общественно-политические объединения и группировки*, которые являлись инструментом воздействия и организационного принуждения: масонские ложи («Понт Эвксинский», «Три царства» в Одессе, ложи «Объединенных славян» в Киеве и «Любовь к истине» в Полтаве), декабристские организации («Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и Южное общества, «Товарищество объединенных славян»), тайное Малороссийское общество Василия Лукашевича, Кирилло-Мефодиевское братство, как первая политическая организация в Украине со своим уставом и программой. Все эти объединения возникли в эпоху Романтизма, а поведенческая модель интеллектуала-романтика предполагала флер загадочности, таинственности как способ самоутверждения, придания себе значимости в собственных глазах и своего окружения. Для первых таких организаций в Украине (масонских лож, декабристских групп, Малороссийского общества) типичными были тайные обряды, посвящение, клятвы, присяги, тайные собрания,

специфическая семантика, внешняя атрибутика (перстни с буквами «М» и «К», символическими надписями, кресты, треугольники), эмоциональное напряжение, экзальтация, даже фанатизм. Такому типу интеллектуальных сообществ была присуща театрализация действия, поступков, закрытость относительно внешнего мира, стремление к внутреннему групповому общению, активный поиск друзей и единомышленников. Члены тайных организаций стремились использовать в своих целях аристократические салоны и литературные кружки. Преобразование форм политических организаций связано с возникновением демократических студенческих кружков в университетах, семинариях, гимназиях, структурированием общественных движений (например, хлопоманы, громадское движение), возникновением политических партий национальной ориентации на украинском Востоке и Западе. Это означало смену масок и моделей поведения украинских интеллектуалов.

5. *Культурно-общественное движение*, которое структурировалось разветвленной сетью украинских громад, народнических групп, кружками украинских интеллектуалов в эмиграции (Женевский кружок М. П. Драгоманова). В культурных практиках хлопоманов и украинских громадцев, русинских народовцев возникают новые роли/маски интеллектуальных героев в образе студента, учителя воскресной школы, университетского профессора, литератора-издателя, вольного художника или нелегала-профессионала. Словом, местом действия становятся не помещичьи усадьбы, дворянско-старшинские гнезда, а скромные гостиные разночинцев, демократические редакции журналов, университетские кафедры, научные учреждения и общества, публичные чтения, литературно-художественные вечера украинской интеллигенции.

6. *Научно-корпоративные объединения* в украинском культурном пространстве существовали в виде университетских кафедр, научных институций (Киевская археографическая комиссия, Юго-Западный отдел Российского географического общества, сеть губернских архивных комиссий), научных обществ (Одесское общество истории и древностей, Историческое общество Нестора-летописца, НТШ, УНТ, ВУАН), редакционных кружков (вокруг журналов «Основа» и «Киевская старина»), академических школ (научная школа В. Б. Антоновича, львовская и новая киевская школа М. С. Грушевского, школы Д. И. Багалея, историков-марксистов 1920-х гг.).

Механизм взаимодействия личности с интеллектуальным сообществом, интеллектуала с его окружением, следует воспринимать сквозь призму его научной карьеры. Карьера в научном мире имеет несколько уровней / стадий: 1) первая публикация, которая служит своеобразным пропуском в научную корпорацию / сообщество; 2) пребывание начинающего в промежуточной группе, что связано с процессами его адаптации и самопрезентации в корпоративной среде; 3) более пяти лет научных занятий и публикаций, вследствие чего происходит процесс вхождения исследователя в состав высокопродуктивной группы — элиты конкретного научного сообщества; 4) высший уровень / стадия научной карьеры, к которому стремится интеллектуал, это лидерство, ведущие позиции внутри организационного ядра (ядерной группы) данного интеллектуального сообщества (разумеется, каждый, кто достигает вершины научной карьеры, имеет свой уровень интеллектуального успеха); 5) уровень обязательный и естественный в карьере любого интеллектуала в научном мире, связан с периодом кризиса и спада деятельности, научной продуктивности, понижения статуса, идейных мутаций, изменения корпоративной идентичности. Вместе с тем кризисы и спады, которые переструктурируют каналы карьерного роста, связаны с изменением исследовательских технологий, ситуацией конкуренции в научном сообществе (даже в организационном ядре — группе лидеров), действиями групп поддержки или уничтожения. В целом, место интеллектуала определяется, по мнению Р. Коллинза, сетевой позицией в интеллектуальном сообществе, а также интенсивностью его интеллектуальных коммуникаций<sup>36</sup>.

Безусловно, охватить все разнообразие форм интеллектуальных сообществ в пространстве украинской культуры на протяжении «долгого XIX века» невозможно. Можно только приблизиться к пониманию роли и статуса групп и объединений интеллектуалов, интеллектуальных героев в сложных процессах легитимации культурной жизни активного украинства в условиях государственного иррационализма, инокультурных влияний, пренебрежения традициями. Украинские интеллектуальные сообщества — аморфные, пластичные, динамичные, постоянно перетекающие от одного по-

---

<sup>36</sup> См.: Коллинз Р. Указ. соч. С. 96-98, 105-106.

колениа к другому, что существенно осложняет их изучение. Эти сообщества представляли сложный сетевой узор семейно-свояцких, соседских, служебно-корпоративных, дружеских контактов интеллектуальной элиты и сознательного украинства. Кружева этих связей, были такими затейливыми, что зачастую сами коммуникаторы не догадывались о своем родстве. Классический пример — Н. В. Гоголь, который не подозревал, что приходится далеким родственником жене Пушкина Наталье Гончаровой (оба они — потомки гетмана Петра Дорошенко), а также о том, что находился в родстве с гетманом Иваном Скоропадским и А. П. Толстым.

Таким образом, сетевые технологии, модели интеллектуальных сетей предоставляют новые возможности, активизируют значительный ресурс, который не вписывается в стандартные схемы интеллектуальной и культурной историографии. Восприятие украинского культурного мира как подвижной, динамичной структуры интеллектуальных сетей дает возможность почувствовать пульс жизни, услышать беседы, домашние чтения, музыку в салонах и гостининых, разговоры и дискуссии в редакциях журналов, на тайных сходках, корпоративных встречах, общественных собраниях. Словом, сетевые интеллектуальные карты позволяют глубоко окунуться в «литературный» и «историографический» быт, повседневную жизнь украинского интеллектуала, понять сложность и нюансы бесчисленных цепочек его родственных, служебных, дружеских, профессиональных связей и контактов, мотивацию культурно-интеллектуальной деятельности, научной карьеры в целом.

На практике метод коммуникационных сетей коррелируется с техниками микроисторического анализа. Кроме того, сетевые технологии, современные модели коммуникационных сетей служат определенной альтернативой таким неизменным атрибутам традиционного историописания, как понятия процессуальности и линейности (в форме развития, эволюции, прогресса). Взгляд на украинскую культуру и науку как совокупность сетей интеллектуальных альянсов, корпоративных групп, культурных центров, цепочек семейных, приятельских и служебно-корпоративных связей интеллектуалов легитимизирует саму идею нелинейных подходов в культурно-интеллектуальной истории.

*Н. Н. АЛЕВРАС, Н. В. ГРИШИНА*

## **ИСТОРИК НА ПЕРЕПУТЬЕ**

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО В «СМУТЕ» 1917 ГОДА

«Русскую смуту» 1917 года нельзя, конечно, рассматривать как одноактное событие, случившееся в октябре знаменательного года. Несомненно, под этим условным обозначением имеется в виду довольно длительный процесс. С одной стороны, он ограничен последними аккордами «долгого XIX века» — годами Первой мировой войны, с другой стороны, — временем завершения переходного (после Октябрьской революции) политико-экономического состояния страны и началом политического режима тоталитарной природы. Для исторической науки в рамках этого процесса рубежную веху, положившую завершение этого переходного времени составило, вероятно, известное Академическое дело. Оно знаменовало политическую победу советской власти над старой школой русских историков. Установлением нового политического порядка и новых идеологических основ науки заканчивалось и «смутное время», порожденное предреволюционным ожиданием и революционными преобразованиями. Само собой разумеется, что в рамках данного периода могут просматриваться внутренние вехи, воздействовавшие на отношение историков старой школы к происходящему в России.

### **Предварительные соображения**

В эти «смутные времена», когда российская культура, утратив ощущения связи времен, не успела еще до конца осмыслить происходящее и не могла выстроить образ будущего, историческое знание переживало особенно драматическую трансформацию. Былые ценности, система представлений и опыт дореволюционной историографии предавались забвению. Революция породила историков нового — марксистского образца.

Деактуализация наследия историков «старой школы», резко ограничила их профессиональную востребованность, усилила драматизм трансформационной ломки исторической науки в целом и личностного адаптационного выбора ученого, который должен был сделать каждый гражданин, осознававший смысл происшедшего.

С революцией или против нее? С Россией или без нее? Смириться или нет? Войти в образ «нового» типа ученого или только надеть личину примирения? А, может быть, поверить новой власти и преданно служить ей? Ведь прежняя политическая система уже давно утратила доверие... Несомненно, подобного рода размышления были мучительны для интеллектуального круга того времени, а для профессионального сообщества историков они были сопряжены с концептуальными и методологическими рефлексиями.

Для историка в новой России одним из главных становился, в общем-то, старый вопрос: «Как *теперь* писать историю?». Научный кризис, пережитый на рубеже XIX–XX в. как кризис глобальный, поставил перед русской исторической наукой задачи методологического обновления, которые она не успела решить к моменту «смутного времени». В состоянии методологической растерянности историки вошли в новый кризис — политический и цивилизационный. Методологическая нестабильность, отражавшая незавершенность и общего модернизационного процесса в России, и теоретических исканий ученых, стала основой переориентации части историков к толерантному отношению к марксистским постулатам. Отчасти этому содействовало доминирование позитивистских установок, характерных для русских историков, принципиально не противоречивших новой (марксистской) методологии. Другая основа отношений к новым правилам игры лежала в плоскости персональных политических настроений, складывавшихся еще до 1917 года, и поведенческих стратегий, вырабатывавшихся после революции под давлением трудно преодолимого политико-идеологического диктата. Идею и мировоззренческое противостояние новому политическому режиму преобладало в позиции историков «старой школы».

В отечественной историографии деятельность русских историков в переходный период, то есть, во время «русской смуты», нередко освещалась, либо в контексте становления марксистской науки, либо без учета научно-антропологического ракурса.<sup>1</sup> Задача обращения к облику научного сообщества, жизни и судьбам уче-

---

<sup>1</sup> См., например: *Иванова Л. В.* У истоков советской исторической науки. Подготовка кадров историков в 1917–1929 г. М., 1968; *Алексеева Г. Д.* Октябрьская революция и историческая наука // Историческая наука в России в XX веке. М., 1997.

ных-историков, оказавшихся под наковальной революционных перемен<sup>2</sup>, становится особенно актуальной в современной политической ситуации, предлагающей историку очередной методологический и концептуальный выбор.

В поле нашего внимания — историки двух ведущих университетских центров дореволюционной России — Петербурга и Москвы. Авторы ограничились сравнительно небольшим кругом ученых, оставшихся в России. Мироощущения русских историков — представителей эмигрантской культуры — в данном случае остались за пределами исследования<sup>3</sup>. Опираясь, преимущественно, на мемуарное и эпистолярное наследие историков — современников «смуты», авторы преследовали цель воссоздать те их настроения и самоощущения, которые были следствием обстоятельств историко-политической трансформации, а для современного исследователя являются источником понимания их жизненного и творческого выбора. При этом авторы вполне осознают перспективность полномасштабного научного проекта по заданному направлению исследований, а потому в данном случае включаются только в начало разговора на эту тему.

Представители Петербургской и Московской школ в русской дореволюционной историографии уже в 1880–90-е гг. воспринимали друг друга как оппоненты, различающиеся по характеру и стилю историописания, пониманию задач исторической науки, связи исторического знания с общественно-политической злободневностью.

---

<sup>2</sup> Естественно, что эти сюжеты уже интересовали историографов, хотя проблема в целом еще ждет своей полной разработки. См., например: *Кривошеев Ю. В., Дворниченко А. Ю.* Изгнание науки: российская историография в 20 – начале 30-х гг. // *Отечественная история.* 1994. №3; *Робинсон М. А.* Судьба академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 30-х годов) М., 2004; *Алеврас Н. Н.* Ю. В. Готье в 1917–1922 гг.: «научная» стратегия выживания ученого-историка в вихре «русской смуты» // *Интеллигенция России и Запада в XX–XXI вв.: поиск, выбор и реализация путей общественного развития.* Материалы научной конференции. Екатеринбург, 2004; *Брачев В. С.* Опасная профессия — историк. СПб., 2005. Ч. I–III; *Гришина Н. В.* Историки «старой школы»: проблема вживания в советскую действительность // *Историк в меняющемся пространстве российской культуры.* Сборник статей. Челябинск, 2006 и др.

<sup>3</sup> Одному из авторов приходилось обращаться к этим сюжетам. См.: *Алеврас Н. Н.* Евразийцы и Г.П. Федотов: русская революция в диалогах эмигрантов-современников // *Диалог со временем.* Вып. 16 (2006).



Восприятие ими революционных событий также не во всем совпадало. Это просматривается, как в их отношениях к революциям 1917 г., так и в оценках лишений и тягот, которые легли на их плечи в бытовой и научной жизни в постреволюционный период. В то же время объединяющим мотивом их настроений являлось идейно-политическое и эмоционально-культурное неприятие нового режима или настороженное к нему отношение, что дает возможность углубиться в индивидуальные особенности социально-психологических установок, приводившихся в действие носителями исторического знания в экстраординарной ситуации революции. Подобный подход позволяет реконструировать персональные стратегии выживания ученых дореволюционной культуры, степень их искренности и глубины внутреннего отторжения революционных новаций.

Уже беглое знакомство с воспоминаниями, дневниками, перепиской историков позволяет говорить, что совпадающего и однозначного, позитивного или негативного, отношения к происходящему в этот период в России у дореволюционных историков не было. Заметим, что помимо личностных мировоззренческих установок и принадлежности к той или иной научной культуре, на отношение историков к общественно-политическим переменам сказывался широкий спектр разного рода факторов, начиная от опыта административной работы, приучавшего сдержанно и взвешенно подходить к оценкам любых событий, заканчивая степенью участия в различных общественных и политических инициативах. Это определило созидательную направленность деятельности и относительный оптимизм одних (М. К. Любавский, А. Е. Пресняков, С. Ф. Платонов, Н. И. Кареев, Е. В. Тарле) и склонность к драматизации происходящего и даже истерии других (Ю. В. Готье, С. Б. Веселовский).

#### **«Русская смута»**

##### **в оценках историков Москвы и Петрограда**

Самыми категоричными и откровенными в своем отрицании советского режима среди наблюдаемых нами историков были С. Б. Веселовский и Ю. В. Готье<sup>4</sup>. События последнего года Первой

---

<sup>4</sup> Фигура Ю. В. Готье уже привлекала внимание историков, его дневник рассматривался как источник для понимания катастрофичности мироощущений современников в восприятии драмы русской революции. См., например:

мировой войны, соединенные с последствиями Февральской революции и нараставшей тенденцией нового революционного переворота, вызывали у двух московских историков сходные ощущения трагизма и чувства безысходности.

С. Б. Веселовский в марте 1917 г. пришел к заключению, что «роль России как великой европейской державы окончена»<sup>5</sup>. В июле этого же года Ю. В. Готье начал свой дневник фразой «Finis Russiae»<sup>6</sup>. Почти такой же вердикт вынес в своем дневнике С. Б. Веселовский в марте 1918 г.: «Finis Moskoviae»<sup>7</sup>. И тот и другой не верили в какую-либо перспективу выхода из кризиса. Власть большевиков и галерея их образов, представленных в дневниковых записях, дают основания говорить о глубочайшей личной драме, пережитой этими и многими другими представителями научной интеллигенции, потерявшими всякую уверенность в возвращении страны в лоно цивилизованного развития.

Для С. Б. Веселовского уже февральские события 1917 г. стали основанием говорить о конце России. Он вспоминал свои разговоры с В. О. Ключевским и А. И. Яковлевым в 1905–1906 гг., в которых уже тогда определил современное им Российское государство как «историческое недоразумение», не имевшее перспектив развития. Февральская революция также воспринималась им с иронией и сарказмом: он отказывался называть ее даже политическим переворотом, полагая, что она является выражением «революционного мессианизма», «маниловщины», распада и разложения государственно-социальной основы России. Ее инициаторы предстают у него в образе бывших «рабов», охваченных «припадком буйного помешательства». Как и Ю. В. Готье, рисовавший проявления в русской революции стереотипов поведения «народа идиотов», «варваров», «дикарей» и т. п., С. Б. Веселовский глубоко разочарован национальным проявлением революционного порыва. С горечью и злостью в мае 1917 г. он назовет

---

*Андреева Т. А.* Ю. В. Готье о судьбе России в контексте Октябрьской революции: дневниковые откровения // Интеллигенция России и Запада в XX–XXI вв. С. 59–61.

<sup>5</sup> Из старых тетрадей. Ст. Б. Веселовский. Страницы из дневников 1917–1923. В. Ст. Веселовский. Встречи с И. А. Буниним. Итоги революции и гражданской войны. М., 2004. С. 24.

<sup>6</sup> *Готье Ю. В.* Мои заметки. М., 1997. С. 13.

<sup>7</sup> Из старых тетрадей. С. 29.

нацию и государство «навозом для культурь»<sup>8</sup>. В марте 1918 г. С. Б. Веселовский мрачно констатировал полную деградацию национального чувства всех слоев народа, содействовавшего развалу страны и забывшего свою историю: «Труд и кровь десятков поколений пущены на ветер, разграблены и отданы немцам»<sup>9</sup>.

Оба историка видели основную причину революций начала XX века в «столетнем растлении старого режима». В результате «старая, ставшая всем ненавистной, власть слетела как призрак»<sup>10</sup>. В 1919 г. С. Б. Веселовский, еще раз возвращаясь к причинам «всех гнусностей и безобразий» русской революции, на первое место поставил «невежество» народа, подчеркнув, что виновным в этом надо считать «старый строй, который умышленно держал народ во тьме»<sup>11</sup>.

Ю. В. Готье и С. Б. Веселовский не раз думали об эмиграции, но остались в России. Некоторые нюансы в их отношении к народной среде и раздумьях в этой связи об отъезде из России, определенным образом различают этих историков. Ю. В. Готье более категоричен и непримирим к «дикой» народной толпе, его желание эмигрировать не осуществилось, вероятнее всего, по семейным и материальным обстоятельствам. С. Б. Веселовский в большей мере был склонен подвергать анализу состояние народной массы, перспективы ее «оздоровления», с чем он соотносил свои планы выезда за границу. В марте 1919 г. он мучает себя попыткой определить возможности «реабилитации народа» под водительством каких-либо «руководителей». Историк не смог найти ответов на поставленные им самим вопросы. Но, характерно, что при положительном ответе на них им закладывалось решение о «личном примирении с народом», возможности жить среди народа и заниматься прежней научной работой<sup>12</sup>. В отличие от Ю. В. Готье, ему, вероятно в условиях разрухи, не удавалось находить в ней «отраду» и душевное отдохновение. Возобновление научной деятельности для него было немыслимо при сохранении ситуации культурной ката-

---

<sup>8</sup> Там же. С. 20, 22-23, 24.

<sup>9</sup> Из старых тетрадей. С. 30

<sup>10</sup> Готье Ю. В. Указ. соч. С. 13; Из старых тетрадей. С. 20.

<sup>11</sup> Веселовский С. Б. Дневники 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. №8 (2000). С. 92.

<sup>12</sup> Там же. С. 98.

строфы. Эмиграция также не рассматривалась им как оптимальное средство решения жизненных проблем: «добровольное изгнание» расценивалось не иначе как осуждение себя на «пожизненное одиночество»<sup>13</sup>. Дилемма оказалась не разрешенной. Впоследствии и тот, и другой вынуждены будут адаптироваться к условиям жизни и деятельности в советской реальности.

Группа петербургских историков отличалась более сдержанным настроением и стремлением вписаться в новую атмосферу российской жизни, приняв основные условия, предъявляемые советской властью к науке и ученым. Не случайно Ю. В. Готье в своем дневнике (декабрь 1918 г.) зафиксировал после одной из встреч с петербуржцами А. Е. Пресняковым и М. А. Полиевктовым «разницу в психологии Петербурга и Москвы»: «Они легче приспосаблиются к РСФСР и оптимистичнее смотрят на настоящее, чем мы...», — резюмировал москвич. Вопрос о причинах «приспособляемости» петербуржцев волновал Ю. В. Готье не раз. В 1918 г. их позицию московский историк пытался объяснить «не то наследием Питерской бюрократичности, не то каким-то налетом эсэровщины, уживающейся с тем же бюрократическим духом бывшей столицы»<sup>14</sup>. В 1920 г. Ю. В. Готье, побывав в апреле-мае в Петрограде<sup>15</sup>, вновь отмечает, что историки здесь «живут тверже и бодрее, чем наши москвичи; у них нет маразма, который овладел почти всеми нами»<sup>16</sup>. После очередного приезда в «северную Пальмиру» в 1921 г., Ю. В. Готье отметил: «Настроение людей, которых я видел, более деловое и спокойное; дышат легче, работают больше и лучше, чем мы»<sup>17</sup>. Летом 1922 года он еще раз подтвердил свои наблюдения в письме И. Ф. Рыбакову: «В Петрограде во многих отношениях даже лучше, чем в Москве. И научная жизнь там течет, вдали от столичных бурь нормальнее, а издавать что-либо возможно только в Петрограде. В последнее время часто бываю там, и там мне очень нравится»<sup>18</sup>.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Готье Ю. В. Указ. соч. С. 202-203.

<sup>15</sup> См. Там же. С. 404-408.

<sup>16</sup> Там же. С. 406.

<sup>17</sup> Там же. С. 464.

<sup>18</sup> Письмо Ю. В. Готье к И. Ф. Рыбакову. 28 июня 1922 г. / НИОР РГБ. Ф. 714. К. 3. Ед. хр. 4. Л. 1об.

Причины различающихся ситуаций автор «Моих заметок» видел в многочисленных выгодах удаленности бывшей столицы от советской власти: большевики меньше «теревбили» петербургских историков. Этим же он объяснял и их возможность печататься, что было «немыслимо» в Москве, и лучшее обеспечение петербуржцев продовольственными пайками, а также общее состояние бывшей столицы, сохранившей наиболее цивилизованный облик из всех русских городов. Он же заметил, что поскольку Петроград оставался большим культурным центром, постольку «большевики не могут обращаться с петроградской буржуазной интеллигенцией так, как они это делают в провинции»<sup>19</sup>. Под провинцией он, вероятно, имел в виду и Москву, а под «обращением с буржуазной интеллигенцией» — серию арестов историков, ставших отдаленной прелюдией Академического дела. Наиболее «крупный улов» ученых (определение Ю. В. Готье) чекистам удалось взять в сентябре 1919<sup>20</sup>. Этот же случай — арест «высококультурной компании» в доме Д. М. Петрушевского и ее пребывание в Бутырской тюрьме — подробно описал Всеволод Веселовский, отец которого (Степан Борисович) пришел в дом приятеля с нотами, чтобы поиграть на рояле, но оказался в компании арестованных<sup>21</sup>.

Ощущение некоторых различий в характере атмосферы жизни и творчества ученых Москвы и Петербурга фиксировалось и А. Е. Пресняковым. Во время поездки в Москву А. Е. Пресняков в июле 1918 г., как бы вступая в полемику с Ю. В. Готье, выражал противоположное впечатление, полагая, что «Москва менее подавлена, меньше выбилась из колеи, чем Петроград». Но он одновременно признавал, что «в прежние дни она больше натерпелась», и потому для нее характерна «неукротимая ненависть к большевикам»<sup>22</sup>.

Вероятно, замеченные Ю. В. Готье особенности жизни в Петрограде, несколько более спокойное отношение петербургских историков к происходящему, могут некоторым образом объяснить затронутую ситуацию. Но нельзя не заметить при этом, что именно

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> См.: Готье Ю. В. Указ. соч. С. 308-309.

<sup>21</sup> Из старых тетрадей. С. 60-62.

<sup>22</sup> Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. 1889–1927. СПб., 2005. С.795,798.

петербургские историки, по иронии судьбы, окажутся главными фигурантами Академического дела.

Тень тревоги относительно судьбы России и российской науки просматривается и у С. Ф. Платонова, что особенно заметно, начиная с 1916 г, времени его выхода в отставку. В декабре этого года Платонов подчеркивал ценность личной свободы, поскольку наступили времена с такой туманной перспективой, что «не знаешь, чего надобно желать и к чему стремиться». В подобной ситуации он предпочитал ничем не быть связанным<sup>23</sup>. С декабря 1917 г. в его переписке, сохранявшей всегда деловой стиль и, преимущественно, оптимистическую окраску, тоскливые нотки иных ощущений усиливаются: «Времена теперь сложные, ...жить становится так тяжело, что я перестаю быть хозяином своего настроения, ...утешаемся старым словом, что “человек без смерти не живет”»<sup>24</sup>.

В основной части переписки С. Ф. Платонов, как правило, соблюдал осторожность, не высказывая открытого недовольства революционной деятельностью большевиков, хотя в беседах с друзьями и даже на допросах, признавался в неприятии марксистской доктрины, подчеркивая призрачность идеи социализма<sup>25</sup>.

Для понимания его позиции нельзя не учитывать его дореволюционных политических убеждений монархического характера и воспитанную привычку уважать власть. В то же время исследователями жизни и творчества Платонова отмечается примечательное свидетельство П. Б. Струве о пессимистических настроениях историка еще в 1913 году. В частности, П. Б. Струве констатировал «фаталистический пессимизм» «правого» Платонова. Имея в виду «бессмысленно-роковую» фигуру Распутина, тот оценивал политическую ситуацию в России как кризисную и задавался риторическим вопросом «куда идет Россия»<sup>26</sup>. Как и Февральская, так и Октябрьская революция воспринимались им еще в 1919 г. как «крушение России» и «великорусской национальности»<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> См.: Академик С. Ф. Платонов. Переписка с историками: в двух томах. Т. 1. Письма С. Ф. Платонова. 1883–1930. М., 2003. С. 223–224.

<sup>24</sup> См.: Там же. С. 231–232.

<sup>25</sup> См.: Брачев В. С. Указ. соч. С. 70–79 и др.

<sup>26</sup> См.: Шмидт С. О. Сергей Федорович Платонов и «Дело Платонова» // Советская историография. М., 1996. С. 216.

<sup>27</sup> Цит.: Брачев В. С. Указ. соч. С. 43.

Большевистскую революцию С. Ф. Платонов представлял как новое Смутное время, трагизм которого состоял в отсутствии сопротивления ей со стороны народа. Намекая на события XVII в., он противопоставлял им современную драму, в основе которой лежала потеря национальных идеалов («святынь») и выражал уверенность, что повторения «спасения» России в соответствии с историческим опытом, не произойдет<sup>28</sup>. Подобные реминисценции характерны и для С. Б. Веселовского. Негативно реагируя на подписание Брест-Литовского договора, он отмечал, что спасение Московского государства от интервенции в XVII в. произошло в силу «сильного национального и религиозного движения», которое теперь подавлено разрухой и неверием в Россию<sup>29</sup>.

В своих показаниях во время допросов, не раз уже цитированных историографами, С. Ф. Платонов пытался раскрыть эволюцию своих политических настроений. Он подчеркивал (12-14 апреля 1930 г.), что его монархические взгляды под воздействием событий 1905 г. и «безобразий», связанных с приближением ко двору таких личностей как Гермоген и Распутин, трансформировались в направлении идеи конституционно-демократического республиканского строя<sup>30</sup>. В упомянутых показаниях С. Ф. Платонов, возвращаясь мыслями к 1918 г., утверждал: «Как бы ни смотрел я на ту или иную сторону деятельности советского правительства, я, приняв его, начал работать, или “служить” при нем, с весны 1918 г.»<sup>31</sup>. Отчасти это признание отражает и объясняет стратегию поведения Платонова. Его эволюция от критического восприятия революционного режима к сотрудничеству с большевиками<sup>32</sup> основывалась на убеждении в необходимости «твердой власти», и, одновременно, подчинении своих настроений историческим задачам времени. Поэтому при аресте он подчеркивал свою аполитичность как принципиальную позицию.

Е. В. Тарле, в отличие от многих своих коллег революционные события февраля 1917 г. встретил восторженно. Сотрудничая в ряде

<sup>28</sup> Фрагменты из текстов соответствующих писем С. Ф. Платонова к И. А. Иванову и Е. В. Тарле см.: *Брачев В. С.* Указ. соч. С. 44-45.

<sup>29</sup> См.: Из старых тетрадей. С. 29.

<sup>30</sup> См.: Академическое дело. 1923–1931. Вып. 1. Дело по обвинению С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 59-60. См. также С. 89, 197-201 и др.

<sup>31</sup> Академическое дело. С. 61.

<sup>32</sup> См. *Брачев В. С.* Указ. соч. С. 45.

периодических изданий, Е. В. Тарле много сам пишет о революционных событиях в стране (только в одной газете «День» после Февральской революции он опубликовал более пятидесяти статей<sup>33</sup>) и активно привлекает к публицистической деятельности других, придавая большое значение созданию истории русской революции. Характерно его письмо от 7 сентября 1917 г. А. К. Дживелегову, в котором он просил поделиться впечатлениями «об армянских революционерах времен Николая II» для журнала «Былое» и предлагал присылать все, что «подвернется» о революции 1917 г., поскольку все это «очень нужно». С аналогичной просьбой он обращался к Г. В. Плеханову в надежде получить от него статью по заданной ему теме: «Судьбы русской социал-демократии от 1905 до 1917 г.»<sup>34</sup>.

Негативное отношение Е. В. Тарле к большевикам явно просматривается в его статьях, написанных после их июльского выступления. 11 июля 1917 г., то есть, примерно в то же время, когда Готье начал писать свой дневник, Тарле предупреждал, что в новой ситуации гибнут «надежды на демократическое обновление России». В декабре 1917 г. он уже предрекал России «долгую полярную ночь»<sup>35</sup>. Революционный пафос Тарле, по мнению одного из исследователей биографии историка, сочетался с принципиально отрицательным отношением к террору. Это выразилось в издании двухтомного документального сборника «Революционный трибунал в эпоху Великой Французской революции» (1918–1919 гг.)<sup>36</sup>. Опубликованные документы, профессиональный подбор которых не мог не вызвать аналогий террора французской революции с переживаемыми событиями, можно рассматривать как выражение протеста историка против революционного насилия русской революции. Однако перемена его политических настроений произошла довольно быстро: уже к 1923 г. он, «убедившись в прочности советской власти», предпочел сотрудничество с ней, что открыло ему широкие возможности для научных командировок за границу и активной исследовательской

<sup>33</sup> См.: Каганович Б. С. Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995. С. 23.

<sup>34</sup> Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. С. 207.

<sup>35</sup> Цит.: Каганович Б. С. Указ. соч. С. 24, 25.

<sup>36</sup> См.: Чапкевич Е. И. Пока из рук не выпало перо... Жизнь и деятельность академика Евгения Викторовича Тарле. Орел, 1994. С. 68.



работы<sup>37</sup>. Дальнейшая судьба (в рамках Академического дела) и облик С. Ф. Платонова и Е. В. Тарле, отношения которых в 1920-е гг. приняли характер дружеских, выглядят как выражение двух противоположных ипостасей их личностей<sup>38</sup>.

Н. И. Кареев выразил свое отношение к революции в воспоминаниях, создаваемых с перерывами в 1921–1928 гг.<sup>39</sup>. Недолгое и поверхностное участие в кадетском политическом движении не позволили сформировать в системе его взглядов выраженной оппозиции к большевизму. Все его рассуждения о революции 1917 г. (он особо не подчеркивал различий Февральской и Октябрьской революций, но имел в виду, прежде всего вторую из них) являются результатом его социологических размышлений в попытке уяснить соотношение в истории закономерного и случайного («неожиданного»). Будучи уже в преклонном возрасте и более или менее благополучно пережив годы разрухи, Н. И. Кареев выбрал позицию, свойственную «кабинетному» ученому, наблюдавшему за происходившими переменами жизни несколько со стороны. Как и многие современники, он связывал причины российской революции с тотальным кризисом, развернувшимся в России в годы Первой мировой войны. Но в долговременной ретроспективе революция в его восприятии явилась «законосообразным» следствием «длительной западноевропейской революции». Отдаленные истоки революционных рефлексий в России Н. И. Кареев видел уже в декабризме. Очевидно, себя он относил к категории тех, кто, по его словам, с 1860–70-х гг. жил в ожидании революции, хотя для него, как и многих современников, она явилась «великою неожиданностью», уподобленной им «неизвестной дотоле комете». Подчеркивая роль случайного в истории, он не исключал альтернативных вариантов ее сценария: не будь целого ряда отягчающих обстоятельств (военные неудачи, характер окружения Николая II), революция, считал он, могла пойти другим путем — «в более или менее определенном эволюционном направлении». Не склонный проводить прямые параллели между революциями в России и во Франции, он допускал их сопоставление только с позиций аналогии.

<sup>37</sup> См.: *Каганович Б. С.* Указ. соч. С. 28, 29 и последующие.

<sup>38</sup> См. подробнее: *Брачев В. С.* Указ. соч. С. 252–280.

<sup>39</sup> См.: *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое / Подготовка текста, вступительная статья, комментарии В. П. Золотарева. Л., 1990.

Его ощущения от «пережитого» окрашены философским подходом: по свидетельству внука историка — О. Г. Верейского, его дед принял революцию как факт истории, не выражая в категоричной форме ни протеста, ни восторга<sup>40</sup>. Сам Кареев отмечал некоторые благотворные последствия революции, полагая, что она «открывала перед университетом новые перспективы...»<sup>41</sup>.

### **Образ Ленина в мемуарах и переписке историков**

Особый сюжет писем, воспоминаний и дневниковых записей связан с отношением историков к главной фигуре революционных событий Октября 1917 г. — В. И. Ленину-Ульянову. Заметим при этом, если для петербургских историков характерно, либо полное отсутствие упоминаний имени Ленина (например, в письмах С. Ф. Платонова, мемуарах Н. И. Кареева), либо однократные обращения к его фигуре (опубликованные письма А. Е. Преснякова, Е. В. Тарле), то иная картина — в мемуаристике историков-москвичей. Ульянов-Ленин в текстах Ю. В. Готье и С. Б. Веселовского предстает в качестве квинтэссенции большевизма. Ю. В. Готье еще летом 1917 г. в свойственной ему экспрессивной манере характеризовал большевиков и их вождей, в том числе Ленина, как «смесь глупости, некультурного озорства, беспринципности, хулиганства...»<sup>42</sup>. В 1918 г. Ленин в восприятии историка, выглядит как демагог и «царь» «банды дикарей», а Н. К. Крупская — «без 5 минут русская императрица»<sup>43</sup>. Ю. В. Готье не интересуют подробности его биографии, вождь не удостаивается в его системе ценностей какого-либо научного анализа как феномен революции.

В семейной хронике С. Б. и В. С. Веселовских портрет Ленина занял особое место благодаря, главным образом, запискам сына историка — Всеволода (1900–1977), взгляды и настроения которого были близки отцовским. Его специальный мемуарный очерк, посвященный Ленину, был написан в связи со смертью вождя. Основным информатором для автора (как, и для ряда других историков) выступал историк А. И. Яковлев, хорошо знавший семью Ульяновых. Пы-

<sup>40</sup> См.: Золотарев В. П. Историк Николай Иванович Кареев и его воспоминания «Прожитое и пережитое» // Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. С. 28.

<sup>41</sup> См.: Там же. С. 271, 276, 289.

<sup>42</sup> Готье Ю. В. Указ соч. С. 13.

<sup>43</sup> Там же С. 120-121, 264.

таясь определить наиболее характерные черты облика Ленина, В. С. Веселовский за внешне скромным бытом вождя просматривал его «грубый аморализм», «беспечность и легкомыслие», «самоуверенность до бесстыдства», «необычайную нетерпимость к инакомыслию: кто не с нами, тот против нас», враждебность к интеллигенции, утилитарный подход к науке и искусству и пр. Содержание его публицистического наследия сын историка воспринимал как проявление «графомании и навязчивых идей» и расценивал как «продукт необузданной фантазии», хотя не лишенный «занимательности и оригинальности». По мысли автора черты его личности характеризуют в нем диктатора. Его успех в среде «темного народа» объяснялся «потаканием» его «низменным стремлениям». В конечном итоге Ленин глазами современников, переживших весь ужас революционного насилия, предстает как политик-интриган, забывший о программе культурного преобразования страны и сосредоточивший свое внимание на борьбе за власть, а также как политик-неудачник, основные идеи которого остались не реализованными<sup>44</sup>.

В записках петербуржцев сохранившиеся свидетельства о Ленине носят иной характер. А. Е. Пресняков, опираясь на рассказы А. И. Яковлева и, вероятно, беседы с московскими историками о «переживаемом моменте», в одном из писем к жене проявлял неподдельный интерес к Ленину как явлению революции. Он пытался разобраться в некоторых подробностях его биографии с целью понять его движение к политическому поприщу вождя революции. У Преснякова нет образных и экспрессивных характеристик Ленина как персоны нон грата. Вместе с тем, и он, подчеркивая, что созидательное начало было чуждо Ленину-политику, отличительную черту этой исторической фигуры связывает исключительно с разрушительной энергией<sup>45</sup>.

Упоминание имени Ленина со стороны Е. В. Тарле в опубликованной части его переписки относится к гораздо более позднему периоду — 1937 году. Давно уже приняв условия советского режима, благополучно пережив последствия Академического дела, историк в переписке с А. В. Шестаковым предлагает снабдить энциклопедические статьи (для словаря «Гранат») о трудах буржуазных французских историков выдержками из работ В. И. Ленина, под-

<sup>44</sup> См.: Из старых тетрадей. С. 69-75.

<sup>45</sup> Александр Евгеньевич Пресняков. Письма и дневники. С. 798.

черкивая его «исключительную роль», для пролетариата «всего света»<sup>46</sup>. Естественно, что Тарле в данном случае соблюдал правила игры, проявляя политическую корректность и демонстрируя свою лояльность политическому режиму.

Отношение Н. И. Кареева к В. И. Ленину, явно не просматривающееся в его мемуарах, уточняется его биографом — В. П. Золотаревым через обращение к письму-воспоминанию (1982 г.) внука историка<sup>47</sup>. Последний, подчеркивая «советскую ориентацию» своего отца — художника Г. С. Верейского, свидетельствовал об атмосфере уважения в семье Кареевых-Верейских к имени Ленина. По его мнению, Н. И. Кареев демонстрировал свою позицию к вождю революции «как ученый к ученому», что, вероятно, освобождало его от политических оценок этой личности.

### **Социальная и бытовая повседневность жизни историков**

Изменившиеся условия жизни сказались на бытовой повседневности академической среды, актуализировав для ее представителей вопросы выживания и борьбы за существование, к решению которых многие оказались не готовы. По дневникам Веселовского 1919 г. при описании внешнего облика историков рисуются многочисленные картины нищеты и отчаяния: «Все ходят и держат себя, как приговоренные к медленной, но неминуемой смерти. Некоторые поддерживают еще с трудом свой туалет, но другие уже не скрывают своей нужды и полного упадка духа»<sup>48</sup>.

Россия представлялась столичным историкам выжженной «обширной пустыней», в которой остались только «два города — Москва и Петроград» — два «пуха русской земли», где еще теплилась жизнь<sup>49</sup>. О жизни в провинции, в том числе научного сообщества, у них имелись самые смутные представления. Но некоторые историки Москвы и Петрограда годы смуты пережили вдали от столиц. Например, Б. Д. Греков и Г. В. Вернадский оказались в силу разных обстоятельств в Пермском филиале Петроградского университета, где вели преподавательскую работу.

<sup>46</sup> Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981. С. 235.

<sup>47</sup> Золотарев В. П. Указ. соч. С. 28.

<sup>48</sup> С. Б. Веселовский. Указ. соч. С. 87.

<sup>49</sup> Письмо Ю. В. Готье к И.Ф. Рыбакову. 28 июня 1922 г. / НИОР РГБ. Ф. 714. К. 3. Ед. хр. 4. Лл. 1, 1об.

Воспоминания Г. В. Вернадского рисуют уральский административный центр как город довольно высокой культуры, что у столичных жителей вызвало даже некоторое удивление. Вернадский здесь нашел научно-интеллектуальную среду, некоторые представители которой были выходцами из Петербурга. Атмосфера провинциального города вполне содействовала его погружению в исследовательскую работу, а жена получила возможность заниматься вокалом.

Симптоматично, что «русская смута» пришла в провинцию с опозданием. 1917 год прошел там довольно спокойно и бесконфликтно. Чета Вернадских оказалась в благоприятной ситуации психологической передышки и даже ощутила оживление религиозных чувств. До захвата в Перми власти большевиками, Вернадский констатировал в ней «изобилие продуктов»<sup>50</sup>. Б. Д. Греков также писал: «Что тут действительно хорошо — это еда. Недорого и много (т. е. сравнительно недорого: за 1 р. 20 к. обед из 4-х блюд, зато фунт мяса 2 рубля, четверть молока 1 р. 50 к.)... Мучительно встает вопрос о дальнейшей жизни: оставаться ли здесь или возвращаться в Петроград: там, правда, очень тяжело...»<sup>51</sup>. Ситуация изменилась с приходом большевиков: «Жизнь сразу резко переменялась. Продукты начали исчезать с рынка. Чека начали развивать свою деятельность»<sup>52</sup>. Последнее обстоятельство стало основной причиной предупрежденных о возможном аресте Вернадских сначала укрываться от глаз чекистов в глухой деревне, а потом, в июле 1918 г. (как они считали — на время) спешно уехать в Москву<sup>53</sup>. Гораздо более напряженная политическая атмосфера столицы и болезнь отца вызвали необходимость их поездки в Киев, что впоследствии определило движение в Крым, а потом — за границу. Схожий сценарий отъезда из Перми просматривается в жизненной коллизии Б. Д. Грекова, покинувшего город «в одночасье, ночью, без вещей, в чужом тулупе»<sup>54</sup>, видимо, сразу после первых признаков активизи-

<sup>50</sup> См.: *Вернадский Г. В.* Из воспоминаний // Вопросы истории. №1 (1995). С. 143, 144.

<sup>51</sup> Цит.: *Горская Н. А.* Борис Дмитриевич Греков // Портреты историков: Время и судьбы. В 2-х т. Том 1. Отечественная история. Москва – Иерусалим, 2000. С. 215-216.

<sup>52</sup> *Вернадский Г. В.* Из воспоминаний. С. 143.

<sup>53</sup> Там же. С. 145-146.

<sup>54</sup> *Горская Н. А.* Борис Дмитриевич Греков // Историческая наука России в XX веке. М., 1997. С. 335.

зации местной ЧК. Через некоторое время оба историка нашли пристанище в Симферополе — в Таврическом университете<sup>55</sup>.

Другие представители исторического сообщества осознанно выезжали из столиц в провинцию, где надеялись пережить голодные и беспокойные времена. Такое решение приняли представители московского исторического сообщества — А. И. Яковлев, уехавший на свою родину в Симбирск и Д. Н. Егоров, отправившийся в Екатеринбург. Однако бегство в провинцию не дало им бытового и снабженческого облегчения. Их возвращение в Москву в 1921 году описал в своем дневнике Ю. В. Готье: «На этих днях приехали А. И. Яковлев из Симбирска и Д. Н. Егоров из Екатеринбурга. Суммируя их рассказы, можно видеть, что провинция сера до невероятия, что господство принадлежит самым темным и диким элементам, что то, что осталось из культурного населения, или прячется, или нравственно подавлено. В Екатеринбурге настолько, видимо, тяжело, что Егоров предупреждает — не ехать туда, тогда, как ранее был усиленным пропагандистом поездки»<sup>56</sup>.

Подобные поездки, кроме их прямого назначения, являлись культурным фоном революции, стимулирующим рефлексии историков, они становились источником новостей, слухов и собственных наблюдений, привозимых в столицу. Зачастую, именно они, являясь единственным способом получения информации о ситуации в провинции и наоборот, активно обсуждались и находили отражение в мемуарном наследии многих историков. Ведь относительно ситуации в стране и мире в целом историки находились в состоянии информационного голода. «Не знаешь, что происходит на Западе, на юге, на севере, в Сибири, даже в пределах советской республики...»<sup>57</sup>, — сетовал Веселовский.

По воспоминаниям Ю. В. Готье, именно Д. Н. Егоров, вернувшись из Екатеринбурга, поведал среде историков подробности о гибели царской семьи, которые были официально подтверждены только через десятилетия. «Все были расстреляны или, точнее, за-

<sup>55</sup> См., например: *Валк С. Н.* Б. Д. Греков как деятель археографии // Исследования по истории и историографии феодализма. К 100-летию со дня рождения академика Б. Д. Грекова. М., 1982. С. 18.

<sup>56</sup> *Готье Ю. В.* Указ. соч. С. 456.

<sup>57</sup> Из старых тетрадей. М., 2004. С. 37.

стрелены по приговору какого-то трибунала; но убиты без издевательств. Тела увезены и сожжены. Вместе с ними убиты слуги, доктор Боткин и Татищев. Самой энергичной из семьи была Татьяна Николаевна, делавшая активные попытки освободиться и освободить семью», — фиксировал новость Ю. В. Готье. Его собственная оценка этих событий отражает негативное отношение историка, как к революционному террору, так и к облику последней царской четы: «Что за прекрасная страница великой бескровной! Как ужасно вместе с тем преступление Николая II и Александры Федоровны — истинных убийц всей своей семьи, которую они нравственно искалечили и потом погубили»<sup>58</sup>.

Происходили и казусные моменты, вызванные искажениями в передаче информации. Известно, что на заседании Таврической ученой архивной комиссии 1 ноября 1919 г. была прочитана серия некрологов, посвященных памяти якобы умершего С. Ф. Платонова. Историк не без иронии писал Н. И. Привалову: «Умирать я не думал, даже не хворал, но сам имею три своих некролога»<sup>59</sup>. Примечательно, что члены комиссии безоговорочно поверили слухам и даже не пытались искать подтверждения сомнительно полученной информации. Учитывая то количество «потерь», которые «понесла наша наука» и о которых «страшно и подумать»<sup>60</sup>, новость о кончине С. Ф. Платонова была воспринята как еще один факт в череде привычных подобного рода известий.

В сознании историков заботы, связанные с физическим выживанием, перемешивались с размышлениями по поводу дальнейшей профессиональной деятельности. В одном из писем М. М. Богословский дает советы о месте дальнейшей научной работы коллеге по историческому цеху И. Ф. Рыбакову. И. Ф. Рыбаков рассматривал три варианта: Харьков, где располагался «старый, имеющий традиции университет», Нежин, где давалась «возможность продолжительных командировок в Москву» для работы в архивах, и провинциальная Полтава, которая рассматривалась на равных с более

---

<sup>58</sup> Там же.

<sup>59</sup> См.: Академик С. Ф. Платонов. Переписка с историками. С. 241-242, 359.

<sup>60</sup> Там же. С. 359.

привлекательными в научном плане центрами из-за того, что могла обеспечить «на голодное время в продовольственном смысле»<sup>61</sup>.

В повседневность научной жизни ученых, кроме творческих усилий, которые были характерны для большинства историков старшей школы, вошли заботы об арестованных и безвременно ушедших коллегах. С. Ф. Платонов, в течение всех 1920-х годов, за большой чередой дел и жизненных невзгод, хлопотал о судьбах людей близкого ему круга, пытаясь облегчить участь арестованных (Н. В. Измайлова, А. И. Заозерского), либо содействовать их карьере (например, А. И. Андреева). Как оказалось, многие его усилия оказались напрасными. Сам он за несколько месяцев до ареста, ощутив состояние «душевного отчаяния», признавался Д. Н. Егорову о желании отойти от дел и «устроить жизнь по-стариковски»<sup>62</sup>. В 1929 г. он в память о своих друзьях успел написать два некролога — А. Е. Преснякову и М. М. Богословскому. Характерно, что в день ареста (12 января 1930 г.) он еще обращался к президенту АН В. Л. Комарову в попытках выяснить судьбу написанного им некролога М. М. Богословскому, так и не опубликованного<sup>63</sup>.

В профессиональной сфере жизни, довольно четко прослеживается поведенческая мотивация сохранения дореволюционных традиций и ритуалов официального научного и неформального общения. Общее неверие в будущее и даже страх перед ним объединили ученую среду, старавшуюся всеми силами сохранить традиции «старой» науки. Очевидное деление в сознании ученых научного сообщества на «своих» и «чужих» привело к активизации их рефлексии по поводу своего места в нем, усилились попытки укрепить ценности профессорской субкультуры. Дневники и письма историков зафиксировали их встречи, гораздо более частые, чем в дореволюционную пору, интенсивное общение, темами которого были не только политические реалии, но и судьбы научного мира, а, кроме того, попытки возродить и продолжить традиции, отражающие этос «старой» науки. Диспут В. И. Пичеты, обеда в кругу историков, университетские советы, встречи со старыми профессорами, заседания Общества истории и древностей Российских, соз-

<sup>61</sup> НИОР РГБ. Ф. 714. К. 3. Ед. хр. 3. Лл. 3об – 4об.

<sup>62</sup> Там же. С. 275.

<sup>63</sup> Академик С. Ф. Платонов. С. 277-278, 375.



дание обществ и кружков молодых историков, Татьянин день — вот главные ориентиры в жизни научного сообщества, сопрягавшего себя с прежней научной традицией. Сознательное окружение себя антуражем прошлой жизни стало для них способом адаптации и выживания в новых условиях. Постоянная оглядка назад может быть трактовалась как поиск определенной жизненной константы, опора на которую позволяла историкам «старой школы» не потерять ценностные установки, приобретенные еще на формирующем этапе их творчества, и помогала удержаться на плаву в столь стремительно меняющейся действительности.

**Научное настоящее и будущее:  
негативные оценки и призрачные надежды**

Ясно, что для историков, посвятивших жизнь реконструкции русского прошлого, выводы и наблюдения по поводу русской революции могли стать приговором не только истории, но и исторической науке. Не случайно у Ю. В. Готье вырвалось: «Вынута душа и сердце, разбиты все идеалы. Будущего России нет...»<sup>64</sup>. Для некоторых историков годы «смуты» отмечены профессиональным анабиозом, минимизацией или полным отсутствием творческой деятельности. «Я совершенно не могу работать научно, — писал в своем дневнике С. Б. Веселовский, — Время проходит изо дня в день бессмысленно и бесплодно. Все мысли и силы сосредоточены на том, чтобы быть сытым, не заболеть и поддержать свою семью»<sup>65</sup>. Ему вторил в дневнике Ю. В. Готье: «Воздержание от дела остается главным занятием русского человека»<sup>66</sup>. Подобные настроения встречаем и в его переписке, где ученый сетует, что жизнь превратилась в борьбу «из-за куска хлеба, а ученая деятельность сведена до минимума. Это теперь роскошь, за которую все же цепляешься всеми силами. Вместо университетского преподавания — общий стихийный кабак»<sup>67</sup>.

<sup>64</sup> Готье Ю. В. Указ соч. С. 13.

<sup>65</sup> С. Б. Веселовский. Дневники 1915–1923, 1944 годов // Вопросы истории. № 8 (2000). С. 96.

<sup>66</sup> Готье Ю. В. Указ. соч. С. 33.

<sup>67</sup> Письма Ю. В. Готье к И. Ф. Рыбакову. 1922 г. / НИОР РГБ. Ф. 714. К. 3. Ед. хр. 4. Лл. 3, 3об.

Именно в этот период большинство историков «старой школы» оказались перед мучительным выбором своего дальнейшего пути. Для большинства из них жизненная альтернатива подразумевала выбор стратегий поведения: эмиграция, жизнь в Советской России вне научной деятельности, возвращение к науке на основе примирения с новой реальностью. Квинтэссенция тягостных размышлений по этому поводу нашла свое отражение в цитированных нами дневниковых записях С. Б. Веселовского<sup>68</sup>.

В ситуации крайнего пессимизма историки, тем не менее, делали попытки продолжать научную работу и проявлять деловую активность. Для Ю. В. Готье научные занятия стали своего рода «наркотическим» средством, позволившим пережить самые тяжелые — первые годы революции. Ему удалось выполнить существенную часть своего научного проекта, разработанного в драматических условиях личной жизни и общего хаоса 1919 года. В этом выразилась стратегия выживания ученого, сумевшего постепенно пережить бытовые тяготы, нравственные и физические испытания, психологический кризис<sup>69</sup>, но, вероятно, сохранившего до конца жизни внутреннее отторжение советского строя<sup>70</sup>. Подобный способ выживания характерен и для других историков. М. М. Богословский признавался в письме А. С. Лаппо-Данилевскому (3 мая 1918 г.), вероятно соглашаясь с ним: «Только в научной работе я нахожу душевное равновесие, и большое счастье, что у нас такая работа есть...»<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup>См. примеч. 13, 14.

<sup>69</sup>См.: Алеврас Н. Н. Ю. В. Готье в 1917–1922 гг.: «научная» стратегия выживания ученого-историка в вихре «русской смуты». С. 57–59.

<sup>70</sup>Не думаем, что Ю. В. Готье можно рассматривать как «перебежчика» в лагерь марксистов, как это делает М. А. Робинсон. (См.: Робинсон М. А. Указ. соч. С. 304). Вероятно, приведенные автором факты (характеристика Ю. В. Готье В. И. Ламанского как идеолога самодержавия и представителя реакционных течений) — типичный случай вынужденного приспособления ученого, пережившего судебный процесс и ссылку. Его дневниковые откровения дают основания усомниться в искренности его «марксистских» настроений, хотя характер упомянутой автором статьи Готье «Славяноведение в СССР», возможно, позволяет говорить о нравственном надломе людей, прошедших сквозь горнило выпавших на их долю подобных испытаний.

<sup>71</sup>Богословский М. М. Историография, Мемуаристика, Эпистолярная. М., 1987. С. 141.

Имеющийся комплекс опубликованной переписки С. Ф. Платонова свидетельствует, что и его основная энергия в период, последовавший за 1917 годом, была направлена на сохранение научных традиций в России и спасение архивных фондов. Возобновив профессиональную деятельность в 1918 г., он с горестью писал, что сберечь от грабежа национальное богатство архивов и др. коллекций и «сохраниться самим» даже при условии работы на советской службе — «малая надежда». В то же время не без оптимизма и гордости историк резюмировал: «Зато, если что-либо охраню и устрою, можем снискать удивление потомков»<sup>72</sup>.

Московские историки, колоритный портрет которых оставил Ю. В. Готье в своих записках, в революционный период предстают компактной группой ученых, стремившихся всеми силами сохранить традиции своей научной школы. Рефреном через весь дневник проходит имя В. О. Ключевского, ставшего в условиях разрушения старых традиций мемориальной основой прежней научной культуры: «Вечером слушал пробную лекцию А. А. Новосельского... думаю, что этот будет хорошим продолжателем школы Ключевского». В своем дневнике Готье в качестве важных моментов повседневности фиксирует завершение работы над своей лекцией о Ключевском, упоминает чтения в узком кругу коллег воспоминаний Богословского об историке, в связи 10-летним юбилеем со дня кончины учителя, неоднократно вспоминает предсказания историка относительно будущего России<sup>73</sup>.

Из этих совместных обсуждений относительно судьбы исторической науки у учеников Ключевского сложилось четкое представление о значимости его наследия. Примечательно: в 1922 г. М. М. Богословский в письме (от 10 октября) консультировал М. В. Нечкину по поводу перспектив разработки темы о творчестве историка<sup>74</sup>, осуществляя, не думая об этом конечно, великую роль транслятора историографической культуры. В этом малом для того времени факте запечатлен противоречивый, но весьма значимый в российской научной культуре процесс преемственности исторических знаний. В нем выразилась надежда на сохранение лучших научных традиций старой школы русских историков.

<sup>72</sup> Академик С. Ф. Платонов. С. 237.

<sup>73</sup> Готье Ю. В. Указ. соч. С. 144-145, 266, 402, 464 и др.

<sup>74</sup> Богословский М. М. Указ. соч. С. 142.

# ИЗ ИСТОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

---

А. В. СТОГОВА

## ДРУЖЕСКОЕ ПИСЬМО ВО ФРАНЦУЗСКИХ ПИСЬМОВНИКАХ КОНЦА XVI – НАЧАЛА XVIII ВЕКА \*

В последнее время в англо-американской и французской историографии появилось много исследований, посвященных эпистолярному жанру в раннее Новое время. Эта тема начала довольно активно исследоваться приблизительно с 1960-х гг., и с начала 1990-х годов можно отметить новый всплеск интереса к эпистолярной проблематике. В 1990–2000-е гг. вышло значительное число монографий и коллективных работ, в которых рассматриваются особенности письма как литературного жанра, как материального объекта и все, что связано с перепиской как способом социального общения<sup>1</sup>.

Период Возрождения — начала Нового времени не случайно привлекает особое внимание авторов. Именно в это время под влия-

---

\* Исследование проводилось на основе фондов Библиотеки герцога Августа в Вольфенбюттеле (Германия) при финансовой поддержке Общества друзей библиотеки.

<sup>1</sup> В том, что касается французской истории см., например: Art de la lettre, art de la conversation à l'époque classique en France / Sous dir. de B. Bray et Ch. Strozetzki. P., 1995 ; La correspondance : les usages de la lettre au XIXe siècle / Ed. par A. Boureau, R. Chartier, C. Dauphin. P., 1991 ; *Chamayou A.* L'esprit de la lettre au XVIIIe siècle. P., 1999 ; *Diaz B.* L'épistolarité, ou la pensée nomade. P., 2002 ; L'épistolaire au féminin : correspondances de femmes, XVIIIe–XXe siècle / Sous dir. de B. Diaz et J. Siess. Caen, 2006 ; L'épistolarité à travers les siècles : geste de communication et/ou d'écriture / Sous dir. de M. Bossis et Ch. A. Porter. Stuttgart, 1990 ; *Grassi M. C.* L'art de la lettre au temps de « La nouvelle Héloïse » et du romantisme. Genève, 1994 ; *Guedet G.* L'art de la lettre humaniste. P., 2004 ; La lettre au XVIIIe siècle et ses avatars : actes du colloque international tenu au Collège universitaire Glendon, Toronto. Toronto, 1996 ; *Melançon B.* Diderot épistolier : contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle. Montreal, 1996 ; *Vaillancour L.* La lettre familière au XVIe siècle. Rhétorique humaniste de l'épistolaire. P., 2003.

нием гуманистов возрождается интерес к частной переписке. Учитывая также значительные и разноплановые социальные изменения, которые происходят в этот период, и колоссальное развитие системы государственного управления (в т. ч. и в том, что непосредственно касается письма — XVII столетие стало временем появления публичной почты, занимавшейся пересылкой частной корреспонденции), изучение эпистолярного жанра раннего Нового времени является весьма благодатной темой для исследования.

Особенно активно ею занимаются англоязычные авторы, изучающие историю Англии. В более консервативной французской историографии меньше таких работ. Однако в 2007 г. появилось сразу два исследования очень известных специалистов по французскому XVII веку, Бернара Брэя и Роже Дюшена<sup>2</sup>, чья дискуссия о развитии эпистолярного жанра во Франции этого времени, начавшаяся в 1960-е гг., лежала в основе всей современной французской историографии по этой проблематике.

Учитывая такой интерес к эпистолярному жанру, неудивительно, что и письмовники, имеющие к нему прямое отношение, также оказываются предметом исследований. Исследователи могут спорить относительно того, насколько точно они отражали существовавшие эпистолярные законы и, в свою очередь, насколько существенно было их влияние на эпистолярные практики, но все они соглашаются в том, что эта взаимосвязь была очень значимой. Однако этот ракурс исследований, который установился во французской историографии практически с самого начала и превалирует до сих пор, делает письмовник вспомогательным, прикладным источником для изучения эпистолярного жанра и эпистолярных практик. Исследователи используют их тем же образом, что и первые читатели — как пособие. Несмотря на уже сложившуюся обширную историографию эпистолярного прошлого, практически отсутствуют исследования, которые рассматривали бы письмовники как особый жанр литературы, со своими особенностями и со своей эволюцией. За исключением нескольких статей, посвященных, как правило, отдель-

---

<sup>2</sup> Bray B. *Epistoliers de l'âge classique. L'art de correspondance chez Madame de Sévigné et quelques prédécesseurs, contemporains et héritiers*. Tübingen, 2007 ; Duchêne R. *Comme une lettre à la poste. Les progrès de l'écriture personnelle sous Louis XIV*. P., 2007.

ным изданиям<sup>3</sup>, мне удалось обнаружить только два исследования, посвященные письмовникам как особой группе текстов<sup>4</sup>.

В силу невозможности опереться на существующие исследования в этой области, выясняя изменение образа дружбы в письмовниках мне было необходимо держать в уме три основных вещи, которые по большей части его обуславливали. Прежде всего, это изменение представлений о дружбе<sup>5</sup>. Во-вторых, эволюция жанра письмовников. И, наконец, изменения в способах осмысления и репрезентации действительности, сказавшиеся на том порядке, который авторы выбирали для выстраивания образцов и шаблонов писем в единую книгу.

Сочинения XVI столетия имели непосредственное отношение к традициям Средневековья и Возрождения. Прежде всего, они были написаны на латыни и соответственно писались для круга достаточно образованных и, в большей или меньшей степени, интересующихся различными областями гуманитарного знания лиц. Собственно и форма изложения, изобилующая разнообразными терминами из

---

<sup>3</sup> См., например: *Giraud Y. De la lettre à l'entretien : Puget de la Serre et l'art de la conversation // Art de la lettre, art de la conversation à l'époque classique en France. P. 1995. P. 217-229 ; La Charité C. Le stile et maniere de composer, dicter, et escrire toutes sortes d'epistres, ou lettres missives (1553). De la Dispositio tripartite de Pierre Frabri au poulpe épistolaire d'Erasme // Cahiers V. L. Saulnier. 18. L'épistolaire au XVIe siècle. P., 2001. P. 17-32.*

<sup>4</sup> *Bray B. L'art de la lettre amoureuse, des manuels aux romans. P., 1969 ; Daumas M. Manuels épistolaires et identité sociale, XVIe–XVIIe siècle // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1993. V. 40. № 4. P. 529-556.* Это касается только Франции. В англоязычной традиции существует довольно большое количество исследований по истории английских и американских письмовников.

<sup>5</sup> В данной статье этот аспект не рассматривается, поскольку я уже не раз писала на эту тему. См., например: *Стогова А. В. Дружба и друзья в представлениях французов XVII века (по сочинениям Ларошфуко) // Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / Сб. статей под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 2000. С. 192-220; Она же. «Без этого дружба не будет истинной»: споры во Франции XVII века // Диалог со временем. Вып. 3. М., 2000. С. 175-200; Она же. Мадам де Лафайет: женская дружба XVII столетия // Адам & Ева / Сб. статей под ред. Л. П. Репиной. М., 2003. С. 203-221; Она же. Метаморфозы «нежной дружбы»: к вопросу о создании и восприятии романов в 17 веке // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2005. С. 223-262.*

области риторики, подтверждает это предположение. По сути это были трактаты о правилах и законах риторики, которым подчиняется эпистолярный жанр. Далеко не всегда эти рассуждения сопровождались какими бы то ни было примерами.

С середины XVI в. появляются письмовники, написанные на французском языке, примером которых может служить анонимное сочинение «Стиль и манера составлять, диктовать и писать все виды посланий или деловых писем как в ответ, так и иначе», изданное в Лионе в 1553 г.<sup>6</sup> То, что трактат написан не на латыни и снабжен множеством примеров разнообразных писем, свидетельствует о том, что он был составлен в расчете на внимание менее образованных лиц, которые ведут достаточно обширную деловую переписку и потому нуждаются в своде правил по ее оформлению. Исследователи отмечают новаторство этого письмовника, по сравнению с ранее издававшимися пособиями<sup>7</sup>. Это новаторство в гуманистическом духе — автор отходит от традиционного для средневековья акцента на композиции письма в пользу более свободного понятия «стиль» Эразма Роттердамского. Представленные там образцы писем уже не являлись шаблонами, в которые нужно подставлять имена и обстоятельства (раньше в текстах таких шаблонов специально обозначались места, куда нужно вписывать соответствующие слова), а примерами стиля, то есть того, как можно было бы написать то или иное письмо. Именно эта модель письмовника утвердится в XVII веке<sup>8</sup>. Тем не ме-

---

<sup>6</sup> [Dolet E.] *Le stile et maniere de composer, dicter, et escriver toute sorte d'epistres, ou lettres missiues, tant par response que autrement*. Lyon: Par Jean Temporal, 1553. Лион, один из основных издательских центров Франции, становится, особенно на первых порах, основным местом издания такого рода литературы. В каталоге библиотеки Вольфенбюттеля имеющееся там издание приписывается Этьену Доле. Традиционно во французской историографии его автором считается Пьер Дюран, однако современные исследователи предпочитают вовсе не касаться проблемы авторства.

<sup>7</sup> См. об этом, например: *La Charité C.* Op. cit. P. 17-32.

<sup>8</sup> О том, как читались эти тексты можно судить по пометам оставленным на экземпляре «Французского секретаря» 1607 г., о котором пойдет речь ниже, хранящемся в библиотеке Герцога Августа в Вольфенбюттеле (138.12 Rhet). До того, как попасть в библиотечные фонды этот том принадлежал нескольким людям. Об этом свидетельствуют надписи, сделанные на страницах. Дарственная надпись, датированная 1610 г., гласит, что некий Юлий Рёцлер преподнес этот том в дар. Всего на страницах я встретила имена трех людей, которым,

нее, обилие разнообразных терминов и рассуждений о законах риторики свидетельствуют о значимости традиций в этом жанре.

Сама характеристика посланий и их разновидностей имеет мало практической ценности для желающего составить деловое письмо. Все письма делились на «доктринальные», «игровые» и «серьезные». Доктринальными назывались наставления корреспонденту в плохом и хорошем. Близки к ним и «серьезные» письма, чьим предметом являются рассуждения о морали. И наконец к «игровым» относятся письма, которые предназначены «утешать, радовать или завоевывать расположение отсутствующих»<sup>9</sup>. Разделение вполне соответствующее ренессансной эпистеме, сделанное на основе разных критериев и не имеющее своей целью строгое противопоставление.

Последующие переиздания этого письмовника демонстрируют тенденцию, в которой будут развиваться подобные тексты. Уже в 1556 г. автор значительно сокращает теоретическое введение, убирая оттуда, в частности, и все рассуждения о классификации писем, и оставляя только советы, имеющие практическую ценность для неискушенного читателя. Такое сокращение одной части книги позволяет расширить другую и добавить новые образцы писем<sup>10</sup>.

Дальнейшее развитие этой тенденции привело к разрыву со старыми традициями. Появляются пособия, составленные для малообразованных слоев населения, такие как анонимный «Французский секретарь», изданный в Руане в 1607 г.<sup>11</sup>. Предваряющие основной

---

очевидно, принадлежал этот том. Сложно сказать, кем они были, но судя по тому, что один из владельцев опробовал на страницах книги свою подпись, видимо были они людьми не очень грамотными и действительно непривычными писать письма. Судя по обилию отметок, том очень активно читался, то есть, вероятно, был довольно ценной книгой с практической точки зрения. Отметки, которые делались по ходу чтения, — это подчеркивания и разнообразные знаки на полях. Выделялись как отдельные словосочетания, так и целые предложения или даже абзацы. И можно сказать, что читатели воспринимали предлагаемые им образцы писем во вполне эразмианском духе. То есть не как шаблонные формы, куда нужно лишь вписать необходимые данные, а как образцы стиля, из которых можно заимствовать выражения, кажущиеся наиболее удачными.

<sup>9</sup> [Dolet E.] Le stile et maniere de composer. P. 10.

<sup>10</sup> [Durand P.] Le stile et maniere de composer, dicter, et escriver toute sorte d'epistres, ou lettres missiues, tant par response que autrement. P.: par Jean Ruelle, 1556.

<sup>11</sup> Le secretaire françois ; contenant la methode d'escrire et dresser toutes sortes



текст обращения к «юношеству» и «хорошо выучившемся девицам»<sup>12</sup>, показывают, что письмовник написан для людей, в основном молодых, которые уже освоили грамоту, но еще не овладели искусством составления писем. Это является свидетельством как широкого распространения эпистолярной практики, так и значимости этого умения в образовательной программе. Не случайно и настойчивое упоминание о молодых девицах: начало XVII века во Франции — это период активных дебатов о женской сущности и женском образовании.

Ориентация на широкую и малообразованную публику определяет и содержание письмовника, причем как введения, так и подборки примеров. Введение посвящено только одному вопросу: что и как нужно, а что и как не нужно писать в письме. Не следует писать на конверте «моей (моему) кузине, дяде, возлюбленной», ибо для курьера это совершенно излишние и ничего не говорящие сведения; не следует также писать: «Это следует вручить такому-то», поскольку и так ясно, что письмо нужно вручить адресату; повторяющиеся слова необходимо заменять их артиклями и предлогами и т. п.<sup>13</sup>.

Одним из важных вопросов введений к такого рода изданиям, унаследованном от средневековья и еще более усилившем свою значимость, поскольку законы риторики и композиции перестают в этих введениях освещаться, была социальная иерархия и ее отражение в письме. Подробнейшим образом описывалось, как следует обращаться к различным по своему социальному положению лицам, начиная с короля, в каких выражениях изъяслять им свою почтенность, как подписываться, как заполнять пространство бумажного листа.

Но, как правило, письмовники конца XVI – начала XVII в. уже не адресованы какому-то определенному кругу лиц (за исключением, пожалуй другого письмовника 1607 года, написанного Натани-

---

de Lettres Missiues. Ensemble quelque Lettres facetieuses. Rouen: Chez Jean Osmond, 1607.

<sup>12</sup> Там же находится и «Послание одной юной парижанки другой, дабы придать ей смелости выучится писать». *Le secretaire françois*. P. 13-16. Из последующих переизданий этого письмовника с другим названием («Секретарь секретарей»; они выходили в 1610–1626 гг.) всяческие указания на потенциальную аудиторию были убраны.

<sup>13</sup> *Le secretaire françois*. P. 20.

элем Адамом в помощь секретарям<sup>14</sup>), да и стиль самих сочинений, стиль и тематика предлагаемых образцов писем достаточно нейтральны. Очевидно, эти сочинения писались уже в расчете на довольно широкую аудиторию. Оттуда исчезает все то, что может быть связано с ремесленниками, судейскими и прочими профессионалами не слишком высокого социального положения. Зато расширяется подборка писем, которые можно написать принцам, герцогам и герцогиням и иным аристократам, что свидетельствует и о развитии придворной культуры. Причем письма, адресованные придворным однозначно представлены как послания к людям имеющим более высокий социальный статус. Постепенно, приблизительно со второй трети XVII в., письмовник начинает ассоциироваться с подражанием аристократической манере письма.

Теперь о том, что касается собственно дружеских писем. Общий анализ содержания письмовников конца XVI – начала XVII в. показывает, что частная переписка вообще воспринималась как переписка дружеская, в самом широком понимании слова дружба, которое было свойственно этому времени. И такое отношение к переписке вполне соответствовало ренессансным традициям, возродившим традиции античные. Исследователи отмечают, что еще со времен Античности, когда появляются первые теоретические рассуждения о переписке как литературном жанре, выделяются две основные ее функции — передача информации и развлечение или беседа. Уже Цицерон отмечал, что в частных письмах должна доминировать функция беседы. Причем частное письмо-беседа как воплощение эпистолярного жанра однозначно связывается Цицероном с дружескими отношениями. И впоследствии гуманисты унас-

---

<sup>14</sup> Натаниэль Адам, как следует из заглавия, сам являлся личным секретарем мадам де Мортемар. В обращении к издателю, Антуану дю Брёю, автор говорит, что письмовник написан в ответ на его просьбу составить какую-нибудь инструкцию, которая помогла бы помочь другим секретарям в освоении этой профессии. По словам Адама, издатель был весьма настойчив, и в итоге он согласился «набросать некоторые принципы этого искусства для тех, кто хочет взять на себя труд с ними ознакомиться» (*Adam N. Le secretaire de francois par Nathanael Adam; secretaire de madame de Mortemart. P.: Chez A. Du Brueil, [1607] P. 6 rev.*) Далее следует сама инструкция, озаглавленная так: «Французский секретарь, разъясняющий какой должна быть его персона и его образование, дабы быть способным к такому званию».

ледовали эту связь между эпистолярным жанром частной переписки и дружбой<sup>15</sup>.

В связи с этим, невозможно выделить дружеское письмо как отличное от всех прочих, если только не оперировать современными представлениями как о сфере частного, так и о дружбе. Даже предлагаемые образцы сугубо деловых писем написаны в терминах дружбы. Так, например, предлагается отвечать адвокатам на просьбу о ведении дела:

«Я получил письма, которые вы изволили мне написать, единственный и совершенный друг, из которых я узнал о желании, стремлении и доверии, которое вы имеете ко мне относительно ведения вашего дела...»<sup>16</sup>.

Соответственно и образ дружбы, складывающийся по этим письмам, получается весьма широким, как это было свойственно не просто тому времени, но в наибольшей степени характерно именно для менее образованных и более традиционных по своему укладу слоев населения. В частности очень заметна значимость традиционных дружеских отношений, основанных на социальном или гендерном неравенстве. Старший «друг» может быть своеобразным наставником в силу своего возраста и опыта или же социального положения. Его письма очень выделяются своим морализаторским тоном и стилем: эти письма с одной стороны подчеркивают дружественность, с другой — дистанцию:

«Хотя это не в моем обыкновении, Месье, говорить о других и хулить их, как делают многие, все же сейчас я принужден продемонстрировать вам, что сегодня существует бóльшая необходимость хорошенько разобраться в тех, кого посещаешь, чем это было в прошлом. Ибо повсюду царит столько распутства и презренных пороков, что я весьма опасаясь, что, если не навести порядок и исправление, они приведут к большим неприятностям, к оскорблениям, совершаемым против Господа. Вот почему, в силу любви, которую я к вам питаю, и нашей давней дружбы, что нас объединяет, я вам внушаю обстоятельно изучить, каковы нравы и образ жизни тех, с кем вы встречаетесь, из страха, как

---

<sup>15</sup> Schmitz D. La théorie de l'art épistolaire et de la conversation dans la tradition latine et néoplatine // Art de la lettre, art de la conversation. P., 1995. P. 14.

<sup>16</sup> [Durand P.] Le stile et maniere de composer. P. 13.

бы ваша хорошо воспитанная молодость не стала подвержена через разговоры какому-нибудь злу или дебошу»<sup>17</sup>.

Иногда в письмах к «младшему» другу даже нет обращения, которым традиционно начинается письмо, что свидетельствует не только об интимности и «фамильярности» отношений, но и о статусе корреспондента, который, со своей стороны, не имеет права на подобную вольность<sup>18</sup>.

Еще в вырисовывающемся образе дружбы можно отметить ту значимую роль, которую, судя по всему, играли дружеские отношения в повседневной жизни, когда друг оказывал помощь и в ведении судебной тяжбы, и в любовных делах и вообще постоянно присутствует в повседневной жизни.

Постепенно, к концу первой трети XVII в., в письмовниках увеличивается число и разнообразие примеров писем, связанных с отношениями клиентелы, писем к высокопоставленным людям, особенно к придворным, что вызвано, как уже отмечалось, развитием придворной культуры. В то же время происходят изменения и в самом эпистолярном жанре. С одной стороны, частная переписка получает все большее распространение и изменяются представления о ней, в связи с чем в письмовниках появляется больше примеров писем, не вызванных каким-то особым поводом, но предназначенных для поддержания отношений. С другой стороны в моду входит напыщенный и витиеватый прециозный стиль, изобилующий любезностями и восхвалениями, из-за чего дружеские послания выглядят очень формализованными. В «Секретаре секретарей» 1614 г. предлагаются особые заготовки для такого рода писем: «Он сравнивает друга с бриллиантом», «Я сравниваю своего друга с солнцем, а он уподобляет себя статуе Мемнона», «Он делает сравнение дружбы с огнем и ветром»<sup>19</sup>. Однако эти громоздкие конструкции ориентируют на выражение эмоций и привязанности, а не только личной преданности, и тем самым служат основой для эволюции дружеского письма в сторону интимного.

---

<sup>17</sup> A un tien amy, s'exhortant à suiire bonne et honneste compagnie // Le secretaire françois. P. 105-106.

<sup>18</sup> См.: A vn estudiant, pour se rendre homme d'Eglise // Le secretaire françois. P. 71-73.

<sup>19</sup> Le secretaire des secretaires ou le thresor de la plume Francoise. Rouen: Manassez de Preaux, devant le portail des libraires, 1614. P. 165-169.

Приблизительно в этот же период постепенно происходит и еще одно существенное изменение. Чтобы более наглядно его продемонстрировать, я обращусь к самому успешному проекту в области эпистолярных пособий. Очень плодovitый автор первой половины XVII в. Жан Пюже де Ла Серр создал письмовник, который с некоторыми изменениями переиздавался в течение около 70 лет, и насчитывает более 30 переизданий. Изначально он назывался «Придворный секретарь» и издавался под таким названием с 1623 (по другим сведениям с 1625) по 1646 г. В 1640 г. появляется «Модный секретарь», который приходит ему на смену и издается до 1665 г. В 1653 году выходит новое издание — «Кабинетный секретарь», и именно оно продолжает выпускаться даже после смерти автора в 1665 г. и издается до 1702 г., хотя частота выпусков заметно редее. Сейчас мне удалось найти сведения о пяти посмертных изданиях<sup>20</sup>.

Издания 1627 и 1630 гг. вышли в свет у одного и того же издателя и по своему содержанию идентичны. Введения в «Придворном секретаре» нет, но название, которое дал своему сочинению де Ла Серр, очень красноречиво. Интересно, что переиздания будут как раз более нейтральны и в названиях. Письмовники этого времени, как уже отмечалось, действительно ориентированы на придворную моду: исследователи отмечают большое количество куртуазных любовных посланий, писем с просьбой выхлопотать должность при дворе и т. п. Вкупе с тем, что сам де Ла Серр занимал довольно высокое положение, он был хранителем библиотеки принца Гастона Орлеанского (в те годы не просто брата короля, а наследника престола), это, по мнению Мориса Дома и Бернара Брея, свидетельствует о том, что письмовники писались для клиентов-провинциалов<sup>21</sup>. Многие письма подчеркивают это, поскольку обращены к придворным. Так письмо к другу на его молчание начинается словами:

---

<sup>20</sup> В библиотеке, где я работала, имелись не все переиздания секретарей, но все-таки я имела в своем распоряжении 9 изданий разных лет с 1627 по 1664 — вполне достаточное количество для того, чтобы попытаться проследить некоторую эволюцию одного текста. Ибо, несмотря на меняющиеся названия, все это разные редакции одного и того же сочинения.

<sup>21</sup> *Daumas M. Op. cit.; Bray B. Op. cit.*

«Месье, я бы никогда не поверил, что воздух при дворе мог быть столь вреден для вашей памяти, что вы позабыли человека, чтящего вас, как я, со всей страстью»<sup>22</sup>.

Важно подчеркнуть, что это письмовник для людей, признающих эталонность и значимость двора и придворной культуры, и это отнюдь не только провинциальные дворяне, как мы знаем хотя бы из комедий Мольера. Они были написаны позднее, но очень четко демонстрируют общую тенденцию. И расчет на эту аудиторию оказался удивительно верным — частые переиздания секретарей де Ла Серра тому свидетельство. Только теперь эпистолярные модели связываются с придворными манерами (и в качестве приложения к секретарям де Ла Серра будет издаваться и пособие по изящной манере разговора «О комплиментах французского языка. Весьма полезный и необходимый труд для тех, кто находится при дворе грандов и постоянно посещает компании»). Это и не случайно: 1630-е годы — это расцвет как салона мадам де Рамбуи, считающейся главной облагораживательницей придворных нравов, так и придворной культуры, которая при Людовике XIV становится доминирующей. В течение всего остального XVII века авторы письмовников будут претендовать на то, что они предлагают модели писем, имеющие хождение в придворном обществе.

Изменение читательской аудитории, не столько социальное на этот раз, сколько «идейное», опять сказывается и на самом содержании и построении письмовника. В нем нет никакого введения, где бы давались советы о том, как правильно надписывать и подписывать письма, что следует и что не следует писать. То есть, определенно расчет делается на довольно грамотную аудиторию, знающую нужные формулировки и не нуждающуюся в такого рода советах. И, несмотря на ситуативность предлагаемых моделей писем, отсутствие инструкции еще более усиливает акцент на том, что предлагаются определенные стили письма.

Это подчеркивается и самим расположением писем. Сходные письма объединяются под одним заголовком, скажем «ряд любезных писем», «письма для ответа на благодарности», «письма, чтобы на-

---

<sup>22</sup> Lettre a vn amy sur son silence // *Puget de La Serre J.* Secretaire de la covr, ov la maniere d'escrire selon le temps. Augmenté des Compliments de la langue François. A M. de Malherbe. P.: Chez Pierre Billaine, 1630. P. 384.

писать больному другу», и внутри этих групп письма идут уже без названия, просто отмечается «письмо», «другое», «другое». Сходная компоновка писем была в секретаре Н. Адама.

Де Ла Серр, однако, идет дальше, он пытается выделить некоторые разделы, в которые объединяются эти группы писем, или отдельные письма, если предлагается только один вариант написания. Первый раздел никак не выделен и не имеет названия, затем следует раздел «письма-соболезнования», затем «различные письма» и «любовные письма». Вот нехитрая, но довольно забавная с точки зрения современного читателя классификация.

Особенно интересно то, как письма распределяются между этими категориями. В первый раздел, не имеющий названия, попали, условно говоря, «деловые письма». Интересно, что само это словосочетание постепенно уходит из письмовников и в особенности из их названий. Это свидетельствует об изменении самой переписки и ее предназначении. В переиздании этого письмовника, «Модном секретаре», оно встречается в последний раз. В эту группу писем в первом варианте письмовника вошли просьбы, благодарности, извинения, советы, рекомендательные письма и т.п. Но сюда же, например, попали «Письма дабы узнать новости». Второй, самый маленький и, наверное, по этой причине наиболее четко выдержанный раздел — это письма-соболезнования<sup>23</sup>.

В следующий раздел, «разные письма», попали письма к родственникам, друзьям и послания, связанные с отношениями клиентами. Само по себе объединение совершенно естественное с точки зрения любого специалиста по социальной истории, но вновь не очень четкое. Мы встречаем здесь письмо другу с сообщением о смерти жены, хотя сообщение другу о свадьбе было в первом разделе. Казалось бы, в «разных письмах» оно было бы более уместно, тем более, что здесь же находится и письмо новобрачного своему новому шурину. В этом же разделе находится «Письмо-соболезнование матери на смерть единственной дочери». Письмо совершенно четко отнесено к жанру соболезнований, но при этом его не посчитали нужным поместить в соответствующий раздел.

---

<sup>23</sup> Этот тип посланий касался не только смерти какого-нибудь родственника, он был уместен при утешении в любом другом значимом неприятном событии, скажем, при потере должности или имущества.

В последний же раздел, «любовные письма», оказались включены самые разнообразные послания, хотя любовные письма уже давно воспринимались как обособленный жанр. И обычно в письмовниках они если и не выделялись в корпусе писем в некий раздел, то группировались вместе. Удивительно и то, что «вклиниваются» в любовные послания все те же четко относимые к соболезнованиям письма и несколько писем к другу, которые, впрочем, косвенно связаны с темой любви. Вполне вероятно, что именно тот факт, что эти письма имеют четкие, легко узнаваемые жанровые особенности, и позволял так легко помещать их и в иные разделы, подчеркивая ту ориентированность на выявление и подчеркивание сходства и нерасчлененности, которая была свойственно ренессансному мышлению.

Но эта гармония разнообразия в 1640-х гг. перестает рассматриваться как нечто естественное; напротив, в ней начинает угадываться противоречивость. Совмещение множества критериев, по которым можно сопоставлять объекты, становится проблемой, требующей разрешения. И в этом отношении очень интересны изменения способа упорядочивания писем в пространстве книги, которые были произведены. В моем распоряжении было еще два издания «Придворного секретаря», причем эти издания были сделаны другими людьми. В 1640 г. он выходит опять в Париже, но у другого издателя, а в 1642 в Руане<sup>24</sup>.

Вносимые изменения были двух видов. Менялись заголовки писем и их положение в оглавлении, чтобы они более точно соответствовали собственно содержанию книги или же попросту дополнялось то, что по каким-то причинам не было отражено в оглавлении<sup>25</sup>. Но надо сказать, что выполнить эту задачу до конца так и не удалось, поправки были частичными. Скажем, письмо могло быть переставлено в оглавлении на нужное место, но его заголовок оставался не вполне соответствующим<sup>26</sup>.

Вторая группа изменений касалась собственно подборки писем: когда добавляться, изыматься, переименовываться и переноситься в

---

<sup>24</sup> Вероятно, эти изменения вносили издатели.

<sup>25</sup> Так, например, «Письмо совершеннейшей в мире» присутствовало во всех изданиях, но в оглавлении было отражено только в 1642 г.

<sup>26</sup> Скажем, в издании 1640 г. в оглавлении переставлены «Письма отсутствующему другу и ответы на них», но не изменено множественное число, хотя на самом деле письмо только одно.



другое место должны были сами письма, а не только их заголовки в оглавлении. Хотя порой изменения вносились только в оглавление, а на самом деле все оставалось, как было<sup>27</sup>.

Наиболее значительные изменения коснулись раздела «любовных писем» и тех включений в него, о которых говорилось выше. В издании 1640 г. часть писем была переставлена, так что все «инородные» письма оказались сосредоточены все вместе в самом конце книги. Больше того, к числу этих явно не любовных писем были добавлены новые. В этих изменениях было интересно противоборство двух логик выстраивания писем в некую последовательность. Эти две логики базировались на различном понимании того, чем собственно отличается одно письмо от другого.

Дело в том, что в самый конец подборки было добавлено несколько однородных писем, которые прекрасно гармонировали с большей частью того аппендикса в корпусе любовных писем, о котором идет речь. Благодаря этим новым письмам образовалась своеобразная группа дружеских (в самом широком значении) писем.

Со времен средневековья наибольшая значимость придавалась композиции письма, определенной четкими правилами. В XVI веке под влиянием идей Эразма Роттердамского и других гуманистов, выступавших за более живое, свободное письмо, происходит значительное смягчение этих требований. Из письмовников исчезает четкое деление письма на составные части и другие жесткие рамки формы. Но вот сама логика различения писем в зависимости от формы сохраняется еще довольно долгое время. Не случайно те инструкции по написанию писем, которые предворяли собственно корпус примеров первым делом и наиболее подробно освещали самые формализованные элементы письма, которые сохранили к тому же свою значимость и обособленность от основного текста — обращения и прощания. Поскольку эти элементы зависели от статуса автора и, в еще большей степени, адресата, различие между письмами мыслилось прежде всего как отличия между теми, к кому письмо может быть обращено. Наиболее четко эта логика определения характеристик письма в зависимости от характеристик адресата видна в анонимном письмовнике 1607 г., о котором говорилось выше. Его автор

---

<sup>27</sup> Например: «Письмо другу, потерявшему свою должность» перенесено в оглавлении, но в корпусе писем осталось на том же месте.

стремился и образцы писем расставить в соответствии с тем, кому они адресованы, начиная с королей и постепенно спускаясь все ниже. Однако когда он добрался до собственно частных писем, эта логика начала затуманиваться, поскольку помимо самого статуса адресата (который здесь тоже усложняется, ибо к социальному добавляется родственный и возрастной) появляются различные дополнительные факторы, которые влияют на форму письма (скажем, степень близости отношений). И тут появляется ощущение некоторой мешанины писем, имеющих самые различные сюжеты. Зато когда дело доходит до любовных писем, т. е. писем к такому адресату, чьи характеристики легко вычленишь, опять появляется четкая группа однородных писем. Структура письмовника Натаниэля Адама не такая однозначная, но в ней тоже можно четко выделить логику выстраивания писем в зависимости от адресата — одну из многих логик. Все письма совершенно четко можно объединить в своеобразные группы: сначала идут письма между выше- и нижестоящими по социальном положению людьми, условно говоря, между клиентами и патронами (это письма с просьбами, жалобами, благодарностями, похвалами и т. д.), затем письма между родственниками, затем соблазновения, письма к королям и принцам крови и наконец любовные письма.

Но в тексте де Ла Серра присутствует и другая логика. В издании 1640 года появляется новое письмо «Письмо сеньора, оставляющего свет, к своей возлюбленной». Оно добавляется в раздел любовных писем, но не собственно к любовным письмам, как того требует характеристика адресата, а к тому же аппендиксу и ставится рядом с письмами, имеющими аналогичный сюжет — «Отца, оставляющего свет, к своему сыну» и «Сеньора, который оставляет свет, к одной из своих дочерей-монахинь». Эта логика особенно развивается в связи с постепенным изменением понимания того, что должно быть представлено в письмовнике и чему эти самые письмовники должны обучать. Понятие стиля в сущности начинает утверждаться в полной мере в письмовниках только во второй трети XVII в. И классификации писем, которые изначально, еще со времен Античности, были основаны на том, что мы можем назвать стилевыми особенностями, оказывались оторванными от собственно тех примеров, которые предлагались в письмовнике. Так, в письмовнике 1553 года

во вводной части предлагается выделять письма доктринальные, игровые и серьезные, но это членение никак потом не отражается даже в заголовках писем и присутствует лишь как один из множества одновременных критериев различения писем.

В текстах второй трети XVII в. появляется ощущение противоречивости этих критериев, их смешения и стремление организовать пространство письмовника в соответствии с какой-либо одной логикой. Причем критерии сюжета и задаваемых им особенностей в различных текстах начинают рассматриваться как более предпочтительные, нежели характеристики адресата. Именно эта логика, исходящая из самого текста письма, будет развиваться дальше и займет доминирующее положение.

Собственно говоря, вся структура письмовника де Ла Серра была отражением своеобразного совмещения этих двух логик, но не естественного, как раньше, а противоборствующего. И даже такое изменение еще в рамках многовариантности критериев, оказалось непростым. В издании 1642 г., которое явно основывалось на издании 1640, но в котором столь же явно заметно стремление вернуть изначальную структуру, были произведены странные изменения. Те письма, которые были перенесены в издании 1640 г., и таким образом обособили своеобразный аппендикс, были возвращены на свое место. А вновь добавленные письма, которые придавали этому аппендиксу весомость и единообразие, исчезли. Причем исчезли они только из оглавления, сохранившись в самом тексте книги.

Наиболее значительные изменения были внесены в новую редакцию письмовника, появившуюся под названием «Модный секретарь». Эти изменения уже были очевидно авторскими. Вдобавок, автор подчеркивает, что до сих пор рукопись публиковалась без его ведома. Это был вполне традиционный ход, к тому же сложно предположить, что письмовник мог публиковаться без ведома автора в течение 17-ти лет. Но, скорее всего, некоторые издания действительно были нелегальными. В частности, таковым могло быть издание 1642 г., тем более, что оно появилось уже после того, как автор предложил читателям новую редакцию своего текста.

Де Ла Серр не сильно меняет структуру своей книги, в корпусе писем можно разглядеть все те же разделы. Исчезает только раздел «разные письма» и из любовных писем убирается все то, что к ним

не относится. Письма оказываются довольно четко разделены. И в их заголовках ясно выделяется ориентированность на сюжет письма. Они в большинстве своем стали более короткими и более типовыми. В подавляющем большинстве заголовков теперь сначала указывается сюжет письма, и только потом, если в этом есть необходимость — адресат.

Логика сюжетных отличий явно начинает преобладать над логикой социальной. Это подчеркивает и появившаяся в новом варианте письмовника инструкция по написанию писем. Она начинается с описания различных видов писем, выделенных на основе того, какой сюжет и в какой манере составляет их основу.

Все письма делятся на две большие группы: деловые и любезные.

Деловые письма «те, которые излагают вещи, имеющие значимость и бывают различных видов, как то письмо–извещение, письмо–совет, письмо–замечание, письмо–приказание, письмо–просьба, письмо–рекомендация, письмо–предложение помощи, письмо–жалоба, письмо–упрек, письмо–извинение и тому подобные»<sup>28</sup>. Любезные письма «служат завязыванию дружбы с кем либо или ее поддержанию; они также бывают различных типов, как письма–примирения, письма–визиты, поздравления, соболезнования, благодарности, шуточные и тому подобные»<sup>29</sup>.

Кроме того, упоминаются смешанные письма, полу–деловые, полу–любезные и письма–ответы.

Классификация не вполне полная, но построенная на едином принципе сюжетно–стилевых отличий. И только после таких описаний следует вторая часть инструкции, посвященная форме письма.

Так же как и у предшественников, у де Ла Серра не возникает необходимости выстраивать письма в сборнике в том же порядке, как они представлены в его теоретическом введении. Как я уже отмечала, структура сборника в основном остается неизменной. И те письма, которые автор относит к «деловым», перемешаны с «любезными». Но очень важно, что их характеристика внутренне соотносится с той логикой различения писем, которая предложена в классификации.

---

<sup>28</sup> *Puget de La Serre J.* Secretaire de la mode par le sieur de la Serre augmenté d'une instruction d'crire des Lettres. Amsterdam : Chez Jaques Marteau, 1664. P. 2.

<sup>29</sup> *Ibid.* P. 12.

Само по себе появление классификации писем в письмовнике де Ла Серра — дело не случайное. Ведь авторы отказались от них уже почти сто лет назад по причине невостребованности такого рода знания у читателей. Они были гармоничной частью эрудитских трактатов по риторике, но оказались малопонятными и малопригодными для обучения искусству написания писем тех, кто плохо им владеет. И вдруг в 1640-е годы классификации возвращаются. Причем не только в «Модном секретаре». Письмовник Поля Жакоба «Совершенный секретарь», вышедший в 1646 г., тоже содержит инструкцию по написанию писем, которая также открывается рассуждениями о стилевых особенностях различных писем. Имеется там и классификация по видам. Поль Жакоб использует старую известную схему деления на три основных жанра *démonstratif* (когда целью является удовольствие читателя), *délibératif* (служит для того, чтобы давать совет) и *judiciaire* (служит для осуждения какого-либо действия или поступка)<sup>30</sup>. И по этим трем жанрам распределяются типы писем, по сути очень похожие на те, что выделяет де Ла Серр. К первому относятся: соболезнования, поздравления, примирения, посвящения, письма с новостями, благодарности, предложения услуг, рекомендации и шутки. Ко второму: просьбы, увещевания, убеждения, разубеждения и любовные письма, а к третьему: просьбы, обвинения, упреки и выговоры<sup>31</sup>.

Это деление основано только на содержании писем, а не на том, кому они адресованы. И, как мне кажется, именно с этим связано возрождение интереса к такого рода классификациям. В объяснениях сьера Жакоба рассуждения о том, какие выражения и тональность письма будут наиболее адекватны его сюжету, предшествуют и занимают более важное место по отношению к рассказу о том, как следует должным образом выразить свое отношение к социальному статусу адресата. Как я уже говорила, акцент в объяснении характеристик и особенностей писем смещается в сторону их содержательных и стилевых отличий. И такого рода классификации оказываются теперь необходимым компонентом объяснений.

<sup>30</sup> Эта классификация восходит еще к античным теоретикам эпистолярного жанра — Аристотелю, Квинтилиану и Цицерону.

<sup>31</sup> [Jacob, le Sieur P.] *Le Parfait Secretaire ov la maniere d'escrire et de respondre à toute sorte de Lettres, par Precepts & par Exemples*. P.: Chez Antoine de Sommaville, 1646. P. 75-76.

Не случайно появление этих классификаций, которые с 1640-х годов становятся постоянным элементом инструкций по написанию писем, совпадает и с первыми попытками организовать пространство письмовника, путем вычленения и упорядочивания отдельных категорий писем. В этом членении не нуждались письмовники прежних лет, в которых весь массив примеров являл собой некое единство, имеющее внутреннюю иерархизирующую логику. Эта логика может быть странной на наш взгляд, логикой переходящей в какую-то другую, но при этом не выглядящей как нечто несуразное для читателя того времени. И эта логика не нуждалась в каком-либо членении этого единства. Оно могло присутствовать, но оно не было необходимым. Теперь эта потребность возникает, и возникает одновременно с появлением новой логики, исходящей из сущностных характеристик самого письма.

Мишель Фуко к XVII в. относит следующие изменения, о которых в сущности сейчас и шла речь:

«Анализ замещает аналогизирующую иерархию»<sup>32</sup>, «деятельность ума... теперь состоит не в том, чтобы сближать вещи между собой, занимаясь поиском всего, что может быть в них обнаружено в плане родства, взаимного притяжения или же скрытым образом разделенной природы, а напротив, в том, чтобы различать: то есть устанавливать тождества, затем необходимость перехода ко всем степеням удаления от них»,<sup>33</sup> «отношения между вещами осмысливаются в форме порядка и измерения, но с учетом того фундаментального несоответствия между ними, в силу которого проблемы меры всегда можно свести к проблемам порядка»<sup>34</sup>.

Этот процесс не был ни однолинейным, ни однонаправленным, ни одномоментным, но в целом общие изменения происходили именно в этом русле.

В сущности, в дальнейшем письмовники де Ла Серра будут печататься без изменений и даже новый «Кабинетный секретарь» отличается только по названию. Де Ла Серр нашел ту форму, которая

---

<sup>32</sup> Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 89.

<sup>33</sup> Там же. С. 90.

<sup>34</sup> Там же. С. 91.

оказалась наиболее приемлемой и которая ляжет в основу всех последующих изданий.

Теперь опять обратимся к собственно дружескому письму. Нововведения де Ла Серра позволяют нам отчетливо увидеть ту особую значимость, которую имели эти письма. Выделяя два основных вида писем, де Ла Серр отделяет письма, трактующие о чем-то важном, т. е. о делах, от писем, предназначенных для завязывания и поддержания отношений. Причем, как он указывает, «дружеских отношений». Это возвращает нас к широкому трактованию понятия дружбы. И поскольку оно не исключает дружеские отношения из деловых, то и в описании отдельных жанров деловых писем мы видим упоминания о тех же отношениях. Скажем, письма–просьбы, описываются как письма «в которых просят друга о некотором удовольствии или милости либо для самого себя, либо для другого»<sup>35</sup>. А письмо–упрек, согласно определению, «пишется неблагодарному, который отвечает злом, на сделанное ему добро. В этом случае следует прежде всего наглядно привести ему все удовольствия и услуги, которыми старались заслужить и поддерживать его дружбу»<sup>36</sup>.

Это широкое понимание дружбы, которое, как уже говорилось, было свойственно обществу того времени, соотнесенное со специфической тематикой, представленных в классификации видов писем, неизбежно вызывает ассоциации с определенным типом отношений, именуемым клиентелой. Во французской и в англо-американской историографии французской истории XVI–XVII вв. тема клиентелы очень разработана. И дружеские отношения исследовались преимущественно в этом ракурсе, прежде всего как социальные связи, близкие к отношениям клиентелы. Очень мало исследований, в которых дружеские отношения этого времени рассматривались бы как интимные, эмоциональные межличностные отношения.

И это жесткое разграничение неожиданно сказалось и в отношении письмовников. Ориентация на «пишущих клиентов» превращает письмовник де Ла Серра в глазах исследователей в пособие по поддержанию социальных связей, а не по ведению личной переписки (*lettre familière*). С этим сложно согласиться, поскольку, напри-

<sup>35</sup> Puget de La Serre J. Secretaire de la mode par le sieur de la Serre augmenté d'une instruction d'escire des Lettres. Amsterdam : Chez Jaques Marteau, 1664. P. 6.

<sup>36</sup> Ibid. P. 10.

мер, одна из выделяемых им групп писем («письма–шутки») может быть использована только в общении наиболее близких друзей. И нельзя не заметить, что другой вид писем, «письма–визиты», есть ни что иное, как те самые *lettre familière*, получившие иное название. Это становится очевидно из их описания:

«Письма–визиты служат для поддержания дружбы между отсутствующими и занимают место визитов, которые наносят своим друзьям, если живут поблизости. Можно сказать, что в этот момент нет большего удовольствия, чем беседовать с ними посредством писем, поскольку наше отдаление не позволяет сделать это при помощи рта»<sup>37</sup>.

Это классическое письмо-беседа, которое собственно и стало называться *lettre familière*.

Я уже неоднократно писала о том, что применительно к этому времени не всегда удобно разделять дружеские отношения на эмоциональные и инструментальные, поскольку никакой четкой границы и никакого противоречия между ними не существовало<sup>38</sup>. Вообще, как мне представляется, мышление четко разграниченными категориями, да еще применительно к такой сложной и расплывчатой сфере как человеческие взаимоотношения, по отношению к этому времени, когда этих четких границ между понятиями не существовало, часто заставляет упускать очень важные моменты. В том числе и строгое разделение на «интимные» (частные) и «социальные» письма. То, что я сейчас рассматриваю, как раз относится к этому очень длительному и сложному процессу формирования категориального мышления и нового способа осмысления системы человеческих взаимоотношений. И де Ла Серр, выделив в отдельную группу письма, что пишутся просто так, для поддержания отношений, положил начало дальнейшей возможности классификации в этом направлении, которая и привела к выделению дружеского письма в отдельный жанр.

Но пока, в «Секретарях» де Ла Серра и у других авторов, оно еще не укладывалось в предложенную классификацию. Как и вообще *lettre familière*. Они как бы растворяются во всех группах писем.

---

<sup>37</sup> Ibid. P. 12-13.

<sup>38</sup> См. работы, указанные в сноске 6.



Особенно это заметно у тех авторов, которые используют уже упомянутое мной традиционное деление на три жанра. Дело в том, что еще Эразм Роттердамский внес в него изменения, добавив еще один жанр — *lettre familière* и его исчезновение из классификаций XVII века представляется исследователям очень симптоматичным<sup>39</sup>. Эразмианской категории *lettre familière* нет у Поля Жакоба, который, как я упоминала, воспроизводит традиционную трехчастную модель деления. Но он же приводит и другое деление трех эпистолярных стилей: простого, среднего и высокого. И к первому в числе прочих он относит все *lettre familière*<sup>40</sup>. *Lettre familière* нет и в более поздних письмовниках Ортига де Воморьера, который также сохраняет трехчастное деление, но при этом выделяет частные или дружеские письма как один из подвидов *genre demonstratif*<sup>41</sup>.

Л. Вайянкур, а вслед за ним Р. Дюшен, говорят об изменениях, которые происходят с понятием *lettre familière* в XVI–XVII вв., когда эрудитское, гуманистическое понимание такого письма как способа отражения своего Я сменяется современным понятием интимного письма, куда можно включить и дружеское, и любовное, и семейное<sup>42</sup>. Мне же хочется акцентировать другое изменение. В XVI в. *lettre familière* определяется прежде всего через определение адресата письма — это письма к родственникам, друзьям. Это связано с латинской традицией и соответствующей ориентацией письмовников, поскольку в латинском языке *familiaris* обозначает как раз родственника, друга, слугу — того, кто имеет отношение к дому. Во французском языке слово *familière* имеет другое значение и связано скорее со свободной манерой общения, возможной между членами семьи. Р. Дюшен отмечает эту особенность, но не развивает это направление<sup>43</sup>. Между тем, эта характеристика строится уже не на социальных характеристиках адресата, а на стилевых отличиях письма. Только изменение это происходит значительно позже, нежели отход

---

<sup>39</sup> Duchêne R. Comme une lettre à la poste. Les progrès de l'écriture personnelle sous Louis XIV. P., 2007. P. 48.

<sup>40</sup> [Jacob, le Sieur P.] Le Parfait Secrétaire. P. 15.

<sup>41</sup> D'Ortigue de Vaumorière P. Lettres sur toutes sortes de sujets, avec des avis sur la manière de les écrire et des réponses sur chaque espèce de lettres. Paris : Chez Jean et Michel Guignard, 1706 [P. LVI].

<sup>42</sup> Duchêne R. Op. cit. P. 118.

<sup>43</sup> Ibid. P. 65.

от латинской традиции и ориентация письмовников на французский язык, — как раз тогда, когда мы видим изменение в понимании отличий между письмами.

Можно также отметить, что в 1630-е — начале 1660-х гг. сам по себе факт поддержания переписки и тот не имел еще однозначной оценки. В письмовнике де Ла Серра можем увидеть конфликт двух интерпретаций. В письме-упреке за длительное молчание поддержание регулярной переписки, не нуждающейся в особых поводах для написания письма, приравнивается к поддержанию дружеских отношений:

«Месье, я окончательно порву с вами, если вы не прервете своего молчания, полагая, что вы очень мало меня любите, раз вы совершенно меня забыли. Я прошу вас обращаться со мной более непринужденно, если моя дружба имеет для вас значение или если вы еще считаете меня достойным вашей»<sup>44</sup>.

А в предлагаемом варианте ответа на этот упрек как раз молчание аргументируется интересами дружбы:

«Если бы наша взаимная дружба поддерживалась только перепиской, я не выпускал бы из рук пера, чтобы дать ей новые подтверждения; но зная, что она поддерживает себя собственной крепостью, презираю все уловки любезности и комплиментов»<sup>45</sup>.

У де Ла Серра в предложенной классификации есть «письма-визиты», которые собственно и являются *lettre familière*, однако, как справедливо отмечает Роже Дюшен, *lettre familière* вовсе не присутствует среди предлагаемых примеров.<sup>46</sup> Сама эта категория плохо сочетается с прочими, поскольку не отражает, как они, содержания писем. В итоге то, что можно назвать *lettre familière* или дружеским письмом, может оказаться в самых различных группах писем в зависимости от повода.

Та же неясность имеется и в заголовках писем в оглавлении. В первой части примеров (напомню, что она не имеет названия, что тоже показательно, две другие части это соболезнования и любов-

---

<sup>44</sup> Puget de La Serre J. *Secrétaire de la mode*. Leyden : Chez Jacob Marci, 1645. P. 14.

<sup>45</sup> Ibid. P. 19.

<sup>46</sup> Duchêne R. *Op. cit.* P. 50.

ные письма) в подавляющем большинстве случаев, когда автор считает необходимым указать адресата, этим адресатом оказывается друг (например, «Письма–поздравления другу, касающиеся случившегося у него счастливого события», «Письма больному другу» и т. п.). И это указание может относиться и к «поздравлениям», и к «упрекам», и к другим группам писем. Кроме «друга» в этой части упоминается еще только один «тип» адресата — сеньор (например, «Частное письмо с выражениями радости сеньору марки», «Письма сеньору, дабы оправдаться из-за ложного отзыва, который к нашему разочарованию был ему представлен» и т. п.), который очевидно противопоставляется (именно как тип адресата) другу. Если в письмовниках предыдущих лет этого противопоставления не было, то у де Ла Серра опять возникает ситуация напряженной неясности, когда многозначность понятия дружбы уже не рассматривается как нечто естественное. И соответственно дружеское письмо еще не вполне совпадает с *lettre familière*, но уже очевидно противопоставляется письму к патрону. Это подчеркивается тем, что разнообразные письма–советы и письма–наставления, широко представленные в письмовниках начала века и подчеркивавшие социальный характер понятия дружбы благодаря акцентированию неравноправности участников отношений, были очень скупо представлены в «Придворном секретаре» («Письмо, дабы дать совет» и «Письмо друга дабы разубедить покидать свет»)<sup>47</sup>. И они вовсе исчезают в «Модном секретаре».

Преодоление этой напряженности относится уже к более позднему периоду. Здесь вступает в силу еще один фактор. Дело в том, что в 1650–1670-е гг. наступает своеобразный период затишья в истории письмовников. Продолжают переиздаваться письмовники де Ла Серра, но практически не появляются новых. Во всяком случае мне не удалось найти ни одного нового наименования. Мне сейчас сложно дать оценку, с чем это могло быть связано. То ли с необычайной успешностью «Секретарей» де Ла Серра, которые могли заполнить эту нишу и потребность в такого рода изданиях, то ли со своеобразным затишьем в эволюции самого эпистолярного жанра, то ли с развитием придворной культуры и усилением королевского контроля или еще с какими-то факторами. Новые издания в жанре

---

<sup>47</sup> *Puget de La Serre J. Secretaire de la covr. P.: Chez Pierre Billaine, 1630. P. 54, 91.*

письмовников начинают активно появляться с 1680-х гг., особенно активно в самом конце столетия.

В том, что касается логики организации самого пространства примеров в письмовнике, то тут можно сказать, что все основные изменения уже были видны у де Ла Серра. В новых письмовниках сохраняется и усиливается потребность в разделении и упорядочивании. Это проявляется как в присутствии тех или иных вариантов классификации писем, так и в довольно строгом, с точки зрения этой рациональной логики, построении последовательности примеров писем в пространстве самой книги. Причем письма начинают выстраиваться в точном соответствии с той классификацией, которая предложена автором во введении. Я имею в виду не только то, что названия групп писем совпадают с предложенными в классификации, как это было у де Ла Серра. Идея упорядочивания окончательно побеждает и, скажем, в письмовнике Ортига Воморьера<sup>48</sup> примеры писем подаются в той же последовательности, что предложена в классификации.

Вместе с изменением придворной культуры, меняются и ориентированные на нее письмовники. Во второй половине XVII столетия складывается идеал светского человека — *honnête homme* — и многие появляющиеся в это время пособия по обучению хорошим манерам, ведению бесед и в том числе и написанию писем уже четко ориентированы на подражание именно этому идеалу. То есть, здесь тенденция, идущая от де Ла Серра, впервые четко связавшего предлагаемые образцы писем со стилем, свойственным придворной культуре, продолжается с той разницей, что теперь они ассоциируются именно с идеалом *honnête homme*. Это можно увидеть, скажем, в заголовке письмовника Поля Коломье «Риторика порядочного человека».<sup>49</sup> И дело здесь уже не столько в том, что письмовники ориентированы на клиентов, сколько в том, что придворная культура становится подлинным центром французской культуры в целом, идеалом и образцом для подражания. Поэтому в отношении пись-

---

<sup>48</sup> *D'Ortigue de Vaumoriere P. Lettres sur toutes sortes de sujets, avec des avis sur la maniere de les écrire et des responses sur chaque espere de lettres.* Paris: Chez Jean et Michel Guignard, 1706.

<sup>49</sup> [Colomiès P.] *La rhetorique de l'honnête homme ou la maniere de bien écrire des lettres.* Amsterdam: Chez George Gaillet, 1700.

мовников конца XVII в. еще сложнее выявить точную аудиторию, на которую они были рассчитаны, поскольку характеристика этих читателей уходит от каких-то социальных коннотаций и возвращается в сферу культуры, как это было во времена Возрождения, когда круг читателей письмовников определялся прежде всего уровнем их образования и приверженностью гуманистическим идеалам.

Изменения, произошедшие за это время коснулись и собственно эпистолярного жанра. Это та логика, которую я по большей части опустила в своем повествовании отчасти по причине того, что эта тема достаточно хорошо изучена, отчасти для того, чтобы не запутывать окончательно читателя введением еще одной логики в эволюции дружеского письма. Скажу лишь очень кратко, что от эрудитского гуманистического стиля, через витиеватый, вычурный прециозный стиль Вуатюра эпистолярный жанр дальше развивался по линии все большего упрощения и снижения (с точки зрения риторики) стиля письма. То есть эволюционировал к более современному пониманию *lettre familière*, в отношении которого только с 1660-х гг. возобладало понимание этого жанра как интимного, написанного простым, лишенным вычурности, стилем письма. Это изменение происходило во взаимосвязи с общей логикой развития придворной культуры и идеала *honnête homme*, который предписывал любезность и общительность, но без излишней манерности и педантизма. И все это привело к тому, что категория *lettre familière* вновь начинает появляться в письмовниках, но уже в ином соотношении с прочими видами писем, нежели у Эразма Роттердамского, в силу того, что само понимание характеристик этого эпистолярного жанра существенно изменилось.

В том же направлении, которое в более широком плане встраивается в общее русло формирования и эволюции новоевропейских ценностей социального общения, происходила и эволюция в понимании дружеских отношений. Идеал *honnête homme* был ориентирован на общительность, любезность, и в силу этого дружественность оказалась одной из очень значимых черт идеального придворного. Причем дружественность, понимаемая не в социальных категориях поддержки, верности, лояльности и т. п., а как расположенность, внимание, задушевность и подобные характеристики, связанные именно со стилем общения. Соответственно оказался востребован-

ным идеал дружбы как аффективной привязанности, но востребованным в качестве идеала светского общения, а не исключительной эмоциональной близости только между двумя людьми в духе Монтеня.

Все эти очень разнообразные изменения сходятся вместе и приводят к тому, что в письмовниках конца XVII – начала XVIII в. наконец появляется отдельная категория писем, обозначаемая как дружеские письма. И сами характеристики дружеского письма, даваемые авторами в введениях-инструкциях, ставших к этому времени уже неотъемлемыми составляющими письмовников, также напрямую связаны со всеми этими разнообразными факторами.

Начнем с уже упомянутого издания «Письма на все сюжеты с советами по манере их написания и ответами на каждый вид письма» Ортига де Воморьера.<sup>50</sup> Оно впервые было издано в 1690 г. и впоследствии много раз переиздавалось<sup>51</sup>. Воморьер выделяет категорию *lettres familières ou d'amitié* в рамках *genre demonstratif*. Напомню, что это жанр должен использоваться, когда основной целью письма является удовольствие адресата. Давая советы о том, как следует писать такого рода письма, Воморьер отмечает:

«Если бы только не предполагалось давать указание по каждому роду писем, то было бы весьма бесполезно давать их по манере составления непринужденных писем... Этот жанр требует лишь простого и приятного стиля; и чем ближе наши мысли приближаются к естественности, тем большее впечатление производят наши выражения на умы тех, кому мы пишем. Все, что можно прибавить — это сказать, что непринужденность не подразумевает написание всякого рода чепухи; какую бы свободу она не давала, она не позволяет переходить границы: чтобы знать их достаточно общения с порядочными людьми»<sup>52</sup>.

Т. е. дружеское письмо не определяется через содержание и сюжет (как это было у гуманистов, у которых стиль написания был напрямую связан с «частным» содержанием письма, которое должно отражать Я автора, прежде всего интеллектуальное Я, и как можно определить большую часть писем в классификации Воморьера —

---

<sup>50</sup> D'Ortigue de Vaumoriere P. Op. cit.

<sup>51</sup> Я имела возможность работать с четвертым изданием 1706 года.

<sup>52</sup> Ibid. P. 55.

соболезнования, просьбы и т. п. традиционные виды писем), но только через стиль. И можно сказать, что это еще одно новое изменение. Сюжетные особенности подчиняются особенностям стилиевым, и характеристики даже таких категорий, как рекомендации или просьбы определяются только через стилиевые, языковые характеристики.

Причем стиль этот у Воморьера никак не связывается с определенным адресатом, т. е. близким другом. Дружеское письмо оказывается естественным стилем общения для порядочных людей вообще.

Другой автор, Жан–Леонор Галлуа, съёр Гримаре, известный сейчас как один из первых биографов Мольера, в 1709 г. выпустил «Трактат о манере написания писем и о церемониале»<sup>53</sup>. Он дает достаточно подробное объяснение той логики, на основе которой он составил свою классификацию писем. Гримаре пишет:

«Дружба, порядочность, долг, любезность, интерес, любовь, являющиеся общественными связями, имеют множество обстоятельств. И именно по этим отличиям чувств можно разделить письма на частные письма, галантные письма, любезные письма, любовные письма, деловые письма или памятные записки»<sup>54</sup>; «дружба, уважение, долг, превосходство также имеют каждое свой особый язык, который можно узнать лишь по размышлению и благодаря знанию света»<sup>55</sup>.

Деление Гримаре строится не на основе содержания письма, а на основе того языка светского общения, чьим письменным выражением оно служит. По сути, Гримаре в своих объяснениях возвращается к социальной логике деления писем, но в ней уже нет иерархизации, свойственной письмовникам XVI – первой половины XVII в. Этим адресатов невозможно свести в некий иерархизированный универсум на основе подобия. Здесь, так же, как и при использовании логики деления писем в зависимости от содержания, одному и тому же человеку можно направить письма разного вида в зависимости от того, какого языка требует та или иная ситуация. Язык занимает подчиненное положение, он ситуативен и также ситуативен адресат

---

<sup>53</sup> *Grimarest le Gallois J. L. Traité sur la maniere d'ecrire de lettres et sur le ceremonial. La Haye, 1709*

<sup>54</sup> *Ibid.* P. 9.

<sup>55</sup> *Ibid.* P. 22.

письма. Например, для выражения дружеских отношений и дружеского языка общения служат *lettre familière*. Но при этом, если в жизни друга произошло значимое событие, следует воспользоваться любезным стилем письма, если необходимо его просить об услуге, то нужно отправить деловое письмо и т. п. Две логики, который конкурировали у де Ла Серра здесь сплавляются в нечто единое, когда ситуация (т. е. изначальный повод написания письма, определяющий его содержание) становится определяющей характеристикой адресата.

Дружеское письмо или *lettre familière* таким образом не является выражением каких-то фундаментальных отличий дружеских отношений от прочих типов взаимоотношений между людьми. Отнюдь не любое письмо, написанное одним другом другому, будет дружеским. Дружеские отношения в такой же мере являются элементом светского общения, как и все прочие. Дружеское письмо — это отнюдь не способ выражения своего Я, как это было у гуманистов, оно не предполагает, что можно, пользуясь доверительностью и откровенностью писать все, что вздумается, и как вздумается. И Гримаре неоднократно и очень настойчиво это подчеркивает.

*Lettre familière*, пишет он, — «определяются по их названию. Это общение с другом или с персоной, к которой можно говорить с той же степенью свободы, сохраняя полагающееся ей почтение, если ее положение, происхождение или возраст требует особых отличий. Обычно этого рода письма составлять легче всего, в них бываешь не так стеснен ни в выражениях, ни в чувствах, как в прочих. Однако, как бы ни было легко их писать, следует всегда скрупулезно соблюдать требования дружбы, благопристойности и доброжелательности, без чего можно попасть в неприятности, которые могут иметь последствия, как это видно из следующих наблюдений. Пусть никогда не пишут ничего, что может расстроить своего друга, сколь бы непринужденными ни были отношения с ним. И если существует необходимость сообщить ему нечто неприятное, следует это подсластить и выразить в такой манере, которая даст понять, что вы к этому принуждены и делаете это не по велению сердца. Это даст ему свидетельство дружбы, состоящее в участливом отношении к его печали или его боли.

Следует также изучить характер и интересы того, кому пишешь, чтобы соответствовать им по своей манере письма. Многие люди воспринимают не все манеры изложения, особенно те, которые обладают некоторой новизной, и они принимают за ос-



корбительное то выражение, которое чаще всего благородно выражает мысль и которое использовали совершенно невинно, полагая его наилучшим. Следует с осторожностью писать пожилым людям и жителям провинции. Есть и другие, всегда очень боязливо относящиеся к тому, к чему они наиболее чувствительны; говоря об их слабости можно оскорбить их, даже если не имеешь такого намерения: вот что следует тщательно соблюдать, если хочешь сохранить их уважение или их дружбу»<sup>56</sup> и т. п.

Это только начало многочисленных предостережений Гримаре, которые показывают, что манера общения друзей отнюдь не была их частным делом. Они рассматриваются как одна из форм социальных связей. И дружеское письмо выступает не столько как способ выражения привязанности или способ общения, а прежде всего, как и все остальные письма, как средство поддержания отношений определенного уровня.

Но в то же время эти объяснения показывают, что дружеские отношения уже четко осмыслились исключительно как очень близкие и интимные отношения, настолько, что эта близость может вступать в конфликт с нормами социального поведения. И дружеское письмо становится характеристикой именно таких отношений в эпистолярном пространстве. К началу XVIII века сложился особый эпистолярный жанр дружеского письма, ориентированный на идеал эмоциональной дружбы, который и становится доминирующим в смысловом наполнении понятия дружбы. В то же время, этот вид письма рассматривается как один из основных, как бы «общий случай» письма, благодаря тому, что дружеские отношения, при условии соблюдения определенных норм, прекрасно соответствуют новому идеалу социальности, и дружественность, понимаемая как некоторая благорасположенность к другому, становится отражением благовоспитанности и светскости.

---

<sup>56</sup> Ibid. P. 37-40.

*М. И. КОЗЛОВА*

## **КРОССКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В «РАЗГОВОРЕ О БЕССМЕРТИИ ДУШИ» М. М. ЩЕРБАТОВА**

XVIII век с его политическими и социокультурными трансформациями, изменением ценностных ориентиров и поведенческих стереотипов оказался переломным для российской интеллектуальной элиты. Процесс формирования самосознания и обретения идентичности дворянским сословием был связан, с одной стороны, с потребностью в признании, ожиданием позитивной оценки со стороны «своих», с другой, — с внутри- и межсословными противоречиями, самоопределением в системе «свои» и «чужие». Проблема сплочения интеллектуально-аристократической «корпорации» на основе единства мировоззрения, взглядов и ценностей стала особенно острой в правление Екатерины II, стремившейся контролировать всю общественную и культурную жизнь в стране<sup>1</sup>. При этом любые формы противостояния официальной идеологии и борьбы с самовластием расценивались как вызов политике «просвещенной императрицы». Интеллектуальная деятельность продолжала быть едва ли не единственным средством борьбы против крайних проявлений деспотизма за свободу дворянского сословия.

Виднейший представитель российской элиты екатерининского времени князь М. М. Щербатов (1733–1790) выдвинул собственный проект ограничения российского самодержавия в духе аристократической соборности. Но рефлексия Щербатова по поводу трансформирующейся действительности не встретила сочувствия у современников. Проблема интеллектуального одиночества, обострившаяся незадолго до его преждевременной кончины, была актуальной для Щербатова на протяжении всей жизни:

---

<sup>1</sup> Подробнее о проблеме консолидации дворянства см.: *Марасинова Е. Н.* Эпистолярные источники о социальной психологии российского дворянства (последняя треть XVIII в.) // *История СССР.* 1990. № 4. С. 170.

Уединенну жизнь хоть многие хвалили  
Но я веселья в ней не мог себе найтить<sup>2</sup>.

Щербатов, гораздо более образованный, чем многие его современники-дворяне, оказался несозвучным эпохе, выглядел в среде российской аристократии инородным телом, «чужим» среди «своих»:

На то ли человек на свете сем родился,  
Чтоб сам, страшася всех, противен был он всем?  
На то ль умом своим, с каким он предпочтился,  
Чтоб не полезен был он обществу ни в чем?

Страдая от духовного одиночества («Зачем творец ему даровал сер[д]це нежно»), но и в равной мере от того, что многие его идеи так и не нашли достойного отклика, а естественная для интеллектуала потребность в адекватной оценке оставалась неудовлетворенной, Щербатов справедливо полагал, что человек не должен и не способен жить изолированно от других:

Затем имеет он над протчими скотами  
Дар, что может он свою мысль изъяснять,  
И видом он своим и ясными словами  
Подобнаго себе на помочь к себе звать...  
...Когда живя один, закрыл к сему кто дверь,  
Глагола б я лишил, естлиб то в моей воле,  
Не столь то человек, столь есть он дикой зверь...<sup>3</sup>

В условиях, когда обращение к реальным собеседникам не находило должного отклика и понимания, российский мыслитель был вынужден вступать в воображаемый диалог с возможными единомышленниками, персонажами различных исторических эпох<sup>4</sup>, вы-

<sup>2</sup> Щербатов М. М. Уединенну жизнь хоть многие хвалили // Щербатов М. М. Неизданные сочинения. М., 1935. С. 172. Ср.: «Сия, как я уповаю, есть вещь неоспоримая, что человек сотворен для сообщества; наш собственной разсудок, скука наша быть одним, и удовольствие, которое чувствуем быть с людьми». Он же. О надобности и пользе градских законов // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. 1759. № 7. С. 37.

<sup>3</sup> Щербатов М. М. Уединенну жизнь... С. 172.

<sup>4</sup> Такой вид коммуникации можно назвать темпоральным. — О разновидностях интеллектуальных коммуникаций см.: Артемьева Т. В. Интеллектуальная коммуникация и кросс-культурная компаративистика // Философский век. 2006. Вып. 32. Ч. 2. С. 320-323.

страивая тем самым собственное интеллектуальное коммуникативное сообщество. Этот прием был воплощен в тексте «Разговора о бессмертии души»<sup>5</sup>, публицистическом произведении, написанном в 1788 г., т. е. за два года до смерти Щербатова.

Закамуфлированный под философско-отвлеченное сочинение-притчу трактат служил автору не только средством трансляции собственных аксиологических представлений, но и имел острую политическую направленность. При буквальном прочтении «Разговор...», в котором, по словам самого Щербатова, использовалась сюжетная линия платоновского «Федона», выглядит как беседа приговоренного к смерти А. Ф. Хрущова с охраняющим его «бывшим гвардии офицером» Н. Ф. Коковинским<sup>6</sup>. Однако круг персонажей не ограничивается только указанными в диалоге участниками. Он может быть расширен за счет других неназванных прямо фигур, которые входят в группу воображаемых коммуникантов Щербатова.

Прямые ассоциации легко прочитываются: Хрущов — confident возглавившего во времена Анны Иоанновны дворянский заговор А. П. Волынского<sup>7</sup>, автора «Генерального проекта о поправлении внутренних государственных дел», где нашла свое обоснование близкая самому Щербатову идея монархической власти, опирающейся на родовую аристократию<sup>8</sup>. Волынский хотел

---

<sup>5</sup> Щербатов М. М. Разговор о бессмертии души // Сочинения князя М. М. Щербатова. Т. 2. Статьи историко-политические и философские. СПб., 1898.

<sup>6</sup> Там же. Стлб. 312.

<sup>7</sup> Щербатов часто обращался к фигуре Волынского в своих работах, например: «мне случалось между записками Петра Великого найти один его указ, писанный к тогда бывшему в Астрахани Губернатору, Артемию Петровичу Волынскому, в котором сей Великий Государь, признаваясь, что вина из Астраханского винограда делать не можно, по крайней мере повелевает ему стараться, чтоб сидели французскую водку». Щербатов М. М. Статистика в рассуждении России. М., 1859. С. 23.

<sup>8</sup> Сословно-дворянские идеи, ярко выраженные у Волынского, «крепнут и достигают полного развития... и под пером таких дворянских публицистов, как кн. М. М. Щербатов». (Готье Ю. В. «Проект поправления государственных дел» Артемия Петровича Волынского // Дела и дни. 1922. Т. 3. С. 31.) Ср.: «Мысль о сотрудничестве правительства и общества был лозунгом движения верховников и шляхетства в 1730 г. Ее положили в основу своих проектов государственной реформы и Артемий Волынский и граф Никита Панин, ее

преобразовать российскую государственную структуру, «возвратить Сенату его прежнее положение и сократить сферу действия Кабинета», основать в России школы и училища, повысить образовательный уровень администрации, в том числе и провинциальной<sup>9</sup>. Волынский и его сподвижники были казнены за свои убеждения. По мнению Щербатова, хорошо знакомого с «делом Волынского»<sup>10</sup> благодаря доступу к императорским архивам, конфиденты стали жертвами «бионовщины», и их «поносная смерть» была несчастием, а не преступлением<sup>11</sup>.

Взятый за основу «Разговора...» платоновский «Федон», повествующий о смерти Сократа («Хрущов сей в таких же обстоятельствах находился, как и Сократ»<sup>12</sup>), создает коммуникативную линию, ведущую от современной Щербатову действительности к греко-римской традиции. В XVIII веке в российской интеллектуальной культуре шел процесс рецепции античного наследия, которое, в условиях модернизации, должно было способствовать становлению европейской идентичности<sup>13</sup>. По мысли Т. А. Сабуровой,

---

высказывал в своих политических мечтаниях и блестящий публицист екатерининской эпохи... князь Щербатов». (*Вознесенский С.* Городские депутатские наказы в екатерининскую комиссию 1767 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1909. № XII. Отд. II. С. 250-251).

<sup>9</sup> *Готье Ю. В.* Указ. соч. С. 28. О политической программе Волынского см. также: *Корсаков Д. А.* Артемий Петрович Волынский и его «конфиденты» (По поводу сооружения памятника на могиле А. П. Волынского, А. Ф. Хрущова и П. М. Еропкина, имеющего быть 27-го июня 1885 г.). Казань, 1885. С. 21-24.

<sup>10</sup> О «деле Волынского», кроме указанного см.: *Вейдемейер А.* Обзор главнейших происшествий в России, с кончины Петра Великого до вступления на престол Елисаветы Петровны. Ч. 2. СПб., 1848. С. 75-78; Письмо маркиза де-ла-Шетарди из Петербурга (4 апр. 1740 г.) // Маркиз де-ла-Шетарди в России. СПб., 1862. С. 10-11, 67-69; *Корсаков Д. А.* Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1861; *Плотников А. Б.* Ограничение самодержавия в России в 1730 г.: идеи и формы // Вопросы истории. 2001. № 1. С. 60-69; *Петрухинцев Н. Н.* Дворцовые интриги 1730-х годов и «дело» А. П. Волынского // Вопросы истории. 2006. № 4. С. 30-41; *Новикова О. Э.* Липсий в России первой половины XVIII века // Философский век. Альманах. Вып. 10. С. 155-158 и др.

<sup>11</sup> *Щербатов М. М.* Разговор о бессмертии души. Стлб. 311.

<sup>12</sup> Там же. Стлб. 312.

<sup>13</sup> «Ведь Эллада и Рим, — писал П. Н. Черняев — колыбель наших знаний... как отец всегда с удовольствием подходит к колыбели ребенка и с жад-

«актуализация античного компонента в русской культуре приводила к историзации темпоральных представлений и ... стирала временные границы между культурами, превращая античность во временной или современный элемент культуры»<sup>14</sup>.

Обращение Щербатова к образу Сократа, «также утверждающего бессмертие души»<sup>15</sup>, на наш взгляд, неслучайно<sup>16</sup>. Именно Сократ под влиянием современной ему политической действительности поставил вопрос о необходимости нравственного совершенства общества, о взаимозависимости индивидуального и общественного интересов, ориентированных на важнейший вид добродетели — справедливость. По словам Платона, он «хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве»<sup>17</sup>. При этом Сократ, которого впоследствии считали идеалом мудреца, также оказался приговоренным к смерти из-за того, что не отрекся от своих взглядов. «Я удивляюсь, — читаем у Ксенофонта, — как же афиняне поверили, что Сократ неразумно мыслит о богах — Сократ, который никогда не сказал и не сделал ничего нечестивого, а, наоборот, говорил и поступал так, что всякий,

---

ным интересом следит за первыми попытками малютки ходить, так всегда будет интересно питомцу знаний знакомиться с первыми шагами материнской науки стать на ноги». — *Черняев П. Н.* Пути проникновения в Россию сведений об античном мире. Воронеж. 1911. С. 60.

<sup>14</sup> *Сабурова Т. А.* Модель мира русской интеллигенции XIX столетия // Диалог со временем. 2007. Вып. 18. С. 296.

<sup>15</sup> *Щербатов М. М.* Разговор о бессмертии души. Стлб. 341.

<sup>16</sup> Образ Сократа в российской интеллектуальной культуре XVIII века складывался постепенно, с момента появления первого «Сократического диалога» Ж. Верне в «Ежемесячных сочинениях» в 1755 г. Были напечатаны, часто в нескольких переводах, важнейшие для Европы произведения сократического цикла (Платона, Ксенофонта, Ф. Фенелона, М. Мендельсона), а также второстепенные, приобретавшие в России особое значение. Подробнее см.: *Костин А. А.* «Галантный» Сократ. К проблеме бытования образа исторической личности в русской литературе конца XVIII века // Русская литература. 2005. № 1. С. 92.

<sup>17</sup> *Платон.* Апология Сократа. 31e // *Платон.* Собрание сочинений / Пер. М. С. Соловьева. М., 2000. Т. 1. Подробнее см.: *Фролов Э. Д.* Платон и тирания // Интеллектуальная элита античного мира. Тезисы докладов научной конференции 8–9 ноября 1995 г. (<http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/confcent/1995-11/frolov.htm>) (июнь, 2008).

кто так говорит и поступает, был бы и считался бы благочестивым человеком»<sup>18</sup>. По утверждению Т. В. Артемьевой для Щербатова «существенным было не только то, что говорил философ на пороге смерти, но и то, кем мог быть Сократ в России»<sup>19</sup>.

Фамилия Хрущова, предваряющая каждую из его реплик в «Разговоре...», сокращалась до «Хр.». На наш взгляд, это достаточно прозрачная аллюзия на Христа (вспомним православную традицию сокращать под титулом слова, имеющие сакральное значение в текстах Священного Писания), тем более, что и сам Христос неоднократно упоминается в диалоге: «видели самого Иисуса Христа, слышали его учение»<sup>20</sup> и т. д. Христос символизирует человека, распятого по наущению толпы, но, как указывает Щербатов, «не взирая на суеверие и строгость начальств, по всюду крест стал победонесен; а наконец и кровию своею истину свидетельства своего запечатлели»<sup>21</sup>. Не стоит напоминать о том, что время изобличило порочность решения толпы, а добродетель Христа оказалась достойной вечного прославления. Автор «Разговора...» пишет, что «дело искупления рода человеческого, воплощение Сына Божия и Его страдания превосходят все понятия разума человеческого»<sup>22</sup>.

Бессмертие души у Щербатова главным образом связано с Сыном Божьим, судьей людских поступков, знающим об истинных помыслах человека. Для автора важно убедить читателя, что есть высшая справедливость, которая решает, чье поведение было верным на самом деле, вне зависимости от того, какое решение было принято людским судом. Самая главная проверка ожидает человека уже после его смерти («хотя они плотию и умерли, но в самом деле души их живы суть»<sup>23</sup>), а наказания за деяния могут быть вечны («в будущем вечное наказание за преступление человек претерпит»<sup>24</sup>).

<sup>18</sup> *Ксенофонт*. Воспоминание о Сократе I. I. 20 // *Ксенофонт Афинский*. Сократические сочинения / Пер. С. И. Соболевского. М. – Л., 1935. Переизд. СПб., 1993.

<sup>19</sup> *Артемьева Т. В.* Метафизические архетипы в русской культуре. «Русский Федон» // *История метафизики в России XVIII века*. СПб., 1996. С. 68.

<sup>20</sup> *Щербатов М. М.* Разговор о бессмертии души. Стлб. 355.

<sup>21</sup> Там же. Стлб. 356.

<sup>22</sup> Там же. Стлб. 353.

<sup>23</sup> Там же. Стлб. 339.

<sup>24</sup> Там же. Стлб. 340.

Поэтому именно Христос является ориентиром для нравственно совершенной личности.

Предполагается, что подбор участников-коммуникантов «Разговора...» неслучаен. Все они невинно пострадали от власти, были приговорены к смерти, твердо следовали собственным убеждениям и пытались, каждый по-своему, улучшить жизнь людей. Этих персонажей разных исторических эпох и культур объединяет и то, что они навсегда останутся славой всего человечества (слова Карамзина, сказанные о Сократе)<sup>25</sup>.

Анализ интертекстового пространства позволил по косвенным признакам выявить еще одного, незримого участника диалога, чье имя в тексте Щербатова вообще не упоминается. По нашему мнению, образ Сократа, выведенный Щербатовым в «Разговоре...», мало соответствует своему платоновскому прототипу, гораздо ближе к нему стоит Сократ «Меморабилии» Ксенофонта<sup>26</sup>. Говоря о становлении образа Сократа в эпоху Просвещения, исследователи отмечают трансформацию представлений о Сократе-философе в пользу Сократа-человека. Сократ-мудрец в XVIII в. — это, прежде всего, сторонник учения о едином Боге и бессмертии; не случайно самым востребованным диалогом Платона в это время становится «Федон», а самым распространенным сюжетом, связанным с Со-

---

<sup>25</sup> Карамзин Н. М. Избранные мысли и чувствования. Ч. 1–2. 1827. С. 10. («Сократ был славою не только Афин, но и всего человечества. Счастлив тот, кто о нем слезы проливает».)

<sup>26</sup> Как известно, основным источником сведений о Сократе являются сочинения двух его учеников — Платона и Ксенофонта. Как отмечает А. А. Костин, «разница между этими свидетельствами хорошо осознавалась в XVIII веке». (Костин А. А. «Галантный» Сократ. К проблеме бытования образа исторической личности в русской литературе конца XVIII века. С. 92.). О непосредственном знакомстве М. М. Щербатова с сочинениями Ксенофонта говорит список книг, которые хранились в его личной библиотеке. См.: Самарин А. Ю. Русские печатные книги в библиотеке князя М.М. Щербатова // Проблемы источниковедения истории книги. Вып. 3. М., 2000. С. 117-137. Добавим, что на «Киропедию» Ксенофонта Щербатов ссылается и в своей «Истории Российской» («Ксенофонт, весьма верной и сходственной с Священным Писанием писатель, ничего о сем не упоминает»). См.: Щербатов М. М. Сочинения князя М. М. Щербатова. История Российская от древнейших времен до разделения России после Ярослава. СПб., 1901. Стлб. 55.



кратом, — его смерть. На разных полюсах восприятия оказывается, с одной стороны, морализирующий Сократ, гражданин, а с другой — Сократ, проповедник истин, близких по духу рационалистическим религиозным исканиям XVIII века. В первом случае более актуальным источником был Ксенофонт, во втором — Платон<sup>27</sup>.

Проявленный в России XVIII века интерес к наследию Ксенофонта следует признать вполне обоснованным<sup>28</sup>. Мнившая себя просвещенной государыней Екатерина II искала своих предшественников среди прославленных героев древности. Основателя Персидской державы, главного героя ксенофоновой «Киропедии», легко было выдать за просвещенного монарха, пекущегося о благе государства и управляемого им народа<sup>29</sup>. Не случайно императрица «милостиво позволила» посвятить ей «Меморалии» Ксенофонта, переведенные Григорием Полетикою» (как раз они и находились в библиотеке Щербатова)<sup>30</sup>. Симптоматично, что отрывки из «Киропедии» («Арасп. Повесть, переведенная из Ксенофоновой Киропедии», и «Пантея. Продолжение Араспа из Ксенофоновой Киропедии») и «Воспоминаний о Сократе» Ксенофонта («Сократов

---

<sup>27</sup> Подробнее см.: *Костин А. А.* «Галантный» Сократ. С. 92. (с отсылками к литературе вопроса).

<sup>28</sup> В XVIII веке на русский язык были переведены следующие произведения Ксенофонта: Ксенофонт о достопамятных делах и разговорах Сократовых 4 кн. и Оправдание Сократа перед судиями, перев. с греч. Григорием Полетикой. СПб., 1762; Ксенофонт, философа и полководца славного историка о старшем Кире, основателе Персидской монархии, перев. с лат на рус. Григорием Полетикой. СПб., 1759; «Повесть о младшем Кире и о возвратном походе десяти тысяч Греков, перев. с фр. яз. Василием Тепловым». СПб., 1762. См.: *Черняев П. Н.* Следы знакомства русского общества с древнеклассической литературой в век Екатерины II. Материалы для истории классического образования в России в био-библиографических очерках его деятелей былого времени. Воронеж, 1906. С. 217.

<sup>29</sup> *Борухович В. Д.* Место «Киропедии» в истории греческой прозы // *Ксенофонт.* Сократические сочинения. Киропедия. М., 2003. С. 702. В той или иной мере эту версию подтверждает и название, данное академическому переводу этой работы: «Ксенофонт философа и полководца славного историка о старшем Кире, основателе Персидской монархии, с латинского на российский язык». СПб., 1759.

<sup>30</sup> *Борухович В. Д.* Место «Киропедии» в истории греческой прозы. С. 702-703 (с отсылками к литературе вопроса).

разговор о братской любви, переведено из Ксенофонта. Сократ и Херекрат» и «О детской должности против угрюмых родителей. Сократов разговор переведенный из Ксенофонта») печатались в «Сочинениях и переводах, к пользе и увеселению служащие»<sup>31</sup>, где с 1759 г. началась литературная деятельность самого Щербатова<sup>32</sup>.

Сократ у Ксенофонта — гармоничный, нравственно совершенный человек, личность, воплощающая идеал подлинного единства духовных и физических сил человека: «когда человек не оставляет в умах окружающих памяти о чем-то недостойном и тягостном, а увядает с телом здоровым и с душой, способной любить, разве возможно, чтобы он не возбуждал сожаления»<sup>33</sup>. С особой силой эти качества были показаны Ксенофонтом в сцене смерти Сократа, который «выказал силу духа: придя к убеждению, что умереть ему лучше, чем продолжать жить»; при этом «он как вообще не противился добру, так и перед смертью не выказал малодушия; напротив, радостно ожидал ее и свершил»<sup>34</sup>. Описанный Щербатовым, «безвинно умирающий» Хрущов — благородный и честный человек, «главнейшую надежду полагавший на Бога», стремившийся, как и Сократ, к чистоте своей души. При этом он, не порвавший связи с жизнью даже перед лицом смерти, хотя и умирал «без робости», пожелал сыну стараться «быть достойным любви и сожаления людского»<sup>35</sup>.

Помимо сходства идей, в «Разговоре...» обнаруживаются скрытые цитаты из Ксенофонта. Например: «вы видите очами, вкушаете языком, обоняете носом, слышите ушами, чувствуете всем телом»<sup>36</sup> и «зрелища волнуют посредством глаз, звуки через уши, запахи через ноздри, еда и напитки посредством рта, чувственные удовольствия — известно, посредством чего»<sup>37</sup>. В построе-

<sup>31</sup> См.: Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. 1761. Май. С. 560-569; июнь. С. 616-625; июль. С. 73-80; авг. С. 541-548.

<sup>32</sup> Дьяконов М. А. Выдающийся публицист XVIII в. // Вестник права. № 7. С. 1.

<sup>33</sup> Ксенофонт. Защита Сократа на суде 7 // Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения / Пер. С. И. Соболевского. СПб., 1993 (репринт).

<sup>34</sup> Там же. 33.

<sup>35</sup> Щербатов М. М. Разговор о бессмертии души... Стлб. 358.

<sup>36</sup> Там же. Стлб. 319.

<sup>37</sup> Xenophon. Hiero I, 4-7 / Ed. E.C. Marchant // Xenophontis opera omnia. Vol. 5. Oxford: Clarendon Press, 1920 (repr. 1969).

ниях Ксенофонта и Щербатова отражением совокупности земных дел и показателем того, какая память осталась о человеке, является душа. «Чтобы и ваше имя... в свете и по смерти вашей знаемо было»<sup>38</sup>, поэтому «ни один человек не может быть совершенно спокоен, если твердо не уверен в бессмертии души»<sup>39</sup>. К такой же необходимости хранить память о достойном человеке призывает умирающий Кир: «вам надлежит и к моей душе относиться с благоговением и выполнять мои просьбы»<sup>40</sup>.

Известно, что Щербатов не воспринимался ни современниками, ни потомками как полноценный историограф и литератор. Живя в переходную пору, он оказался маргиналом, ибо время «то академика, то героя, то мореплавателя, то плотника» уже закончилось, а либеральные реформы «властителя слабого и лукавого» еще только ожидали своего осуществления. Точно также и Ксенофонт (тоже живший в кризисную эпоху заката афинской демократии) позднейшей историографией был аттестован как поверхностный и неоригинальный автор, который «не был ни историком типа Фукидида, ни философом масштаба Платона, а его литературная деятельность снисходительно характеризовалась как занятие обычного "майора в отставке"»<sup>41</sup>. При этом упускалось из вида, что именно в Ксенофонте естественным образом сочетались качества склонного к рефлексии интеллектуала и практического деятеля. Эти качества не могли не импонировать Щербатову.

---

<sup>38</sup> Там же. Стлб. 333.

<sup>39</sup> Там же. Стлб. 318.

<sup>40</sup> *Ксенофонт*. Киропедия VIII, VII, 22 / Пер., ред. В. Г. Борухович, Э. Д. Фролов. 2-е изд. М., 1993. У Платона же душа является выражением божественной сущности совершенного человека: «что отойду, во-первых, к иным богам, мудрым и добрым, а во-вторых, к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на Земле». — *Платон*. Федон 63 b // *Платон*. Собр. соч. в 4-х томах / Пер. С. П. Маркиша. М., 1990–1994. Т. 2.

<sup>41</sup> *Фролов Э. Д.* Факел Прометея (очерки античной общественной мысли). Л., 1981. С. 303-304 (с отсылками к литературе). Ср.: «...можно счесть счастливой и печальной случайностью в литературе, что сочинение храброго солдата и спортсмена, юмориста и яркого выразителя пережитых приключений на войне и в мирное время, но не глубокого писателя, стали для нас источником истории философии». — *Гомперц Т.* Греческие мыслители. СПб., 1999. Т. 2. С. 125.

Обнаружение фигуры Ксенофонта в тексте «Разговора...» позволяет, на наш взгляд, переосмыслить параметры коммуникативной практики Щербатова, ориентирующейся на мировоззрение и эмоциональный строй личности. Российский мыслитель создает собственное воображаемое пространство, в котором особой значимостью наделяются проекты по формированию идеального государства (Волынский), общества (Сократ) и человека (Христос). При этом в «Разговоре...» образ самого «полузабытого писателя XVIII в.» присутствует, прежде всего, в виде «призрака» Ксенофонта. Щербатов проецирует жизненные коллизии своих «собеседников» на собственные переживания и судьбу<sup>42</sup>, однако личная драма автора «Разговора...» выглядит еще острее, ибо в отличие от них он не имел сподвижников и последователей (учеников, апостолов, конфиденентов).

Таким образом, осуществленная в «Разговоре о бессмертии души» кросскультурная коммуникация и сформированное интеллектуальное сообщество в виде незримой группы собеседников-единомышленников, позволили Щербатову актуализировать духовный опыт прошлого для решения вопросов современности.

---

<sup>42</sup> «Я видел над собою многие нещастия, был обманут щастием, претерпел в имениях своих ущерб; лишился своих ближних, которых не перестаю оплакивать». — *Щербатов М. М.* Письмо к вельможам правителям государства // Русская старина. 1872. Т. 5. С. 2.

# ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

---

*И. Н. Ионов*

## ИМПЕРСКАЯ / КОЛОНИАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В XVI – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Одной из важнейших тенденций в области исследований цивилизационных представлений и теорий последних лет является стремление выделить их из области историософии, обосновав возможность и пределы функционирования в рамках истории международных отношений, контактов и связей (International History, Transnational History, Beziehungsgechichte, Zivilisationsvergleich) направления, соответствующего дисциплинарным стандартам и требованиям исторической науки. Отчасти эта тенденция соотносится с решением тех проблем, которые отмечал в деятельности школы «Анналов» А. Я. Гуревич, когда стремился дистанцировать историко-социологическое направление в истории цивилизаций, которое возглавил Ф. Бродель, от дисциплинарно-исторического, представленного Л. Февром и М. Блоком<sup>1</sup>. Наиболее ярким представителем данного течения в области сравнительной истории цивилизаций является немецкий историк-китаист Юрген Остерхаммель, внимательно изучающий историю цивилизационных идей, стремящийся выделить в них научно-историческую, собственно когнитивную составляющую («по ту сторону догм и идеологий»), а также условия ее сохранения в междисциплинарных исследованиях, неизбежных при изучении цивилизационного сознания и сравнительной истории цивилизаций<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993. С. 125, 238, 254.

<sup>2</sup> Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001. S. 46.

Надо отметить, что предлагаемые им подходы существенно отличаются как от западных деконструктивистских, так и от доминирующих в современном отечественном знании сциентистских подходов, основанных на тех или иных вариантах классической, детерминистской парадигмы или на ее критике в рамках раннего релятивизма послевоенной эпохи<sup>3</sup>. Остерхаммель выстраивает некую новую разновидность сциентизма, который учитывает наличие в структуре цивилизационных представлений мощного пласта идентификационного знания, способного не только созидать новые смыслы, но и разрушать адекватные представления о прошлом, заменяя их спекулятивными схемами<sup>4</sup>. Контекстом для его рассуждений о соотношении научных и ненаучных компонентов в цивилизационных представлениях становятся как постколониальные теории начиная с Эдварда Вади Саида, вобравшие в себя опыт релятивизма и постмодернизма (стратегии деконструкции), так и критика самого Саида и в особенности его последователей («вульгарных саидистов») в рамках переосмысления целей и задач глобальной истории в конце XX – начале XXI в<sup>5</sup>.

Применительно к задачам изучения цивилизационных идей Ю. Остерхаммель выдвигает два важных положения, заставляющих во многом переосмыслить существующие подходы к предлагаемой теме. Во-первых, он считает, что имперский/колониальный дискурс в цивилизационных представлениях сформировался только на рубеже XVIII–XIX вв., а не в середине XVIII в. или даже ранее, как полагают отечественные или латиноамериканские историки<sup>6</sup>. По его мнению, это связано главным образом с ориенталистскими, эссенциалистскими взглядами романтиков (после И. Г. Гердера), которым ранее противостоял просвещенческий историзм, имевший (особенно в Шотландии, где формировался его английский вариант) космополитический, а не имперский характер<sup>7</sup>. Во-вторых, он

<sup>3</sup> Ср. одну из лучших: *Мчедлова М. М.* Вопросы цивилизации во французском обществознании. М., 1996.

<sup>4</sup> *Osterhammel J.* Die Entzauberung Asiens: Europa und asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert. München, 1998; *Iggers G.* Historiography from a Global Perspective // *History and Theory*. 2004. Vol. 43 (Feb.). P. 146.

<sup>5</sup> *Osterhammel J.* Geshichtswissenschaft jenseits ... S. 256-265.

<sup>6</sup> См.: *Ионов И. Н., Хачатурян В. М.* Теория цивилизаций от античности до конца XIX в. СПб., 2002. С. 120.

<sup>7</sup> *Osterhammel J.* Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats... 138.

считает, что ориенталистские, имперские спекуляции по поводу истории Востока доминировали в Европе (куда он включает и Россию) на протяжении всего XIX и значительной части XX в. Заслужой А. Дж. Тойнби поэтому объявляется переход от моноцентрической к полицентрической картине мира<sup>8</sup>. Таким образом результаты его *case studies*, ориентированных прежде всего на Англию и Германию, проецируются на весь европейский опыт. При этом, на мой взгляд, недооценивается роль французского колониального дискурса, а также работ Г. Рюккерта и в особенности Н. Я. Данилевского, общепризнанных в России. Вот почему существенные и во многом правомерные поправки к картине истории цивилизационных представлений, сделанные Ю. Остерхаммелем, нуждаются в анализе и осмыслении тем более, что составляют фундамент очень широкой исследовательской программы, находящей сторонников не только в Германии, но и США<sup>9</sup>.

### **Ранние формы имперского дискурса и ориентализма**

Поскольку объектом критики является прежде всего постколониальный дискурс, необходимо начать с характеристики взглядов его представителей, в частности аргентинского философа Энрике Дусселя, который связывал само появление Нового времени с открытием Америки в 1492 г. В результате, колонизируемая Америка становится своего рода «подземным миром», трансцендентальным, радикально дистанцируемым Иным для Европы, полем первых холокостов (15 млн истребленных индейцев и 13 млн африканских рабов). Смыслообразование как одно из проявлений процесса самоидентификации направляется по линии имперского самоутверждения и колониализма, низведения Иного до роли объекта деятельности. Идеологическим прикрытием служит прогрессизм эпохи Просвещения, в рамках которого создается утопическая, псевдогуманистическая версия истории, по которой варвар — это завтрашний цивилизованный человек, а раб — это будущий господин, но которая на деле способствует увековечиванию рабства (в форме капитализма)<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Ibid. S. 171.

<sup>9</sup> AHR Conversation: On Transnational History // American Historical Review. 2007. Vol. III. № 5. P. 1440-1466.

<sup>10</sup> Dussel E. The Underside of Modernity: Apel, Ricoeur, Rorty, Taylor and the Philosophy of Liberation. Atlantic Highlands, 1996. P. 2-3, 5, 50, 80, 164.

С точки зрения Э. Дусселя уже в середине XVI в. рождается имперская форма цивилизационных представлений, прототип которой он находит в состоявшемся в Вальядолиде в 1550 г. споре между Хуаном Гинесом де Сепульведой и Бартоломео де лас Касасом. Именно тогда впервые Сепульведа выдвинул идею о европейской культуре как наиболее развитой и высшей по отношению ко всем другим культурам; он предложил путь вывода других культур из варварства путем цивилизаторства; он рассматривал сопротивление цивилизаторскому процессу, связанное с недоразвитостью аборигенов, как законный повод применять насилие; он полностью оправдывал действия европейского завоевателя, для которого осуществление насилия, «справедливая война» является обязанностью, делом чести и доблести, а не поводом для ощущения вины; он провозглашал, что жертвы насилия в колониях сами несут полную ответственность за собственное истребление<sup>11</sup>. Так, по мнению Э. Дусселя, наряду с освободительным *рациональным* ядром философии эпохи Нового времени родился *иррациональный миф* о жертвах, которые завоеванные народы должны принести ради торжества прогресса<sup>12</sup>.

Надо сказать, что Ю. Остерхаммель отчасти прав, игнорируя этот вариант постколониального дискурса об идее цивилизации<sup>13</sup>. Дело в том, что в XVI в. победила (хотя бы на время) гуманистическая линия де лас Касаса, а не цивилизаторский пафос де Сепульведы. Индейцы были признаны подданными (вассалами) испанского короля. Лишь постепенно, под давлением колониального дворянства на короля положение изменялось, и образ индейца «трансцендентализировался». Но христианский универсализм и гуманизм оказывали сопротивление этому процессу. Для светского цивилизаторского идеала в условиях господства религиозной идеологии оставалось маловато места. Мифотворчество было сосредоточено прежде всего в области рассуждений о спасении души, а не о природе общества. К тому же в XVI в. христианство вступило в

---

<sup>11</sup> Это инвариант имперского мышления, который можно встретить и в китайской культуре. Ср.: Буров В. Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII в. Ван Гуань Шаня. М., 1976. С. 149-150.

<sup>12</sup> Dussel E. Op. cit. P. 52-53.

<sup>13</sup> Osterhammel J. Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaat... S. 193.



полосу кризиса, когда важно было искать культурных союзников, а не новых врагов. Поэтому испанская колониальная мифология XVI–XVII вв. была хотя бы отчасти ориентирована на диалог.

В этих условиях осуществлялся реальный диалог между испанцами и носителями индейских культур, составивший содержание книги Инки Гарсиласо де ла Вега «Подлинные комментарии, рассказывающие о происхождении инков» (1609). Как носителя индейской культуры, автора беспокоило не столько стремление испанцев противопоставить себя индейцам, сколько *неумение различать* собственную (христианскую) и индейскую культуру. Инка первым заметил, что многие испанцы при описании Перу руководствовались принципом сходства, а не различия, европеец «отбирал по своему вкусу и выбору то, что ему казалось наиболее похожим и близким к тому, о чем он хотел знать». В результате происходило неоправданное, мифологизированное сближение верований индейцев и христианства (в Америке находили идеи Крещения, Троицы, Бога Отца и т.п.). Но интеграция образа Иного в свой собственный являлась естественной предпосылкой диалога и позволяла возвышать индейские политические институты и обычаи. Город Куско, например, провозглашался в книге «вторым Римом», а правителей государства инков можно было фактически приравнять к испанскому монарху<sup>14</sup>. Тем самым создавался позитивный образ индейского общества, который был развернут в огромное историко-географическое исследование, позволившее Инке в частности воспроизвести жизнь поверженного и разрушенного государства Тауантинсуйю.

Однако надо отметить, что колониалистский дискурс уже в начале XVII в. обладал многими из тех особенностей, которые мы находим в развитом ориентализме XIX века. В центре рассуждений Инки Гарсиласо — соотношение «варварского» и «цивилизованного» (исп. — *político*). При этом понятие «варварский» негативно маркировано, оно связано с понятиями «зверский» и «скотский». Негативные оценки, характеризующие верования индейцев, порой переносятся и на их образ жизни, в частности на «неумение образовать у себя государство, чтобы в их жизнь пришли порядок и согласие» и недостаточно упорядоченную «форму жилищ и селе-

---

<sup>14</sup> *Инка Гарсиласо де ла Вега*. История государства инков. Л., 1974. С. 84, 9.

ний». Оценки, связанные с самоидентификацией автора с Испанией, тут замещают конкретное знание. И это не случайно. Инка чувствует себя человеком второго сорта, он постоянно ссылается на авторитет испанских историков, свое стремление служить христианскому государству, преданность «вечному величеству» Филиппу II. Центральный тезис: «не по силам индейцу брать на себя так много» прямо ставит Инку как индейца в позицию колониального «субалтерна», прошлое которого может существовать лишь постольку, поскольку оно встроено в великую историю христианской веры и Испанской империи<sup>15</sup>.

И несмотря на это Инка Гарсиласо для испанцев — все еще не тот трансцендентальный, «немыслимый Иной», которого Дуссель резко отличает от еще в значительной степени имманентного европейского Иного, о котором рассуждал в свое время Э. Левинас — т. е. варвар, нецивилизованный человек, которому радикально отказано в праве голоса. В конце концов, инка-полукровка Гомес Суарес де Фигероа, как звали автора в действительности, имел звание капитана его величества, а его книга была одобрена инквизицией<sup>16</sup>. Он скорее находился в ситуации транскulturации, межеумочности, множественной самоидентификации, хорошо охарактеризованной Маденой Тлостановой. При этом субалтерн сохранял за собой право голоса, право на культурную полигlossию и участие в культурном полилоге. Он как бы «циркулирует» между двумя культурами и двумя империями — существующей и ушедшей, но все еще пребывающей благодаря его культурной памяти и его свободному голосу<sup>17</sup>. И это происходит благодаря тому, что политические, общественные и культурные ценности в XVII в. все еще являлись подчиненными по отношению к религиозным и, сохраняя религиозную лояльность, можно было заявлять о своей культурной инаковости. Культура удовлетворяла свои идентификационные и мифотворческие потребности в области религии, а потому оставалось место для более или менее конкретного рассуждения о делах мирских.

<sup>15</sup> Там же. С. 36, 16, 86, 9, 12.

<sup>16</sup> Там же. С. 683; *Dussel E., Guillot D. E. Liberación latinoamericana* у Emmanuel Levinas. Buenos Aires, 1975. P. 21.

<sup>17</sup> *Тлостанова М. В. Постсоветская литература и эстетика транскulturации. Жить нигде, писать ниоткуда.* М., 2004. С. 6, 25, 380, 383.

Подобная же ситуация сложилась в XVII в. при взаимодействии европейских торговцев и миссионеров, с одной стороны, и Китая — с другой. Иезуиты, как и конкистадоры, искали следы библейской традиции в содержании китайских верований. Возникло течение “фигуралистов”, провозглашавшее универсальность человеческой культуры и доказывавшее, что китайцы получили свои священные знания непосредственно от сыновей Ноя, а китайские символы имеют христианский смысл (тождество совершенным царей и библейских патриархов, Яхве и Шанди, Дао и Христа, наличие догматов о Троице и непорочном зачатии в гексаграммах «Книги перемен»). В этом движении участвовали и китайцы, такие как Ли Чжи Цао, который перевел логику Аристотеля и Шао Фучжун<sup>18</sup>. На этой основе в Европе сложилось позитивное представление о китайской цивилизации, которое было во многом ключевым для эпохи Просвещения с ее идеалом просвещенной монархии. У. Темпл во второй половине XVII в. провозгласил Китай государством «развитым и цивилизованным» (framed and policed), своего рода воплощением «королевства разума»<sup>19</sup>.

В условиях относительного политического равновесия Востока и Запада шло бурное накопление фактических знаний о неевропейском мире, которые были объединены, как отмечает Ю. Остерхаммель, в созданной в Англии «Универсальной истории» (1736–1766). Она была написана с позиции религиозного самосознания и во многом отвечала предпросвещенческим идеалам. В ней еще не было видения истории как преемственного процесса развития. Однако и современные написанию этого труда первые проявления такого рода прогрессистских схем середины — второй половины XVIII в. Остерхаммель пытается ассоциировать с космополитической и универсалистской, т.е. неколониальной версией цивилизационных представлений. При этом он утверждает, что в «Истории Англии» Дэвида Юма (1754–1762) доминировала универсалистская версия идеи цивилизации, а четырехчленная

---

<sup>18</sup> *Covell R.* Confucius, the Buddha and Christ: A History of the Gospel in Chinese. N.Y., 1986; *Gernet J.* China and the Christian Impact: A Conflict of Cultures. Cambridge, 1985.

<sup>19</sup> *Crossley P. K.* History and Identity in Qing Imperial Ideology. Berkeley; Los Angeles; L., 1999. P. 276.

схема истории Адама Фергюсона, предложенная в книге «Опыт истории гражданского общества» (1767) (дикость–варварство–цивилизация–высокая цивилизованность) позволяла эффективно релятивизировать различия между культурами европейских и неевропейских стран и акцентировать динамический аспект исторического процесса в противовес противопоставлению европейских и неевропейских империй, метрополий и колоний<sup>20</sup>.

Действительно, согласно Фергюсону, экономический прогресс не связан с уровнем цивилизации, он «доступен и самой отсталой части» человечества, будучи воплощен уже в самых примитивных, практических изобретениях первобытного человека. Появление собственности в период «варварства» является, по его мнению, могучим импульсом прогресса. Оно порождает трудолюбие, «навык осуществления отдаленных целей, который составляет главное отличие цивилизованных наций»<sup>21</sup>. Но вместе с тем теория прогресса не исчерпывала исторические взгляды философа. Он указывает (особенно в книге «Основания моральных и политических наук», 1792) и на тенденцию к деградации ряда обществ, в частности, государств Востока. Поэтому Фергюсон отрицает право Китая и Индии на звание цивилизации, так как обладая «коммерческой активностью и эффективной администрацией», они не имеют свободных политических институтов и являются поэтому деспотиями, ибо только там, «где имеются свободные политические институты, и есть цивилизация». Он провозгласил эти страны «прибежищами невежества и варварства»<sup>22</sup>. И в этом контексте смысл понятия «варварство» был очень далек от того идиллического и пасторального, который чудился Ю. Остерхаммелю в других его работах.

Дело в том, что во времена Фергюсона, т. е. в середине XVIII в., религиозная идентификация постепенно замещается светской (или совмещается с ней), религиозное мифотворчество пере-

---

<sup>20</sup> *Osterhammel J.* Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaat... S. 136.

<sup>21</sup> *Фергюсон А.* Опыт истории гражданского общества. М., 2000. С. 136-139, 142, 158-160, 164; *Ренев Е. Г.* Концепция цивилизации в философии истории Шотландского Просвещения // *Цивилизации* / Отв. ред. М. А. Барг. Вып. 2. М., 1993. С. 227.

<sup>22</sup> Цит. по: *Ренев Е. Г.* Указ. соч. С. 228.

стает быть актуальным, и опорой самоидентификации служат рассуждения о светских феноменах: обществе, цивилизации, культуре, экономике, политике. Именно они служат предметом сакрализации и мифологизации. Выкристаллизовываясь из рыхлых метафор в условиях социально-политических и познавательных кризисов, сопровождавших ранний период модернизации, эти понятия сразу же нагружаются идентификационными смыслами. И в дальнейшем они сохраняют дух бинарных оппозиций, в рамках которых они сформировались (типа “цивилизация–варварство”). Хотя критический дух эпохи Просвещения ставил возникающие понятия в новые, собственно познавательные контексты, идентификационная и когнитивная функция долгое время реализовались параллельно. А вера в прогресс предполагает не только образ варварства как его стадии, но и антиидеал варварства как *отрицания* всякого прогресса.

Ряд мыслителей XX века предлагал различные способы анализа содержания подобных понятий и стратегий историописания, которые нельзя объяснить сциентистски (а порой и с точки зрения когнитивных задач). К этим стратегиям в наибольшей степени применимо введенное Х. Уайтом представление о ключевом значении литературных жанров и других языковых форм в историописании. Надо отметить, что Уайт изначально считал, что его схема доконцептуальных префигуративных форм действительна прежде всего в ситуации формирующегося и торжествующего имперского, колониального дискурса «посредством которого задним числом доказывается предполагаемое превосходство современного (западного. — *И. И.*) индустриального общества»<sup>23</sup>. В современных терминах, речь шла об ориенталистском дискурсе, хотя это понятие появилось только через пять лет. Уайт одним из первых подчеркнул идентификационное значение прогрессистских моделей и то, что «архетипическая схема Сатиры есть точная противоположность Романтической драмы искупления»<sup>24</sup>. Он же предположил возможность сочетания в трудах отдельных историков принципиально различных префигуративных стратегий<sup>25</sup>. С точки зрения теории

---

<sup>23</sup> Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. С. 51, 23.

<sup>24</sup> Там же. С. 28.

<sup>25</sup> Там же. С. 50.

Уайта, Остерхаммель выделяет в историописании Юма и Фергюсона только романтическую (или комическую) составляющие («триумф добра над злом» в мире) и игнорирует дополняющий их «сатирический» (или трагический) дискурс («драма обреченности... удел Падения» Востока)<sup>26</sup>. А ведь именно эта инверсия смыслов задает то «диалектическое напряжение», то разнообразие сублимированных в префигурируемом образе «мифологических архетипов», на котором держится исторический сюжет<sup>27</sup>.

Жиль Делез связывал процесс смыслообразования с возникновением глаголов в инфинитивной форме. Яркими примерами такого рода слов являются понятия *to civilize*, *to polish*, *civiliser*, *policer*, *éclairer* и их аналоги. Особенность подобных идей как «событий» Делез видел в их несимметричности, свойстве связывать две серии, быть «неравновесным по отношению к самому себе»<sup>28</sup>. В глаголах и отглагольных прилагательных это свойство скрыто, но как только понятие «цивилизация» начинает принимать форму существительного, принадлежность к разным сериям тут же выходит на первый план. Поэтому наличие сразу двух — универсалистской и имперской/колониальной — смысловых составляющих действительно трудно различить в терминологии А. Фергюсона, где понятие цивилизация (*civilisation*) еще дистанцировано от общественного идеала *polished* или *polite society* и используется как техническое (в отличие от французских исторических теорий). Ориенталистская смысловая составляющая существует в виде абсурдного, по видимости разрушающего целостность теории, но необходимого дополнения к универсалистской. В чисто когнитивном плане это можно рассматривать как проявление мультиперспективизации, усложнения моделей познания, но надо иметь в виду и замечание мифолога Э. Я. Режабека, который указывал, что это еще и свойство самопротиворечивых мифологических моделей<sup>29</sup>. Таким образом, ориенталистские эссенциализм и мифотворчество — следствия внесения сакральных элементов (идея прогресса) в секулярные моде-

---

<sup>26</sup> Там же. С. 28.

<sup>27</sup> Там же. С. 28, 51.

<sup>28</sup> Делез Ж. Логика смысла. Фуко М. *Theatrum Philosophicum*. М.; Екатеринбург, 1998. С. 97.

<sup>29</sup> Режабек Е. Я. Мифомышление. Когнитивный анализ. М., 2003. С. 267-268.

ли истории, а также экспансии процесса мифологизации за пределы религиозных тем.

Поэтому “просвещенный космополитизм” шотландских философов не противостоял имперскому сознанию, как думает Ю. Остерхаммель<sup>30</sup>, а являлся его “парадной” стороной, за которой скрывалась «темная, обратная сторона, необходимая для равновесного существования и успешного воспроизводства культуры», которая, как пишет М. В. Тлостанова, помогает «определить норму, выступая негативной точкой отсчета и рождая стратегии исключения и противостояния»<sup>31</sup>. Пасторальное восприятие состояния дикости у шотландцев не распространялось на создаваемые ими образы народов, оказывающих сопротивление Британской империи. Пока китайцы не препятствовали торговле англичан, их описывали как цивилизованный народ, но как только Китай стал противиться торговой экспансии, он утратил статус “равного” и приобрел статус отвратительного “Иного”. Подобным же образом в «Истории Англии» Д. Юма рассматривались восставшие ирландцы. «С ними обращались как с дикими зверями, которыми они стали», — писал Юм, раскрывая механику смены отношения к инородцам в рамках “просвещенного космополитизма”<sup>32</sup>. Ю. Остерхаммель приводит эту цитату в качестве «контр-примера»<sup>33</sup>, но недооценивает ее значение, так как она перечеркивает его образ шотландской истории философии, которую он пытается сблизить с немецкой.

Надо видеть, с каким пренебрежением А. Фергюсон писал еще в 1767 г. о «варварских и развращенных странах», таких как Россия и Китай, как он удивлялся, что даже там, на краю света, люди «считали себя обладателями всевозможных национальных достоинств»<sup>34</sup>. Его единомышленник А. Смит, описывая в 1776 г. со-

<sup>30</sup> *Osterhammel J.* Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaat... S. 138.

<sup>31</sup> *Тлостанова М. В.* Указ. соч. С. 22.

<sup>32</sup> *Hume D.* History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688. Indianapolis, 1983. Vol. 4. P. 311.

<sup>33</sup> *Osterhammel J.* Geshichtswissenschaft jenseits des Nationalstaat... S. 146. Ср. представление А. Койре о “контр-смысле”. См. *Делез Ж., Фуко М.* Указ. соч. С. 101.

<sup>34</sup> *Фергюсон А.* Указ. соч. С. 57, 295. Вместе с тем он первым разгадал загадку самоидентификации, ее разлагающее влияние на познание. Он

стояние экономики доколумбовой Америки, отмечал: «В искусствах, в сельском хозяйстве и в торговле их жители были куда невежественнее, чем украинские татары в настоящее время». Эту характерную для многих писателей того времени небрежность в этнонимах современный постколониальный исследователь Л. Вульф считает важным свидетельством негативной маркировки сравниваемого объекта как маловажного, периферийного, функционирующего скорее в качестве точки отсчета, а не объекта подлинного интереса. «“Украинские татары” стали для него символом крайней отсталости в Европе...», — пишет Вульф<sup>35</sup>.

Вульф связывает это с проявлением в Европе XVIII века дискурса власти-знания, того самого имперского/колониального дискурса, о котором пишет Э. Дуссель и наличие которого в шотландском Просвещении пытается отрицать Ю. Остерхаммель. Вульф характеризует его как «ненавязчивое приглашение к завоеванию»<sup>36</sup>. И здесь можно различить даже не два слоя инаковости, как Дуссель, а три. Первый — это Иной внутри Западной Европы, следующей путем прогресса (француз для англичанина, немец для француза); второй — это Иной Восточной Европы с его «неподлинной», «лицемерной» цивилизацией. Здесь за модными нарядами знати можно углядеть «полчища гуннов, скифов, венедов, славян и сарматов». Третий — это трансцендентальный Иной Латинской Америки, Африки и Азии, полностью выпавший из поля цивилизации<sup>37</sup>. Смысл власти-знания проявляется в том, что ее объектом можно более или менее произвольно *манипулировать*. Чем дальше предмет рассмотрения от идеала, тем легче такие манипуляции. Характерный пример подобных познавательных игр — это перемещение того или иного народа в префигуративно задаваемой иерархии, придание ирландцам, китайцам или индусам статуса нецивилизованного народа или даже “диких зверей”. Просвещенческий историзм не мешает в данном случае проявлениям эссенциализма, в ко-

---

писал: «Даже самая варварская и развращенная страна примет его на свой счет, а противоположным определением будет награждать тех, кого сочтет неприятными и не похожими на себя». (Там же. С. 299).

<sup>35</sup> Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 400.

<sup>36</sup> Там же. С. 39, 525.

<sup>37</sup> Там же. С. 423.



торых Остерхаммель видит главную опору ориентализма. Телеологический вариант историзма применяется факультативно. В результате манипуляций подрывается статус Востока как имеющего историю, он деисторизируется, его облик затушевывается. Изменяется и способ припоминания истории этого народа, подвергаются критике исторические концепции, основанные на ином положении народа в цивилизационной иерархии<sup>38</sup>. В географии и историописании начинают преобладать схематика, жесткие аподиктические (непроблематизируемые) образы. Важным методологическим условием реализации этой программы являются претензии на истинность, объективизм и детерминизм классического варианта научного знания. Именно они являются опорами эссенциализма.

Такого рода отношение к предметам исторического исследования, манипулирование образами можно найти даже у ранних «ориенталистов». Недаром Л. Вульф назвал Вольтера «Кортесом Восточной Европы», связывая образ философа с архетипом завоевателя-колонизатора<sup>39</sup>. Манипулятивность репрезентативной стратегии Вольтера видна из его описаний ислама и жизни пророка Мохаммеда. Иранский исследователь А. Хадиди показал, что образ пророка мог включаться им в три различных исторических нарратива. Сначала (1727–1742) Вольтер рисовал Мохаммеда как религиозного фанатика и бессовестного политика, который предавал своих последователей. Потом (1742–1750) он нашел в мусульманстве пример «чистого теизма», естественной религии, прямо противостоящей суеверию и фанатизму. Его идеалом стала Османская империя, где люди различных конфессий жили в мире, а Мохаммед ставился на один уровень с Кромвелем и даже выше. Но в конце жизни (1755–1772) Вольтер увлекся Россией, которая в то время воевала с Османской империей — и вот уже Мохаммед оказывается противником Просвещения и Европы. То он «самый преступный из тиранов», то «завоеватель, законодатель, монарх и верховный жрец, сыгравший величайшую роль... в мире», то создатель разбойничьей империи, которую европейцы должны разрушить<sup>40</sup>. Раз-

<sup>38</sup> Характерны в этом смысле критика «фигурализма» во Франции 1720–1730 гг. и критика Г. Т. Боклем идей Ж. Б. Боссюэ.

<sup>39</sup> *Нойманн И. Б.* Использование другого. Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004. С. 119.

<sup>40</sup> *Hadidi D.* Voltaire et Islam. Paris, 1974. P. 21, 51, 107, 228.

витый ориентализм отличался от вольтеровского только тем, что там явно преобладала тенденция к негативизации образов.

Еще раз подчеркну, что универсализм и имперский дискурс в этих концепциях не противостоят, а взаимно дополняют друг друга и могут субъективно не рассматриваться как противоречие. Ведь универсализм является позитивным полюсом самоидентификации, а нетерпимость — ее негативным полюсом. Изнутри концепции их сравнение невозможно.

Особенно заметно такое двоение (почти двоемыслие) в работах французского мыслителя Николя Антуана Буланже (1722–1759). В одной из опубликованных после его смерти книг «Древность в свете ее обычаев» (1766) он проявил себя как последовательный универсалист, дистанцировав идеал цивилизации от идеала империи (*sage police — civilisation*)<sup>41</sup>. Но в другой книге, вызвавшей гораздо больший интерес и вскоре переведенной на английский язык, «Изыскания о происхождении восточного деспотизма» (1761, 1764) Буланже логически вывел имперские представления о мире из либерального идеала свободы. Выдвинув этот идеал как основу самоидентификации, мыслитель задался вопросом, почему «человеческий род в значительной своей части и на долгое время отказывается от самого прекрасного, самого великого, самого драгоценного дара (т. е. свободы. — *И. И.*), который он мог получить от природы, и отказывается от достоинства, которым он обязан своему творцу?». Не находя рационалистического и правового ответа на этот вопрос, Буланже позиционировал деспотизм как антиидеал, повреждение человеческой природы, отход от принципов разума и естественных законов, т. е. от идеала прогресса. Для него деспотизм был главным проявлением варварства, вторичным упрощением культуры и позорным провалом на пути человеческого общества<sup>42</sup>.

По его мнению, деспотизм не рождается в начале истории и потому его нельзя считать естественным проявлением человеческой природы. Напротив, в древности человечество наиболее активно в области познания, оно создает науку (прежде всего астрологию),

---

<sup>41</sup> *Boulanger N. A. L'Antiquité dévoilée par ses usages ou Examen critique des principales opinions, ceremonies et institutions religieuses et politiques des differens peuples de la terre. Amsterdam, 1766.*

<sup>42</sup> *Boulanger N. A. Recherches sur l'origine du despotisme oriental. Amsterdam, 1761. P. 3.*

естественную религию (единобожие) и естественное право. Даже в Африке деспотизм не имеет универсальной роли. Буланже возражал и против того, чтобы считать деспотизм изначально свойственным народам Америки и доказывал, что индейцы приняли власть европейцев только потому, что колонизаторам удалось запугать их своими пушками. Только так они смогли превратиться в богов и деспотов, помыкающих индейцами. Привычку и даже внутреннюю склонность к деспотическому правлению имели, по его мнению, только обитатели империй ацтеков и инков. Таким образом, колониальное правление европейцев рассматривалось им как деспотическое. Надо отметить, что пафос его книги в данном случае напоминает антиколониальный<sup>43</sup>.

Но реальные предпосылки для внеимперского, свободного существования имелись у неевропейских народов лишь в прошлом. Философ описывает это время как золотой век человечества. Остатки созданного тогда законодательства, написанного с позиций здравого смысла, он видит в некоторых установлениях китайцев и древних египтян, которые стяжали им славу мудрейших народов земли, а также этрусков, критян, фригийцев, евреев и перуанцев. Однако это естественное состояние было так же «почти естественно» изменено. Религиозные представления о верховной власти самого могущественного бога или о едином «Верховном существе» породили идею личной власти правителя и дали ей духовную санкцию<sup>44</sup>. В результате возникли мифы о битвах богов как олицетворения сил добра и зла. Отождествление правителя с силами добра способствовало моральному, а затем и религиозному оправданию его деятельности. Новые законы рассматривались как дар божественного вдохновения, сошедшего на правителя. Тем самым были подорваны первоначальные энергия и достоинство разума. Человека заставляли думать, что он не способен сам определять свое поведение. Деспотов прославляли в качестве богов, что предполагало их изображение в различных антропоморфных и животных формах. Так сформировалось идолопоклонничество. Храмы превратились в бойни, где забивали и жарили животных. Привычка к крови породила человеческие жертвоприношения. Прославление творца заменилось прославлением твари<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Ibid. P. 17.

<sup>44</sup> Ibid. P. 9.

<sup>45</sup> Ibid. P. 30-31, 35, 46, 53, 61-62.

В итоге теология отгородила массы от Бога и правителя. Народ превратился в толпу агрессивных варваров-идолопоклонников. Возникла религиозная и государственная вражда. «Каждый рассматривал своего Бога и своего Короля как единственного и истинного, каждый народ думал, что только он религиозен и любим Высшим существом». У китайцев и древних египтян, этрусков и перуанцев возникло двойное злоупотребление: злоупотребление правителей властью и злоупотребление народа свободой, что вызвало всеобщую деградацию<sup>46</sup>. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в Азии, где все государства скатились к деспотизму. Так логика самоидентификации ведет Буланже от универсалистского дискурса к формированию ориенталистского, колониального образа Азии и, отчасти, Америки. Либеральный по своей сути миф о прогрессистской древности человечества дополнялся ориенталистским мифом о его сегодняшнем застое. В результате образы Китая и Индии как культурных предшественников Европы архаизировались, выводились в “фон”; народы этих стран маркировались как обреченные на вырождение и деградацию<sup>47</sup>.

Надо отметить, что в данном случае мы имеем дело с чисто секулярной и либеральной *мифологией прогресса и застоя* как двух архетипов истории. Буланже был вольнодумцем и мечтал не о “христианской Европе”, а о “разумной Европе”. Он отказывал королевской власти в Божьем благословении, однако не находил политического идеала и в республике. Деспотия делает идола из правителя, демократия — из гражданина. Как в деспотии идеалом правителя является Бог, так и в республике — идеал гражданина (героя-полубога). Но люди живут не на небесах, а на Земле. Забывать об этом — значит отречься от разума, сеять предрассудки. Это неизбежно приводит к расплате. Поэтому республиканцы, как и жители теократий, даже сознательно стремясь к свободе, покою и счастью, получают рабство, неравенство и гражданские войны. Единственным политическим строем, ориентированным не на небесный идеал, а на земные реалии, на политический здравый смысл, философ считал «умеренную и гуманную» просвещенную монархию, которая наращивает свои силы исключительно от при-

---

<sup>46</sup> Ibid. P. 70.

<sup>47</sup> Ibid. P. 123-124.

роста знаний. Только в ее рамках возможна цивилизация как устройство общества, соразмерное возможностям человека<sup>48</sup>.

Таким образом, опираясь на универсализм (Европа не противопоставляется ни Африке, ни Америке как целому) и даже на руссоизм, Буланже формирует локалистский имперский идеал. Главная примета этого — перемещение образов народов Востока и частично — Америки из прогрессистского дискурса о древности в деградационно-застойный дискурс о современности, метафизическая характеристика народов Азии с квантором “все”, стремление писать не историю народов, а логически разворачивать собственные идеи (и неосознаваемые префигуративные модели), что свидетельствует о преимущественно идентификационной, примитивизирующей, а не когнитивной, конкретизирующей ориентации его труда. Полученный “усредненный образ” самых экономически развитых к тому времени стран мира — Китая и Индии, сравняться с которыми по объему мануфактурного производства Франция смогла лишь через 100 лет<sup>49</sup>, помогал Буланже негативно маркировать их и тем самым поднять собственную самооценку. Если Ж. Боден в XVI в. при помощи критики божественного характера власти короля создавал новые диверсифицированные образы империй арабов, турок, русских<sup>50</sup>, то Буланже на том же самом пути создавал непоблематизируемые, упрощенные образы «азиатских деспотий». Тем же путем прошел Ж. А. Н. Кондорсе, универсалистские представления которого о прогрессе дополнялись теорией предрассудков как причин вторичной варваризации, которую он применял к Китаю<sup>51</sup>. Так осуществлялось символическое, игровое присвоение Востока как Иного, которое сопровождало реальную вооруженную борьбу Англии и Франции за колониальные владения: Индию, Вест-Индию и Канаду.

---

<sup>48</sup> Ibid. P. 140-141, 143.

<sup>49</sup> *Kennedy P.* The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Glasgow, 1989. P. 190.

<sup>50</sup> *Боден Ж.* Метод легкого познания истории. М., 2000. С. 262.

<sup>51</sup> *Condorcet J.* Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'Esprit humaine. Paris, 1971. P. 114.

### Роль образа России в создании европейского колониального дискурса

Вызывает сомнение и то, что Ю. Остерхаммель стремится при написании сравнительной истории цивилизаций затушевать культурно-политическую границу внутри Европы, прежде всего между Западной и Восточной Европой, особенно Россией. По мнению И. Б. Нойманна, Россия играла для Европы роль конституирующего Иного, принципиально не укладывавшегося в классификации и осмысливавшегося двояко, то в качестве “варвара у ворот”, то в качестве “ученика”. Но важно отметить, что Россия была лишь предельным случаем; каждый новый имперский проект (прежде всего наполеоновский, но также гитлеровский) подвергал значительную часть Европы, на которую были направлены аппетиты завоевателя (Центральную Европу, Северную Европу) символической маргинализации, т. е. фактически частичной “ориентализации”<sup>52</sup>. Очень характерно уподобление России Мексике до прихода испанцев, а сибиряков — американским индейцам<sup>53</sup>. Восточная Европа и Россия в XVIII в. стали объектами вождлений Запада и уже к середине XIX в. они дали первые (хотя и противоречивые) примеры отповеди западному ориентализму, которые стали архитипическими, парадигмальными для всякого антиориентализма и оксидентализма<sup>54</sup>. Поэтому представлять европейский ориенталистский консенсус XIX века как незыблемый и однородный было бы неверно.

Типичные приемы “ориентализации” Восточной Европы Л. Вульф связывает с филологией и схематизацией. Так, Шарль де Пейссоннель, французский консул в Крыму в книге «Исторические и географические замечания о варварских народах, населяющих берега Дуная и Черного моря» (1765) структурировал карту народов Восточной Европы в виде концентрических окружностей. В центре находится Трансильвания и Венгрия, где говорят на языке «варваров Туркестана», затем следует полоса Молдавии и Валахии, где говорят на «разновидности латыни, засоренной смесью из всех

<sup>52</sup> Нойманн И. Б. Указ. соч. С. 153.

<sup>53</sup> Там же. С. 150, 504-506.

<sup>54</sup> В данном случае это понятие употребляется в смысле “негативные образы Запада, созданные на Востоке”. Ср.: *Occidentalism: Images of the West* / Ed. J. G. Carrier. Oxford, 1995.

варварских языков», и далее — зона славянских языков. Причем Пейсоннель полагал, что «нет более нужды обращать внимание на различное происхождение этих народов... их всех надлежит теперь считать славянами»<sup>55</sup>. На первый план, таким образом, выступает представление о границе варварства и цивилизации, которое очень ярко выразил американский ученый Джон Ледъярд. В 1788 г. он писал о своем возвращении в Западную Европу: «Я совершил скачок через великий барьер, разделяющий азиатские и европейские нравы; скачок от раболепия, праздности, нечистоплотности, тщеславия, бесчестности, подозрительности, трусости, мошенничества, скрытности, невежества, низости... к... деятельному трудолюбию, искренности, чистоплотности, обильной еде, хорошим манерам, любезному вниманию, твердости, разумности, бодрости, а главное — честности, которой я, поверьте, не встречал ни в одном человеке с тех пор как отправился от Балтики на восток и на север»<sup>56</sup>.

На эти нападки стремились дать ответ панслависты, в частности Я. Коллар, Т. Шафарик, А. Ф. Гильфердинг, Ю. И. Венелин. Русский славянофил А. С. Хомяков в 1830–1850-х гг. опознал европейский ориенталистский дискурс применительно к славянам как *колониальный*. Он ясно чувствовал *отчуждение*, порождаемое ориентализмом, уподоблял славян индийским париям, несущим «тяжелое иго презрения и рабства», у которых «стараятся землю вынуть... из-под ног»<sup>57</sup>. Хомяков резко выступил против схематизма в истории и *манипуляци* образами: «Германия страдает... системами, которые воссоздают весь мир из логического развития какой-нибудь произвольной догадки и питают благородное презрение к фактам»<sup>58</sup>. Он выступал против исключительности как принципа, несущего «односторонность и ложь»<sup>59</sup>.

Хомяков использовал неоднородность западной ориенталистской схемы и акцентировал связи славян с Восточным Ираном и Индией, которые филоориенталисты-романтики (например Ф. Шле-

<sup>55</sup> Нойманн И. Б. Указ. соч. С. 429.

<sup>56</sup> Там же. С. 512.

<sup>57</sup> Хомяков А. С. «Семирамида» (И<следование> и<стины> и<сторических> и<дей>") // Сочинения в двух томах. Т. 1. М., 1994. С. 59, 103.

<sup>58</sup> Там же. С. 446.

<sup>59</sup> Там же. С. 114.

гель) наделяли высоким авторитетом. Хомяков описал историю славянства как торгового и промышленного народа, опоры «древнего, общего просвещения», а значит и всемирной истории от самых ее истоков (именно славяне создавали имена богов, из их сказок родились древнегреческие мифы)<sup>60</sup>. Всеобщая история неполна, так как история славянства скрыта кельтами, римлянами и немцами, которые еще в древности поработили славянские народы. «Мир славянский погиб, сокрушенный дикарями лесов германских... Имя их обратилось в имя раба (servus, slavus)»<sup>61</sup>. А вся историческая слава досталась их поработителям, которым они передали «зародыши образованности», т. е. цивилизации. «Кельт и германец, так же как среднеазиатский турок, только и жил в городах, которые взял, да не догадался сжечь»<sup>62</sup>. Но дикари до конца не социализируемы (не соответствуют идеалу социальности), склонны к злопамятности, насилию и разрушению, их цивилизация несовершенная, «односторонняя»<sup>63</sup>. Поэтому она полна противоречиями и загнивает, так как не соответствует сакральной телеологии истории. «...Мертвенным покровом / Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок..., — предрекает Хомяков, — Услышь же глас судьбы, воспрянь в сиянье новом / Проснися, дремлющий Восток»<sup>64</sup>. Так Запад впервые сам стал объектом манипуляций, ему также досталась роль Иного.

Но антиориентализм российских почвенников был непоследовательным. Марк Бессин отмечает, что образ России в ее культуре сам двоился так же, как у западноевропейцев — образ Европы. Начиная с эпохи Петра I он был основан на бинарной модели, предполагающей сочетание двух долей страны — европейской и азиатской. Колонизированная Сибирь была российским Востоком, конструктом, помогающим имперской идентификации<sup>65</sup>. Особенно определенно имперскую/колониалистскую точку зрения в отношении Востока высказал Ф. М. Достоевский, который в «Дневнике писателя»

---

<sup>60</sup> Там же. С. 334.

<sup>61</sup> Там же. С. 352.

<sup>62</sup> Там же. С. 353, 345.

<sup>63</sup> Там же. С. 395, 387.

<sup>64</sup> Цит. по: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 162.

<sup>65</sup> Bassin M. Inventing Siberia: Visions of The Russian East in the Early XIX<sup>th</sup> Century // American Historical Review. 1991. Vol. 26. № 3. P. 767-770.



за 1881 г. писал: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, лишь бы началось движение». Нелишне будет напомнить, что именно тогда он говорил о «всеевропейском и всемирном... всечеловеческом» значении русского человека<sup>66</sup>.

Особенно резко оксидентализм и ориентализм столкнулись в концепции Н. Я. Данилевского. Он выступил против самых оснований ориентализма — против стремления представить европейскую историю как всечеловеческую, противопоставлений Запад / Восток и Европа / Неевропа, охарактеризовав их как «совершеннейший вздор». Он ярко продемонстрировал спекулятивный характер обобщений «философской географии» ориенталистов, произвольно объединявших Индию и Сибирь<sup>67</sup>. Но стремление к спекулятивным переполусовкам, схематизации и иерархизации при создании образов Иного осталось непреодоленным. В результате произошла механическая инверсия ценностного содержания европейских образов Европы и России. У Данилевского формируется последовательно оксиденталистский образ истории Европы как истории непрекращающегося насилия. Существенное место в нем занимает образ колониальной власти («охота за людьми, упаковка их в товар, выбрасывание десятками за борт, тяжелое рабство миллионов»)<sup>68</sup>. Оценка «загнивания» Запада смягчается (он переживает «время плодоношения», но Европа уже 150–200 лет как «вступила... на нисходящую сторону своего пути»)<sup>69</sup>. При этом десакрализация становится более радикальной. Она производится иным способом, чем у А. С. Хомякова, путем разделения «небесного» и «земного» векторов всемирной истории. Высшей, божественной телеологии истории соответствует лишь Россия, а Западу остается роль лидера десакрализованной, профанной истории<sup>70</sup>. Манипулятивная стратегия по отношению к образу Запада является сквозной характеристикой книги социолога.

<sup>66</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. М., 1984. Т. 27. С. 34, 147.

<sup>67</sup> Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 56-58, 71-90.

<sup>68</sup> Там же. С. 179-187. Цит. С. 185.

<sup>69</sup> Там же. С. 172.

<sup>70</sup> Там же. С. 509.

Правда, антиколониальные и универсалистские идеи Данилевского составляют исключение. Разрушение образа Европы как центра мира имело единственную цель — укрепление имперского образа России. Книга начинается дискурсом варварство / цивилизация (Турция / Россия), им продолжается (высоко оценивая культуру Китая, социолог провозглашает ее одряхлевшей, от которой «отлетел дух жизни») и им же завершается. Он более последовательный ориенталист, чем современные ему западноевропейские ученые. У Ф. Гизо каждая из цивилизаций воплощает достижения человечества хотя бы на одном направлении (религия, культура, политика). У Данилевского многие восточные цивилизации (египетская, китайская, вавилонская, индийская и иранская) не смогли полностью развить ни один из этих «разрядов деятельности»<sup>71</sup>. А ведь еще Ф. Шлегель приписывал индийской культуре высшую степень просвещенности. При этом роль мусульманства как посредника между античностью и Европой, носителя прогрессивного импульса развития цивилизации, признанная даже типичным колониальным мыслителем Г. Т. Боклем, полностью игнорируется Данилевским, который утверждал, что ислам — «необъяснимая историческая аномалия», что его роль «чисто негативная», так как он не готовит к принятию христианства, а препятствует ему. Порицая колониализм как таковой, Данилевский оправдывал агрессию России против «варварской» Османской империи тупиковым характером развития Востока<sup>72</sup>.

Фактически операции Данилевского с образами Иных закончились изменением соотношения «Я» и «мое Иное». Дискурс о цивилизации сохранил монологический характер (все идеи автор заимствовал без сносок). Прочие конфигурации Иных (особенно «трансцендентальное» Иное как объект колонизации) остались неприкосновенными.

Однако было бы неправильно подобно американскому исследователю Р. Мак-Мастеру в ориенталистском духе интерпретировать идеи Данилевского как «тоталитарные»<sup>73</sup>. Роль отечественного антиориентализма нельзя недооценивать. Более пристально взгля-

<sup>71</sup> Там же. С. 471-499, 508-509.

<sup>72</sup> Там же. С. 6, 316.

<sup>73</sup> MacMaster R. Danilevsky: A Russian Totalitarian Philosopher. Cambridge, 1967.

нуть на это течение заставляет тот факт, что Э. Левинас, заложивший основы представлений об Ином, диалоге и постколониальном мышлении — выходец из Российской империи, где он родился в Вильно в 1906 г. Его диалогическое мышление имеет истоками не только жизненный опыт предков, связанный с отверженным и преследуемым положением евреев в России с ее дискриминацией конфессий, но и, как отмечает И. Б. Нойманн, представления Ф. М. Достоевского, в частности рассуждения Алеши Карамазова, с которыми высказывания Левинаса «текстуально близки»<sup>74</sup>.

#### **Классический ориентализм и попытки его преодоления**

Классический ориентализм XIX века, как его понимал Э. Саид, сложился в Западной Европе (особенно в Англии и Франции) и представлял собой реакцию на немецкий филоориентализм, связанный в частности, с высокой оценкой древнеиндйской культуры и роль санскрита как истока индоевропейских языков. Своими корнями он уходит в работы Ф. Шлегеля, который изначально искал “высший романтизм” только в культуре древней Индии, но не в арабском мире<sup>75</sup>. В условиях создания и развития колониальных империй происходит масштабная дегуманизация европейского мышления. «Дескриптивный и текстуальный успех ориентализма был столь впечатляющим, что целые периоды в культурной, политической и социальной истории Востока считались всего лишь реакцией на деятельность Запада»<sup>76</sup>. Если ранний ориентализм только создавал спекулятивные схемы, то в XIX в. происходят процессы структурирования и переструктурирования больших массивов фактуального знания на основе ориенталистских принципов, которые получают возможность “верификации” в рамках позитивистского объективизма.

Важное место в истории ориентализма, по мнению Э. Саида, занимал историк религии и филолог, знаменитый автор «Жизни Иисуса» Эрнест Ренан, который перенес иерархические стратегии классификации *в недра* востоковедения. В частности, он создал асимметричную схему соотношения индоевропейских и семитских

<sup>74</sup> Нойманн И. Б. Указ. соч. С. 47-48.

<sup>75</sup> Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 153-154.

<sup>76</sup> Там же. С. 170.

языков как воспроизводящихся и невоспроизводящихся (т. е. живых в подлинном смысле слова и фактически мертвых). По его мнению, семитские языки — «нечто неорганическое, застывшее, полностью окостеневшее, неспособное к саморегенерации»<sup>77</sup>. Они ассоциируются у него с мертвой верой и мертвым историческим периодом. В конечном счете, в собственном смысле живыми оказываются исключительно европейские культуры, но поскольку они получают «право на жизнь» лишь в рамках данной схемы, они сами становятся конструктами и «творениями» филолога<sup>78</sup>. Важно подчеркнуть, что Ренан считал филологию «точной наукой об умственных объектах»<sup>79</sup>, а потому ставил свои рассуждения в основу представлений о цивилизации и знании как таковых.

Под воздействие этих идей даже на самом Востоке в конце XIX – начале XX в. распространилось мнение о том, что европейцы — умнейший народ в мире, а западная цивилизация облагодетельствовала все население Земли своими изобретениями. Считалось, что Европа — активная сила, субъект истории, а Восток — пассивный объект ее воздействия. Европейец — промышленник, творец, организатор, а человек Востока — только потребитель. Запад — воплощенная жизнь, Восток как бы застрял между жизнью и смертью. Все народы должны учиться у европейцев. Им нужно переосмыслить свою историю и признать Англию своей «духовной матерью», а Древнюю Грецию — «духовной бабушкой». В конечном счете, не только в России, но и во многих странах мира появилось стремление «сменить цивилизацию» и стать европейцами, восприняв все, что на Западе есть хорошего и плохого<sup>80</sup>.

Сопrotивление этой идеологии было разрозненным и непоследовательным. При этом надо подчеркнуть, что ни эссенциализм, ни даже расизм не препятствовали этой борьбе полностью, а порой и становились основанием для нее. Так, немецкий историк Г. Рюккерт в книге «Учебник мировой истории в органическом из-

---

<sup>77</sup> Там же. С. 228. Большим сюрпризом для Ренана была бы судьба иврита в XX в.

<sup>78</sup> Там же. С. 228-230.

<sup>79</sup> Там же. С. 206.

<sup>80</sup> Левин З. И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. XIX–XX вв. М., 1993. С. 28-30, 57-58, 74, 189.

ложении» (2 т., 1857), задолго до Н. Я. Данилевского, опираясь на идею раздельного происхождения человеческих рас, построил модель *культурного типа*, т.е. сущностно изолированного варианта культуры, развивающегося в соответствии со своим мировоззрением, а потому не сводимого ни к одному другому<sup>81</sup>. Они сосуществуют в вечности, а потому сравнивать их можно разве что по мере способности к распространению своего собственного мировоззрения<sup>82</sup>. «Всеобщая идея задачи человечества» определяется им совершенно по-гердеровски, как стремление к проявлению разными народами в разное время всех тех особенностей культуры, на которые они потенциально способны<sup>83</sup>. Время многовекторно, оно движется в разных направлениях. Поэтому европейская культура — «при всей ее эластичности, какую она уже приобрела и еще более приобретает... имеет лишь относительное или индивидуальное значение и... связана с самыми конкретными и материальными факторами»<sup>84</sup>. Поэтому возможно, что в будущем Европа как культурная индивидуальность погибнет, господство в христианском мире останется за славянами, а роль белой расы впоследствии займет желтая раса<sup>85</sup>.

Однако работа Рюккерта исключительно противоречива и многослойна. В ней есть место для общетеоретического обоснования космополитического универсализма во введении; в основном тексте разносторонне характеризуются различные культуры, в том числе восточные и российская, причем эти исторические характеристики не заданы напрямую ни универсалистской, ни ориенталистской метафизической схемой; в заключении в соответствии с принципами ориентализма выстраивается иерархия из культур, основанная на одном принципе (способность к прозелитизму), в результате чего полноценными оказываются лишь западный и российский культурные типы; и наконец, вся схема сводится к гегелевской антитезе природы и свободы, в результате чего даже российский вариант представляется маловероятным. Хотя можно

---

<sup>81</sup> Rückert H. Lehrbuch der Weltgeschichte in Organischer Darstellung. Leipzig, 1857. Bd. I. S. 96.

<sup>82</sup> Ibid. S. 95.

<sup>83</sup> Ibid. S. 28.

<sup>84</sup> Ibid. S. 93.

<sup>85</sup> Ibid. S. 94-95.

себе представить совмещение в одной работе универсального и локального, метафизического и конкретно-исторического дискурсов, что имеет обоснование в теории немецкого историзма, все же схема была слишком тяжелой, связанной с многократным манипулированием материалом и позицией историка, и оказалась еще менее известной на Западе, чем схема Н. Я. Данилевского.

Однако надо отметить, что Рюккерт, сведя, как и Данилевский, перестановки главным образом к перемене мест “Я” и “среднего Иного”, тем не менее ввел элементы диалогического дискурса, так как идеал будущего связывается у него не с обликом западной культуры, а с образом “ученика” или культурного преемника, каким выступает Россия. Тем самым диалектический дискурс, как его понимает И. Б. Нойманн (предполагающий снятие противоречия, логический диалог), стал сочетаться с диалогическим (предполагающим сохранение различия, феноменологический диалог)<sup>86</sup>. Причем надо отметить, что подобная точка зрения на Россию не была связана с традицией Просвещения. Ее обычно отстаивали немецкие консерваторы, использовавшие образ России для критики идеологически чуждого им понятия “цивилизация”<sup>87</sup>.

Взорвать изнутри ориенталистский дискурс в XIX – начале XX в. могло лишь разочарование в подобного рода играх и спекуляциях, переход от истинностных и эссенциалистских моделей к релятивистским. Такое разочарование могло быть порождено прежде всего кризисом западной колониальной политики, а также использованием манипуляторных стратегий европейских ученых для обоснования имперской политики стран Востока, которое делало их опасными для Запада. Такие события действительно имели место. Довольно скоро западный идеал цивилизации стал способствовать критическому переосмыслению собственных традиций в Азии, построению там универсалистских проектов, что сопровождалось ростом агрессивности и стремлением к реваншу. Особенно опасным было то, что инверсионные переполюсовки смыслов происходили очень быстро, так что ни политики, ни общественное мнение на Западе подчас не успевали на это прореагировать.

<sup>86</sup> Нойманн И. Б. Указ. соч. С. 27-28, 39-47.

<sup>87</sup> Заиченко О. В. Немецкая публицистика и формирование образа России в общественном мнении Германии в первой половине XIX в. Дисс... канд. ист. наук. М., 2004.

Наиболее резким переход от зависимого самоосмысления к самостоятельному был в Японии. Идеологи эпохи Мейдзи в 1860–1870-х гг. провозгласили политику “самоцивилизации” (которую можно рассматривать и как политику “самоколонизации”). Возникли попытки «перенять западную форму цивилизации». Министерство образования полагало, что блага государства можно добиться только тогда, когда «во все области жизни проникнет современная мировая цивилизация». Министр иностранных дел предлагал японцам «превратить нашу империю в империю европейского типа, наш народ — в народ европейского типа»<sup>88</sup>. Будущее обновленной Японии казалось прекрасным, а научный прогресс — движением к всеобщему счастью. Фукудзава Юкити называл Запад «удивительной сказкой о стране мечты» и описывал будущее человечества как время, когда произойдет синтез идей Конфуция и Ньютона. Тогда «все люди будут совмещать в себе качества этих обоих мудрецов, и счастье человеческого рода достигнет предела. Это и будет золотым веком мира»<sup>89</sup>.

Но уже с 1887 г. произошла переполюсовка смыслов, началась открытая реакция против европеизации, возникло “движение за возвращение к национальному”. В 1890 г. император провозгласил основой системы воспитания конфуцианские и синтоистские ценности гуманности, верности и почтительности<sup>90</sup>. Был провозглашен лозунг: «Восточная мораль — западная наука». Основой государства и экономики стали конфуцианский культ старшего (император — отец нации, предприятие — большая семья с главой, которого нужно не просто слушаться, но и почитать). На базе идей пангерманизма сформировалась паназиатская теория и политика распространения восточной цивилизации, моральные достоинства которой позволяют ей противостоять западной, обладающей лишь временным техническим превосходством. Началась критика западной культуры за высокомерие и расизм, гедонизм и бездумное от-

---

<sup>88</sup> *Jansen M. B.* Japan and its World. Two Centuries of Change. New Jersey, 1980. P. 69; *Тосака Д.* Японская идеология. М., 1982. С. 22.

<sup>89</sup> *Радуль-Затуловский Я. Б.* Конфуцианство и его распространение в Японии. М.; Л., 1947. С. 113; *Бугаева Д. П.* Японские публицисты конца XIX века. М., 1978. С. 85-87.

<sup>90</sup> *Jansen M. B.* Op. cit. P. 71.

ношение к будущему, праздность и индивидуализм. Авторитет Западной Европы рухнул; ее образ стал объектом манипуляций и символически снижался, вплоть до Второй мировой войны японцы предпочитали подражать скорее американцам<sup>91</sup>. Им были не чужды те самые ориенталистские эротические игры с образом Европы, которые вели с образом России Дж. Казанова и Д.А.Ф. де Сад, рисуя ее как страну доступных женщин, привычных к проявлениям разврата и насилия (вплоть до инцеста и людоедства), и которые Л. Вульф связывал со стремлением обладать ею<sup>92</sup>.

Имперская идеология Запада уже в начале XX в. получила имперский ответ Востока, который материализовался в форме победы Японии в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Она придала японскому опыту универсальную значимость, была воспринята колониальными народами как победа над европейской метрополией и стала сигналом к пробуждению Востока<sup>93</sup>. В Японии, а под ее влиянием и в других странах Востока развивался имперский монолог, из которого исключались западные либеральные идеалы. Он развертывался по стандартам оксидентализма, воспроизводившим манипулятивные стратегии раннего ориентализма. Агрессивность приписывалась исключительно европейской культуре. При этом создавались своего рода пародии на западные цивилизационные схемы (в частности, астрологическую схему перемещения центра цивилизации с Востока на Запад). В противовес ей японцы выдвигали концепцию продвижения центра цивилизации с Запада на Восток, из Европы в Японию. Все более отчетливо ставилась задача спасения всей человеческой цивилизации от пороков европейского общества.

Один из создателей идеологии “нового японизма”, историк Наито Конан писал: «Цивилизация распространяется от центра к периферии, которая со временем сама становится центром цивилизации. Так, ее центр с Ближнего Востока переместился в Западную Европу. На Дальнем Востоке очагом цивилизации был Китай, со временем им неизбежно станет Япония. А раз так, то ее планетарная миссия состоит в том, чтобы распространять уникальную япон-

<sup>91</sup> *Wilkinson E.* Japan versus the West. Image and Reality. L., 1991. P. 65, 75, 99; *Гришелева Л. Д.* Формирование японской национальной культуры (конец XVI – начало XX в.) М., 1986. С. 206-207.

<sup>92</sup> *Вульф Л.* Указ. соч. С. 100-113.

<sup>93</sup> *Левин З. И.* Указ. соч. С. 172-173.



скую культуру, которой суждено улучшить человечество. А поскольку ближайшим соседом Японии является Китай, постольку он и должен стать первым объектом ее культурной миссии<sup>94</sup>. Таким образом, цивилизационная теория становилась оправданием военной экспансии против Китая, а затем и против Запада. Фактически целью Японии провозглашалось создание единой универсальной цивилизации на основе конфуцианских и синтоистских ценностей. Но поскольку силы государства были невелики, оно стремилось к приобретению союзников на Востоке. Официальной политической целью Японии было освобождение Азии от западного империализма<sup>95</sup>.

Идеи ориентализма вызвали широкий отклик и дискуссии в странах ислама, прежде всего в Османской империи. Почвенническую, неоимперскую позицию в исламе отстаивал основатель панисламизма Джамаль ад-Дин аль-Афгани, который в 1879 г. резко дискутировал с главой индийских мусульман, колониальным историком Сейид Ахмад-ханом, автором книги «Причины индийского восстания» (1859). Аль-Афгани заявлял, что мусульманские страны должны развиваться на основе собственной веры и культуры, в условиях политической независимости, при гегемонии халифа — турецкого султана<sup>96</sup>. «Вера в истинность и совершенство своей религии, — писал аль-Афгани, — придает народу убежденность в том, что он более благороден, чем другие... Всех его представителей охватывает страстное желание превзойти прочие народы, утвердить свой приоритет в создании интеллектуальных и духовных ценностей. Эта вера делает народы более сильными в их стремлении приобщиться к цивилизации»<sup>97</sup>. Идея цивилизации была для него неразрывна с территориальной целостностью мира ислама. Он был убежден, что именно мусульманам «Бог предназначал быть повелителями человечества». Халифат как «Великий оборонительный союз» всех мусульман мира, инициатором создания которого являлся аль-Афгани, должен был включить земли Афганистана, Белуджистана, Кашгара, Яркенда, Бухару и Коканд<sup>98</sup>.

<sup>94</sup> Jansen M. B. Op. cit. P. 71.

<sup>95</sup> Левин З. И. Указ. соч. С. 172.

<sup>96</sup> Там же. С. 144-145.

<sup>97</sup> Jamal ed-Din al-Afghani. Réfutation des matérialistes. Paris, 1942. P. 90.

<sup>98</sup> Степаняц М. Т. Ислам в философской и общественной мысли Зарубежного Востока. М., 1974. С. 51, 52, 55.

Важное значение для развития диалога между Западом и Востоком в XIX в. имела дискуссия между аль-Афгани и Э. Ренаном. В 1883 г. Ренан прочел в Сорбонне лекцию, в которой, как всегда, критиковал “восточный деспотизм” и рисовал ислам как пагубное изобретение кочевников, призванное истребить рациональную культуру духа. Афгани в статье, опубликованной в “*Journal des débats*”, дал ему принципиальный ответ, доказывая функциональную роль религии в общественной жизни. Опираясь на идеи близких Ренану по духу французских романтиков, таких как Э. Кине, и привычный для него западный цивилизационный дискурс, Афгани указал, что хотя религия является «унижающим бременем» человечества, ее появление было оправдано, так как это «необходимая плата за освобождение от варварства»<sup>99</sup>. Без религии первобытные люди, неспособные отличить добро от зла и терзаемые страхом перед явлениями природы, не смогли бы приобрести духовные ориентиры, «подчиниться правилам и порядкам, которые представлялись как предписанные Верховным бытием»<sup>100</sup>. Развитие цивилизации Афгани представлял как борьбу религии и философии за освобождение человеческого разума. В этой борьбе против невежества и деспотизма потерпела поражение великая арабская цивилизация, которая осветила мир ослепительным блеском, но постепенно угасла, и арабы вновь погрузились во мрак тьмы. Однако полная и безвозвратная победа одной из противостоящих сил — догмы и деспотизма, свободы и вольномыслия — невозможна, так как человек несовершенен<sup>101</sup>.

Таким образом, границы западного представления о цивилизации расширились аль-Афгани для того, чтобы в них помещались представления о халифате и исламе. В условиях улучшения отношений между Западом и Османской империей после Крымской войны это означало перевод диалога между Западом и Востоком на уровень интересов великих держав — впервые с середины XVIII в. Неколониальный Восток, несмотря на ориенталистские манипуляции с его образом, постепенно вновь приобретал право голоса, место в диалоге, а значит и статус “своего Иного”, на который ранее могла претендовать лишь Россия. Ориенталистский дискурс размышлялся на уровне социальной теории и политической практики,

<sup>99</sup> *Jamal ed-Din al-Afghani*. Op. cit. P. 177.

<sup>100</sup> Ibid. P. 176.

<sup>101</sup> Ibid. P. 184.

хотя на уровне публицистики и общественного мнения он мог существовать еще десятилетиями.

\* \* \*

Поэтому я бы сказал, что критика Ю. Остерхаммелем постколониального дискурса чрезмерна. Диалог постколониальных и глобалистских идей сохраняет эвристический потенциал. Без анализа роли панславизма, панисламизма, пантюркизма, японской паназиаатской идеологии, являвшихся формами инверсии колониального дискурса, невозможно оценить состояние европейского ориенталистского дискурса.

И в заключение еще об одном. Кризис ориентализма в начале XX в. имел множество причин. Среди них — национально-освободительное движение, крах представлений о направленной эволюции, историзация антропологии и формирование основ неклассического знания (принципа дополнительности). Но за всеми этими факторами стоял возврат гуманизма, связанный с саморефлексией европейцев, которые все реже позволяли себе цивилизаторскую и объективаторскую “позицию Господа Бога” и манипулятивные стратегии с образами остального человечества. Две мировые войны обозначили приход эпохи ответственности, утвердившейся необратимо после появления ядерного оружия. В этих условиях классическое, истинностное социально-историческое знание, обслуживавшее нужды колониальных империй, оказалось не просто устаревшим, а братоубийственным и самоубийственным. “Вопрос не в том, *будет ли* Восток использоваться в создании новых европейских идентичностей, но в том, *как* это будет происходить», — пишет И. Б. Нойманн<sup>102</sup>. Снятие неопределенности при помощи спекулятивного “задания” условий игры возможно только в условиях обратимости политических действий. Тогда допустимо игровое отношение к реальности, манипуляции с образом соперника, а позитивная самоидентификация может обладать большей ценностью, чем конкретное знание. Но такая стратегия снятия неопределенности губительна, если результат политических действий необратим. И это уже проблема не только колониального, но и современного постколониального дискурса (особенно в его оксиденталистской форме, так прочно прижившейся в России).

---

<sup>102</sup> Нойманн И. Б. Указ. соч. С. 265.

В. Ю. АПРЫЩЕНКО

## ВЛАСТЬ СИМВОЛОВ ИЛИ СИМВОЛЫ ВЛАСТИ ШОТЛАНДИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Идея национальной принадлежности всегда представляла богатую почву для мифов и символов в силу того, что по своей природе она эмоциональна и экспрессивна, может выражаться во множестве метафор, которые сами по себе символичны и мифологичны. Этнические группы изначально определялись мифами об общей истории, общих предках, героях, о родстве — и все это воплощалось в зримых и дискурсивных символах. Особую роль процесс мифо- и символотворчества приобретает в эпоху, условно называемую нациестроительство, когда политические, геополитические и социокультурные процессы рождают или *перерождают* нации. Могущество символов на этом этапе объясняется тем, что в рамках мифо-символических комплексов они в равной степени имеют и когнитивную, и эмоциональную окраску, определяя место нации в окружающем политическом и культурном пространстве, ее врагов и друзей, прошлое и настоящее. В богатую социальными и национальными конфликтами эпоху нациестроительства, символы используются в противостоянии с теми группами, которые потенциально угрожают формирующейся нации, тем самым, разделяя на «своих» и «чужих» социокультурное пространство жизни национального коллектива, формируя его идентичность. Эта экстравертная направленность мифо-символического комплекса, ориентирующая нацию по горизонтали, сочетается с интровертной функцией, в которой национальная общность, используя временные категории, определяет себя по вертикали, формируя отношение настоящего с прошлым.

Важность национальных символов не только в том, что они фиксируют отношение людей к окружающему социокультурному пространству и отражают процесс конструирования идентичности, но и в том, что, будучи укорененными в мифе, они определяют выбор людей, и отношение нации к реальным процессам прошлого и

настоящего формируется согласно той ассоциации, которую вызывает символ. Этот факт является основанием для политики в области символов, позволяет использовать их в качестве орудия отстаивания интересов.

В свою очередь символы возникают в процессе развития мифа, который, будучи продуктом деятельности интеллектуальных и / или политических элит, наделяет смыслом какие-то события, определяет врагов и героев, хорошее и плохое. При этом символы придают мифу эмоциональную окраску, тем самым, предлагая его массам, которым он предназначен. В этом смысле миф, содержащий символы, является неотъемлемым элементом процесса нациестроительства в той же степени, как и частью любой культуры. Значение исторического факта редуцируется в процессе мифотворчества, и миф, воплощенный в символах, сам приобретает значение реальности.

Используя визуальную и нарративную природу символов, дискурс нации трансформировался из элитарных представлений и концепций в массовые идеи. В этом заключается еще одна функция национальных символов — посредством доступного языка знаков превратить элитарное в массовое, новое в традиционное, чужое в свое. И хотя символы, составляющие часть национального мифа, зачастую происходят именно из массовой культуры, необходимым условием их трансформации и обретения ими национального дискурса является интеллектуальная «редактура». Символы на время словно изымаются из массового использования и, пройдя процесс интеллектуальной обработки и адаптации, обретают новый смысл и значение.

Часто возвращение старых символов, которые неожиданно приобретают новый смысл, является следствием изменения самого контекста, из которого они были изъяты. Условия существования культуры, включая язык, ценности, институты, являются не просто важным составляющим жизни символов, но определяют значение собственного человеческого опыта. При этом взаимодействие языка, опыта, и исторических изменений, по мнению Генриетты Л. Мур, являются ядром, вокруг которого конструируется культура<sup>1</sup>. Очевидно, что соотношение этих же условий (включая персональный и общественный опыт, вырабатываемый интеллектуалами

---

<sup>1</sup> Moor H. L. *The Subject of Anthropology. Gender, Symbolism and Psychoanalysis*. Malden, 2007. P. 26.

язык) и историческая динамика становятся решающими в наделении значением символов. В этом смысле, символ никогда не является просто символом: во-первых, он отражает тот контекст, в котором существует, а во-вторых, всегда тесно связан с субъектом, воспринимающим символ. Особенно это важно, когда речь идет о динамичном и, порой, драматическом процессе нацистроительства, в ходе которого трансформируется и общество, включая его представление о самом себе, о собственном прошлом и настоящем, и этнические мифы, легитимирующие новую нацию, и символы, транслирующие национальную идею в широкие слои.

Для многих шотландцев первая половина XIX в. была периодом, когда терялось и уходило в прошлое то, с чем они привыкли ассоциировать шотландский характер и особенности шотландской нации. Три старинных института, которые оставила шотландцам англо-шотландская парламентская уния 1707 года, активно развиваясь на протяжении предшествующего столетия, составили основу институциональной шотландской идентичности. Но к началу XIX в. правовая, образовательная и церковная системы находились в кризисе. Многие юристы, такие как Кобурн или Джеффри, оценивая аналогичные общественные институты в Англии, характеризовали их как самые прогрессивные. В Северной Британии же система приходских школ была разрушена урбанизацией, что позволяло Джорджу Льюису сказать в 1834 г., что Шотландия представляет собой полуобразованную нацию. Церковь, пожалуй, главный институт идентичности, находилась на грани раскола, последовавшего в 1843 г., в ходе которого три шотландские церкви стали претендовать на то, чтобы называться истинными наследницами реформационной традиции<sup>2</sup>.

Шотландская элита вновь, как и столетие назад, впадала в пессимистические настроения по поводу будущего нации. Еще в день подписания англо-шотландского парламентского союза 1707 года граф Шеффилд, один из первых шотландских националистов, воскликнул, что уния означает «конец старой песни»<sup>3</sup>. Однако, это

---

<sup>2</sup> *Finlay R.* The Burns Cult and Scottish Identity in the Nineteenth and Twentieth Centuries // *Love and Liberty: Robert Burns: A Bicentenary Celebration* / Ed. by K. Simpson. Edinburgh, 1997. P. 70.

<sup>3</sup> *Scott P. H.* 1707: the Union of Scotland and England. Edinburgh, 1979.

мнение о смерти Шотландии оказалось преждевременным, и уже в середине XVIII в., Александр Карлайл, пресвитерианский священник, модератор и один из интеллектуальных лидеров шотландского Просвещения, говорит, что если шотландцы не смогут защитить от Лондона свое право на национальную милицию, то гордая нация станет провинцией и будет завоевана Королевством<sup>4</sup>. Но и после этого потомки первых борцов за шотландскую независимость, словно не желая отказывать себе в праве быть свидетелями ритуальной смерти шотландской истории, вновь и вновь провозглашают «последние дни Шотландии»: в 1792 г. Роберт Бернс опять прощается с «шотландской молвой», «древней славой», и самим «именем Шотландия», а по прошествии чуть более четверти столетия, уже в XIX в. еще один символ Шотландии — Вальтер Скотт — вновь поет прощальную песнь своей родной Шотландии и ее былой славе; на этот раз поводом стал банковский кризис, выразившийся в попытках уничтожить шотландскую кредитную систему. Подобно инициационному ритуалу, провозглашение шотландской смерти, должно было вновь и вновь возрождать нацию к жизни.

Всякий раз, когда вставал вопрос о притеснении шотландского суверенитета — будь то в экономической, церковной или образовательной сферах, борцы за шотландскую независимость апеллировали к прошлому, взывая к памяти предков и воскрешая былые мифы о свободолюбивой шотландской нации. Использование прошлого в качестве мифа, а, точнее, мифологизация исторической памяти не являются открытием или достижением шотландских борцов за национальную независимость. В равной степени очевидно и то, что акцент на различиях английской и шотландской культур стал традиционным уже в эпоху англо-шотландских войн за независимость XIV и XV вв., когда порой казалось, что южные соседи готовы поглотить Шотландию, стерев из памяти само ее имя.

Однако к XIX в. успешное развитие модернизации сделало отношение шотландцев к своему прошлому как минимум двойственным, и эта двойственность сохранялась на протяжении полстолетия. Прошлое было и временем героического противостояния, в

---

P. 65.

<sup>4</sup> *Sher R. B. Church and University in the Scottish Enlightenment. Edinburgh, 1985. P. 226.*

котором предки защищали свободу и независимость своей страны, но оно же одновременно было и периодом, когда Шотландия раздиралась межклановой борьбой, управлялась тиранической знатью, а ее народ влачил жалкое существование. В данном случае не столь важно, насколько такое представление шотландцев о собственном прошлом адекватно отражало историческую реальность, более существенно то, что к началу XIX в. этот миф утвердился не только среди шотландских интеллектуальных и политических элит, но и окончательно проник в массовое сознание.

В равной степени неоднозначным было и отношение шотландцев к англичанам. Образ южных соседей, детерминированный множеством факторов и фактов прошлого, был результатом мифотворчества и сам одновременно порождал новые мифы. Представление о коварных англичанах, купивших продажных шотландских аристократов, трагедия Каллоденского сражения, массовая антишотландская истерия, охватившая Англию в 60-е гг. XVIII столетия — все это было в прошлом. В начале XIX в. возникла другая реальность — шотландские темпы экономического развития опережали английские, Шотландия создавала свою колониальную империю, а средние показатели образования, несмотря на кризис приходского образования, превышали английский уровень<sup>5</sup>.

Модернизация экономической и социальной сферы, совмещенная с трансформацией памяти, сделали необходимой разработку новой национальной мифологии и символики. Несмотря на то, что этот процесс не только не форсировался, но и не был институализирован в качестве идеологической или политической цели, развивался он очень динамично, и уже к середине XIX в. в целом был завершен, заняв рекордно короткое по историческим меркам время. Его развитие и завершение было тесно связано с динамикой модернизационного процесса и соответствовало ей в своих этапах. При

---

<sup>5</sup> Согласно данным, приводимым Р. Андерсоном (*Anderson R. D. Educational Opportunity in Victorian Scotland. Oxford, 1983*), в 1855 г. в Шотландии могли расписываться: мужчины — 89%, женщины — 77%; в Англии эти цифры выглядели соответственно 70% и 59%. А если из этих подсчетов исключить гэллоговорящий север Шотландии, то процент будет еще выше. Интересно и то, что некоторые женщины в Шотландии в XIX в. могли написать свое имя на шотландском, английском и валлийском языках.



этом модернизацию нельзя считать непосредственной причиной трансформации идентичности и формирования новой мифологии. И хотя порой возникает соблазн считать национальную интеграцию и ассимиляцию неизбежным и прямым следствием трансформационных процессов с их строительством коммуникаций и развитием экономического сотрудничества, целый ряд фактов этнокультурного развития Европы не позволяют это делать. Скорее, модернизация создавала необходимые условия для деятельности, направленной на преобразование прошлого и его символов.

Противоречивость модернизации, связавшей прошлое и настоящее, заключается еще и в том, что она неизбежно разрушала и изменяла традиционные ценности, меняла контекст существования культуры. В этой связи отношение к ней было тоже далеко неоднозначным. Для шотландцев рубежа XVIII–XIX вв. закономерным представлялся вопрос, не единожды и до того возникавший в умах наиболее просвещенных элит: что из себя представляет нация, какова природа национального прогресса, и каковыми должны быть социальные процессы, сопровождающие модернизацию?

В 1819 г. в «Эдинбургском Обозрении» В. Скотт пишет ряд сатирических статей, изданных под названием «Мечтатель», по поводу готовящейся парламентской реформы<sup>6</sup>. Центральным образом этих статей является капризный и придурковатый архитектор, мистер Витрувиус Вигхам, который, задумав построить новую абсолютно вульгарную и неэстетичную мансарду, разрушает элегантную и симметричную старую готическую крепость. Причем он старается убедить народ в необходимости этих изменений. Итогом этих преобразований становится кровавая гражданская война сторонников и противников старого замка, в результате которой Шотландия превращается в «страну Радикалов», где уничтожается частная собственность, происходят необратимые социальные перемены, общество постепенно опускается до анархии и варварства, а люди возвращаются к племенному образу жизни. И, наконец, вслед за этим начинается последний этап, на котором политический демагог Боб Баблекус убеждает народ, что настала пора демократической политической системы, в которой все, включая жен-

---

<sup>6</sup> *Fontana B. Rethinking the Politics of Commercial Society: Edinburgh Review 1802–1832. Cambridge, 1985. P. 165.*

щин и детей, будут обладать политическими правами. Страна в это время парализована бесконечными митингами, предвыборными кампаниями, сопровождающимися коррупцией<sup>7</sup>.

Интересно, что если исторические новеллы Скотта характеризует ностальгия по шотландскому прошлому, его публицистические работы, касающиеся настоящего, критичны и наполнены горькой сатирой. Противоречие не случайное. Более того, оно отражает принципиальную позицию Скотта по отношению к острейшим проблемам современного ему общества. Будучи убежденным тори и лелея героическое шотландское прошлое, патриархальные пейзажи и многовековую культуру своей страны, он не мог без боли смотреть на то, как она разрушается, исчезая под натиском британской модернизации. Но, искренне любя свою Родину, В. Скотт отчетливо понимал, что ее процветание отныне связано только с Англией. Воспетая им Каледония с ее пурпурными холмами, королями долин, мистическими озерами и бравыми хайлендерами отныне превращалась в Северную Британию, в которой процветание отдельных частей зависело от благосостояния целого. Отсюда происходил и особый взгляд на шотландское прошлое и идея необходимости его сохранения.

Но настоящее не должно было разрушать прошлое — в этом шотландские элиты были столь же единомышленны, как и в вопросе необходимости англо-шотландской интеграции. Многие из них, как и В. Скотт, испытывали очень смешанные чувства по отношению к происходящим в Шотландии переменам: с одной стороны, они с уважением воспринимали беспокойное и романтическое шотландское прошлое, с другой, отчетливо осознавали необходимость рациональной современности. Сложность дилеммы состояла в том, как примирить свободолюбивое шотландское прошлое, древнее наследие и служение ганноверской династии с ее коммерческим настоящим.

Генри Кокбурн, общественный деятель, историк, литератор, близко знавший В. Скотта, отчетливо понимал, что все изменения не просто необходимы, но неизбежны. Свое отношение к переменам он метафорически выразил в сравнении социальных институтов и старого дома: «опасно касаться старого дома, но опасно и ос-

---

<sup>7</sup> Ibid. P. 166.

тавлять его среди нового окружения»<sup>8</sup>. Иронически относясь к тем, кто видел в феодальном прошлом некий шарм, он сам, тем не менее, был защитником старых домов, которые уничтожались в Старом Эдинбурге, освобождая место для Нового города, и об этом не раз говорил в публичных выступлениях и в обращениях в лорд-провосту Эдинбурга<sup>9</sup>.

Строительство Нового города Эдинбурга в определенном смысле стало для него символом строительства новой Шотландии. И отношение к этому Кокбурна, который считал, что хотя новый город мог бы принести деньги и быть построенным по передовым образцам градостроительства, он, тем не менее, создавался старой Шотландией, городским советом Эдинбурга, который этим строительством праздновал триумф над самим собой, тоже показательно<sup>10</sup>.

Архитектура, как метафора происходящего в Шотландии, — характерный для Кокбурна метод описания современной ему действительности. Он выступает как защитник старой архитектуры, говорит о необходимости сохранения наследия прошлого и удивляется безразличию жителей Эдинбурга, на глазах которых при строительстве Нового города разрушается историческое прошлое. В сельской местности его возмущают те новые земельные собственники, которые уничтожают памятники, находящиеся на их земле.

«Инспекционные поездки» Кокбурна<sup>11</sup> — дневниковые записи, которые он вел с 1837 по 1854 гг., объезжая в качестве судьи шотландские графства, скорее напоминают отчет комиссии по сохранению культурного населения, причем, чаще, отчет далеко не радужный. «Местная знать и джентри не отвечают за сохранность прошлого, находящегося на их землях. Мелкие провинциальные города находятся под угрозой, производство наступает на них, и деревушки превращаются в заводы». Но более крупные города тоже находятся под угрозой, на них наступает железнодорожное строительство. Железные дороги сделали слишком доступными для обывателя некогда заповедные места — «сельская жизнь стала

<sup>8</sup> *Miller K. Cockburn's Millennium. L., 1975. P. 103.*

<sup>9</sup> *Cockburn H. A letter to the Lord provost on the Best Ways of Spoiling the beauty of Edinburgh. Edinburgh, 1998.*

<sup>10</sup> *Miller K. Cockburn's Millennium. P. 131.*

<sup>11</sup> *Lord Cockburn. Circuit Journeys. Hawick, 1983.*

жертвой железнодорожного сумасшествия», — пишет Кокбурн. «Я не уверен, — замечает он, — что есть местечко в Шотландии, прекраснее, чем Перт. Стоящий среди сельской местности, с мягким климатом и почвой, он украшен многочисленными выжившими древними церковными строениями, расположенными прямо на улицах города... Когда-то это действительно было древнее почетное место. Но сейчас там гораздо более современная жизнь, обрамленная в древнюю красоту»<sup>12</sup>.

Его «Мемориал», как и «Дневник» В. Скотта, полон драматических переживаний в связи с переменами, происходящими в Британии. Скотт начал вести свои записи в 1825 г., а закончил за несколько месяцев до своей смерти, в год первой избирательной реформы. В этот же период вел свой дневник и Кокбурн. Но если для него 1832 год стал годом славы, то для Скотта — его Армагеддоном<sup>13</sup>. Эти два человека написали два совершенно разных дневника о последних днях уходящей эпохи. В 1831 г. В. Скотт отметил: «Я получил письмо от одного пэра, чье имя пусть останется неизвестным, но который живет в Йестере, он пишет, что если билль будет послан, то он недолго будет носить свой титул, а если будет отклонен — свою голову»<sup>14</sup>. Аналогично и Кокбурн: «Время не сделало из меня тори. Но отвращение к монархии никогда не было ни частью вигских взглядов, ни моих собственных»<sup>15</sup>. Оба этих шотландца понимали неотвратимость происходящих перемен: «Что касается меня, то мой разум в дне сегодняшнем, но мои мечты в старом мире. Я чувствую, как прошлое уходит от нас все дальше и дальше», — записал в дневнике лорд Кокбурн 19 сентября 1844 г.<sup>16</sup>.

Архитектура составляла ту символику, в которой прошлое и настоящее были наиболее визуализированы. Символы Глазго и Эдинбурга, двух самых значимых городов Шотландии, занимают неодинаковое место в процессе становления шотландской нацио-

---

<sup>12</sup> Bell A. Reason and Dreams: Cockburn's practical and nostalgic views of civic well-being // Lord Cockburn. A Bicentenary Commemoration. 1779–1979 / Ed. by Alan Bell. Edinburgh, 1979. P. 45–46.

<sup>13</sup> Miller K. Cockburn's Millennium. P. 144.

<sup>14</sup> Ibid. P. 145.

<sup>15</sup> Ibid. P. 116.

<sup>16</sup> Lord Cockburn. Circuit Journeys. P. 154–155.

нальной идентичности, соответственно разной роли этих городов в истории и культуре. Если Эдинбург наполнен символами «шотландскости», делающими столицу центром шотландского национализма, то Глазго выглядит как «кельтский город», большая часть населения которого прибыла туда в период индустриальной революции XIX века из сельских районов шотландских гор и Ирландии, чьи жители говорили на гэльском диалекте. Эдинбург же, не испытывавший на себе значимого влияния гэльской культуры и, как политический центр, долгое время доминировавший в Шотландии, в своем развитии имел тенденцию к синтезу собственно шотландской и английской культур. После унии 1707 г. английское влияние в речи и поведении рассматривалось как признак цивилизации и становилось преобладающим в среде эдинбургского среднего класса. Иными словами, если культура Глазго являет собой синтез шотландской и гэльской культуры, то культура Эдинбурга — это соединение шотландской и английской культурных традиций.

Эти процессы нашли отражение и в социальном составе жителей двух шотландских центров. Глазго в XIX в. был населен в основном рабочими, которые являлись носителями пролетарской культуры. Олицетворением ее был рабочий, пьющий виски, не наделенный хорошими манерами и всегда готовый пустить в дело кулаки. Глазго был центром шотландской индустрии и торговли, науки и технологических открытий на протяжении всего XIX и начала XX в. Эдинбург же, наоборот, стал центром искусства, политики и образования. Эдинбургский университет и Эдинбургская крепость, Королевский хирургический колледж и Британская энциклопедия, памятник В. Скотту и Национальный монумент — это лишь некоторые его символы, которые должны были связать величественное историческое прошлое и процветающее экономическое настоящее Шотландии.

Таким образом, если Глазго, сыгравший огромную роль в процессе становления Британской империи — это мастерская мира, то Эдинбург, с его просветительскими тенденциями середины XVIII в., оказавшими влияние на гуманистическую и философскую мировую мысль периода перехода от традиционного к индустриальному обществу — это своего рода «Северные Афины», культурная столица<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> *Hearn J. Big City: Symbolism and Scottish Nationalism // Scottish Affairs. Edinburgh, 2003. № 3. P. 68.*

Символы и метафоры, мифологизация былого становились не только средством выражения отношения к прошлому и настоящему, но и способом сохранения того прошлого, которое было наиболее близко шотландцам — романтического, героического и ностальгического исторического идеала. А тот факт, что этот процесс происходил в условиях нациестроительства, обусловил реализацию шотландского мифо-символического комплекса в форме национальной мифологии. Образы прошлого и его героев превращались в символы, должны были объяснить настоящее.

Представление шотландцев о прошлом обуславливалось как отношением к правящей ганноверской династии, так и памятью о Стюартах, что находило выражение в «ганноверском» и «стюартовском» мифах. Еще в середине XVIII в. они противостояли друг другу, будучи выражением политического конфликта, разделившего Шотландию. Оба они являлись разновидностями национальной мифологии, отражая разные этапы ее развития, и, что еще более интересно, оба использовали одинаковые символы. Постоянная апелляция к прошлому делала его цельным и самодостаточным фактором формирования идентичности, превращая само прошлое в символ. Прошлое как фактор и символ национальной идентичности не является исключительной чертой процесса формирования «шотландскости» и широко использовалось в большинстве аналогичных процессов, шотландский же образец интересен тем радикальным поворотом, произошедшим на протяжении жизни одного поколения, знаменовавшим переход от «стюартовского» мифа к «ганноверскому». Вторым символом, используемым в обоих мифах, был символ горца, хайлендерские культурные атрибуты, включавшие визуальные и нарративные знаки, имевшие под собой общий дискурс «дикости», которая в условиях модернизации приобретала оттенок романтики.

Власть горских символов в первой половине XVIII в. во многом определила мифологию якобитского движения, связав образ хайлендера и якобита — сторонника династии Стюартов, при этом и сам образ шотландского горца был подвергнут мифологизации. Представление о горце как о воспитанном и воинственном шотландском патриоте, не поддавшемся на обещания английского золота, сопровождалось развиваемыми шотландскими интеллектуалами идеями шотландского республиканизма, хранителями которого гор-

цы и являются. «Горец-патриот» становится эквивалентом английско-го «джентльмена», и именно такой образ хайлендера был использован принцем Чарльзом Эдуардом Стюартом в качестве зримого воплощения идеи шотландской свободы и справедливости. Горец, таким образом, стал не просто символом преданности династии Стюартов, но и знаком верности своей нации и культуре. Однако в первой половине XVIII в., когда в эпоху якобитского движения стюартовский миф приобрел ярко выраженное политическое значение, стояла задача ретрансляции образа горца-патриота на все простюартовское движение. Средством решения этой задачи стала «хайлендеризация» якобитской идеи, составившая сердцевину якобитского мифа.

Визуализация образа горца должна была способствовать превращению мифа в символ. Тот факт, что в войске Чарльза хайлендерское платье носили представители всех регионов Шотландии, в том числе и равнинной, был отмечен не единожды. Pamфлет «Хайлендеры [sic!] в Маклесфилде в 1745 г.» рисует «молодого лоулендера, но в хайлендерской одежде». По мнению Брюса Ленмана, Чарльз намеренно одевал своих людей в горский костюм. А впервые на этот факт обратил внимание Брюс Сеттон в «Шотландском историческом обозрении» в 1928 г., когда отметил, что свидетели не замечали никакого отличия между офицерами Кромарти, Локхил и Грантов, с одной стороны, и Гленбакетов, Огилви и Рой Стюартов, с другой<sup>18</sup>. Иными словами, хайлендерско-лоулендерский союз был воплощен в идее горской народной культуры, символом которой стала традиционная хайлендерская одежда. Мнение Брюса Сеттона подтверждается и другими источниками: Джордж Мюррей, один из равнинных землевладельцев, так описывает свой выезд из Карлайла: «В этот день я был в моем пледе... без штанов... Ничто так не ободряет людей, как вид командира, одетого так же, как они». Лорд Льюис Гордон заявил в те дни, что он, скорее, примет горскую одежду, чем деньги из Абердина. А в отчете 31 октября 1745 г. было отмечено, что из пяти тысяч якобитов, находящихся под оружием, две трети составляют хайлендеры, одну треть — лоулендеры, одетые в костюм горцев, как и остальные. Есть свидетельства и о том, что французские офицеры, высадившиеся на восточном побережье, носили хайлендерское платье, воз-

---

<sup>18</sup> Первая группа — это равнинные кланы, вторая — горские.

можно, правда, потому, что красные мундиры не гарантировали от нападения самих горцев. Все это, кстати говоря, затрудняет подсчеты соотношения горцев и лоулендеров в войсках якобитов, как и подсчет численности якобитской армии в целом, хотя именно ответ на вопрос о степени поддержки восстания 1745 года мог бы пролить свет на природу якобитского мифа.

Начиная со второй половины XVIII в. образ горца-якобита становится далеко не столь однозначным. Поражение якобитизма, как считали многие во второй половине XVIII в., было вполне закономерным, а образ якобитов уже тогда становится, по крайней мере, очень двойственным: они и защитники прошлого, но они и утописты-романтики, не нашедшие широкой поддержки среди шотландцев. Одновременно с формированием неоднозначного образа якобитов, оформляется и особое отношение к новой династии Ганноверов, чей триумф со временем начинает осознаваться как благо для Шотландии. Формируется новый «ганноверский миф», пришедший на смену «стюартовскому». Но апеллируя к национальному прошлому, этот миф должен был использовать те же узнаваемые и близкие символы, что являлись частью и стюартовского мифа.

После подавления последнего крупного якобитского восстания правительство приняло все меры для того, чтобы изъять такие символы «шотландскости» как одежда, тартаны, оружие, волынки. Наказанием за ношение тартана было шесть месяцев заключения для первого случая, и семь лет каторги — для второго. 12 августа 1746 г. закон о запрете ношения шотландской одежды был одобрен монархом и в дальнейшем реализовывался со всей строгостью. Войскам было приказано в случае его нарушения «приводить нарушителя прямо в его наряде в суд, который силой своей власти должен был наводить порядок»<sup>19</sup>. Лишая традиционные символы права на существование, уничтожением этой внешней стороны горской культуры, правительство рассчитывало не только разрушить клановую солидарность, лежащую в основе самого горского традиционного общества, но и устранить зримые символы традиционной идентичности. Иными словами, опасность представляли не килты, а та культура и практики, которые они символизировали.

---

<sup>19</sup> *Omond G. W. T. The Lords Advocates of Scotland, from the close of the fifteenth century to the passing of the Reform Bill. Edinburgh, 1883. P. 32.*



Роберт Стивенсон в романе «Похищенный», события которого относятся к 1751 г., так описывает сложившуюся с одеждой ситуацию: «Горский костюм был со времен восстания запрещен законом, местным уроженцам вменялось одеваться по обычаю жителей равнины, глубоко им чуждому, и странно было видеть пестроту их нынешнего облачения. Кое-кто ходил нагишом, лишь набросив на плечи плащ или длинный кафтан, а штаны таскал за спиной как никчемную обузу; кое-кто смастерил себе подобие шотландского пледа из разноцветных полосок материи, сшитых вместе, как старушечье лоскутное одеяло; попадались и такие, кто по-прежнему не снимал горской юбки, только прихватил ее двумя-тремя стежками посередине, чтобы преобразить в шаровары вроде голландских. Все подобные ухищрения порицались и преследовались: в надежде сломить клановый дух закон применяли круто...»<sup>20</sup>.

Якобитское восстание и его подавление были своеобразной искупительной жертвой ради того, чтобы по прошествии нескольких десятилетий наполнить прежние символы новым содержанием. Разрушению подвергался тот контекст, в котором шотландская история могла быть «прочитана» как история борьбы с Англией, в то время как в перспективе в новых условиях модернизированной Британии англо-шотландское прошлое должно было восприниматься как история единения Шотландии и Англии. Политика «умиротворения» должна была разрушить, говоря словами У. Эко, идеологию, т. е. «все то, с чем так или иначе знаком адресат и та социальная группа, которой он принадлежит»<sup>21</sup>, но не уничтожить культурные коды. Эта культура на несколько десятилетий, вплоть до начала XIX в., осталась в своеобразном заточении, и лишь потом была вновь возвращена шотландцам.

Уже к началу XIX в., когда Шотландия была гораздо более лояльной частью королевства, якобитский миф и символы якобитизма более не угрожали Британии и поэтому могли быть возвращены шотландцам. Культурная реабилитация якобитизма, позволившая

---

<sup>20</sup> Стивенсон Р. Л. Похищенный // Стивенсон Р. Л. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4. М., 1981. С. 98.

<sup>21</sup> Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006. С. 137.

реанимировать его символы, стала той основой, на которой вновь была возведена идея «шотландскости». Старые горские символы возвращались в новый культурный контекст модернизированной Шотландии, в которой интеллектуалы настойчиво работали над созданием новой версии шотландского прошлого. Этот процесс обусловил и то, что прежние символы приобретали иное значение.

На протяжении 1820–40-х годов произошло разделение представлений о якобитизме и стюартовского мифа, основа которого была заложена еще в конце XVII в. Эти два явления были связаны политической борьбой, в которой они реализовывались. Соответственно, необходимо было разделить их, придав обоим, и особенно якобитизму, культурную окраску. Так рождался новый якобитский миф. Отныне якобитизм становится движением за культурную самобытность и, соответственно, должен быть реабилитирован. О Стюартах чаще предпочитали молчать, возможно, потому, что представление о том, что «Чарльз Эдуард Стюарт воплотится, для того, чтобы спасти [кельтскую] расу», все еще было живо в Шотландии<sup>22</sup>. Якобитский миф, который в первой половине XVIII в. был идеологической основой англо-шотландского противостояния, теперь становился частью «ганноверского» мифа, символизируя лояльность шотландцев Британии.

Способом выразить свой юнионизм (как и антикварианизм), как форму преклонения перед традицией в условиях модернизации, стал для шотландцев визит Георга IV в Шотландию в 1822 г. Именно в ходе монаршего посещения Шотландии было продемонстрировано, что, с одной стороны, дух шотландцев, их культура сохранились в форме собранных и хранимых частичек истории, а с другой, это минувшее уже не является угрозой Британии.

Приезд Георга, вызвавший невероятный ажиотаж среди шотландцев, отражал встречный англо-шотландский процесс движения культур. С одной стороны Лондон, по прошествии более полувека после того, как якобитизм прекратил свое существование в качестве угрозы британскому правлению, давал понять, что прошлый конфликт исчерпан, и ничто не мешает Англии и Шотландии на основании общих целей строить новую единую культуру. В этой

---

<sup>22</sup> *Pittock M.* The Invention of Scotland: the Stuart myth and the Scottish Identity, 1638 to the present. L., 1991. P. 101.

связи, власть как бы возвращала шотландцам право пользования их традиционной культурой, которая более всего ассоциировалась с горцами, бывшими когда-то символами якобитского протеста.

Королевский визит оставил чувство, что Шотландия не была уже прежней провинцией Британии, «бедной, старой матроной в лохмотьях». Шотландцы почувствовали свою значимость для империи и то, что отныне их культура не будет подвергаться истреблению, а история осмеянию. Они чувствовали гордость за свое великое прошлое, но это прошлое в соответствии с положением, которое занимала Шотландия, нуждалось в переосмыслении. Иначе говоря, возвращение якобитизма в форме его символов означало изменение отношения не просто к политическому явлению, расколовшему страну в первой половине XVIII в., но это было знаком новой политики по отношению к прошлому.

Это давало возможность шотландцам вновь ощутить собственную власть, почувствовать себя хозяевами своей судьбы. Их роль в строительстве британской империи, участие в качестве солдат и служащих колониальной администрации стали свидетельствами в пользу верного выбора, сделанного ими в 1707 г. В XIX в. англо-шотландская уния рассматривалась уже как собственный выбор шотландцев. Однако национальный дискурс рубежа XVIII–XIX вв. свидетельствовал не только о власти над настоящим, но и контроле над прошлым. Интеллектуальные элиты смело брались за написание новой истории Шотландии, воскрешая былые мифы и символы, которые в модернизационном контексте наделялись принципиально иным значением.

Когда во время визита Георга IV в Эдинбург в 1822 г. Скотт заметил, что «войска и люди» являются лучшими вещами, которые мы можем показать королю, тем самым он реанимировал теорию патриотической доблести, но теперь уже более в британском аспекте, нежели в шотландском. Во-вторых, эта сентенция была исполнена в неловко антикварной манере — под «войсками» он подразумевал шотландскую армию исчезнувшей якобитской эры. Это был гимн патриотической доблести, облаченный в безопасную устарелую форму для того, чтобы подобострастно демонстрировать британскую лояльность, при этом вызывая любопытство Британии. Спрос на шотландки в начале XIX в. быстро увеличивался, и по-

этому Скотт повторяет: «Мы — клан, и наш Король — вождь». Эйфория возрождающегося якобитизма, возвращающегося теперь уже в британском имперском облике, охватила шотландскую столицу, поскольку теперь уже «якобитский король» сидел в Лондоне, и трагедия Каллодена разделялась всей британской нацией. Та сфера, которая во многих европейских странах XIX века была заполнена национализмом, отстаивающим лозунги политического суверенитета, в Шотландии была занята националистическими символами шотландской лояльности Британии. Коммерческий спрос начала XIX в. на шотландку, которая являлась одеждой и символом якобитского движения, свидетельствует о том, что клетка, прежде символизировавшая военную угрозу, становится клеткой имперского триумфа и индикатором лояльности горцев. В историческом сознании память о якобитах-бунтовщиках трансформируется в память о якобитах-защитниках.

Так начиналась культурная реабилитация якобитизма, который в первой половине XVIII в. расколол страну, теперь был бессилен, и свидетельством этого служит его романтизация. Ликвидация в массовом сознании политического значения якобитского движения сыграла важную роль в формировании единства, общей памяти, которая была «выборочной» и служила потребностям британского государства<sup>23</sup>. После Ватерлоо торийское правительство провозгласило хайлендеров основой британской армии и носителями традиционной лояльности, ассоциирующейся с религией, правилами морали и патриотизмом<sup>24</sup>. Это была санация якобитизма, в рамках которой он становился символом, сопровождаемым множеством знаков, атрибутов, воскрешающих в памяти лишь романтические эпизоды якобитского прошлого. Такими атрибутами становились старинные палаши, вереск, мифы и горские песни. Все это вытесняло религиозный, международный, династический аспекты якобитизма, оставляя лишь образ его как провинциального движения горских романтиков.

---

<sup>23</sup> *Donaldson W.* The Jacobite Song: Political Myth and National Identity. Aberdeen, 1988. P. 65, 93-94.

<sup>24</sup> *Whatley C. A.* Scottish Society 1707–1830. Beyond Jacobitism, towards industrialization. Manchester; N.Y., 2000. P. 3.

При этом интересно, что трансформируется даже семантика внешности якобита, культурный архетип которого эволюционирует в процессе интеграции в британские имперские структуры. Гиперболизация образа якобита, выразившаяся в наделении его символами маскулинности, к которым в XIX в. относились галантность, страстность, налет дикости, становится, вместе с тем, частью процесса трансформации шотландской идентичности. И точно так же, как еще столетие назад, гиперболизация выражалась в использовании символов людоедства и зверской жестокости, теперь все это было элегантно преобразовано в символы примитивной лояльности и мужественности. На изображениях шотландских горцев викторианской эпохи они предстают в образе романтиков-великанов, непринужденно поедающих овсянку. Таким образом, кулинарная эволюция — от людоедства к овсянке, отражает общую динамику процесса трансформации символов якобитизма — от угрозы к защите. Да и портретные изображения «знамени» якобитского Великого восстания, Чарльза Эдуарда, выполненные в XIX в., тоже далеки от использования образов кровожадного агрессора. Невинный, отчасти ребяческий, а отчасти ангелоподобный лик «молодого претендента, отраженный и в самом прозвище — «милый принц Чарли», тоже является частью процесса санации якобитизма. Его молодость, акцентирование того, что он «принц», но не «король», априори делали наивными и слишком романтическими претензии якобитского движения на политическое лидерство.

Все эти образы, переключаясь из массового исторического сознания в профессиональное историописание, определяли и динамику развития либеральной историографии, которая на протяжении практически трех столетий рассматривала Шотландию как «отсталую», но не как «другую» нацию<sup>25</sup>. В этих историографических концепциях «сорок пятый» становится просто диким приключением, наподобие того, что соблазнил юного Эдуарда в «Уэверли» В. Скотта. Якобитизм, таким образом, был спутником историографических конструкций, в которых подчеркивалась незрелость шотландской нации, искусственный характер модернизации шотланд-

---

<sup>25</sup> Kidd C. Antiquity and national Identity // English Historical Review. 1994. № 1197-1214. P. 12.

ского общества, которая была привнесена на север лишь благодаря цивилизаторской миссии Англии. Значение творчества шотландских интеллектуалов в том, что они, используя сентиментальный блеск якобитизма в условиях либеральной конституционной системы, превратили шотландское прошлое в идеологически нейтральное представление. Санация якобитизма, включая в себя и переход горцев на военную службу, и коммерциализацию атрибутов «горскости», и, наконец, романтизацию якобитизма, в целом растянулась на столетие — уже в середине XIX в. горцы не только не представляли угрозы для Британии, но были романтическим символом ее могущества.

Политическое прошлое, воплощенное в истории войн с Англией, подверглось забвению. Это был уникальный в европейской истории случай «социальной амнезии» — ради величия собственной нации необходимо было забыть ее прошлое. В то время как в большинстве других европейских случаев процесс нацистроительства предполагал воскрешение прошлого как борьбы народа за свою независимость. В этом смысле «смерть шотландской истории» — концепция, предложенная М. Эш, думается, может быть рассмотрена и как смерть шотландской истории как *самого прошлого*<sup>26</sup>, и как смерть шотландской национальной историографии, окончательно давшая о себе знать в творчестве В. Скотта.

Горская культура превращается в XIX в. в китч, тем самым, отражая эволюцию государства и его интересов. Пройдя проверку временем, будучи наделен устоявшимся стилистическим значением, китч означал в глазах широкой публики не только «художественность», он не только «усплаждал публику уже апробированными стилистическими значениями»<sup>27</sup>, но и должен был показать, что горская традиция и культура выжили, сохранив прежнюю форму, но обретя новое содержание. Характерной чертой этого китча стала его поразительная динамика, использование исторических образов и адаптация их к потребностям модернизирующегося общества. Одна-

---

<sup>26</sup> Постоянное тяготение Шотландии к Англии, ее зависимость, сделавшая неизбежной, в конечном счете, унию 1707 г., переход объясняется отсутствием жизнеспособной перспективы для Шотландии.

<sup>27</sup> Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2006. С. 131.

ко, для Шотландии, которая, как и любой другой модернизирующийся социум, сохраняла элементы традиции, было чрезвычайно важным представлением о значимости патриархальной аграрной культуры, лежащей в основе народной традиции и, в итоге, составлявшей важную часть культуры национальной<sup>28</sup>. Это и стало основой формирования национальной мифологии, которая развивалась благодаря возрастанию ценности символических, экономических, образовательных благ, производимых и потребляемых совместно<sup>29</sup>.

Вторая половина XIX в. стала и временем поступательного возвращения в обиход шотландского языка, который когда-то до унии 1603 года был языком шотландского судопроизводства, но с тех пор стал считаться вульгарным. Отмена в 1855 г. специальных налогов для газет и журналов, использующих его, привела к резкому всплеску объема материалов, написанных на старом шотландском диалекте. У. Доналдсон обращает внимание, что огромное количество материалов, посвященных шотландской социальной жизни, проблемам рабочего класса, или радикального движения, а также информация о внешней политике — все, что могло быть интересно либеральным читателям, печаталось на этом языке<sup>30</sup>. Некоторые журналы и серийные издания стали издавать древние шотландские поэмы и баллады. Представление о том, что шотландская народная культура XIX века воспринималась как пережиток, как нечто провинциальное, не имеет под собой почвы. Наоборот, эта культура пользовалась большим, в том числе и коммерческим, спросом<sup>31</sup>.

Своеобразным символом этой популярности, символом любви к романтическому прошлому Шотландии к ее идеалам, стали ежегодные каникулы королевской семьи в замке Балморал на Дисайде, построенном в 40-е гг. XIX в. Эта королевская традиция, которая сохранилась и по сей день, привела к тому, что излюбленным местом отдыха среднего класса не только Шотландии, но и всего королевства стал именно Хайленд, где появились отели, дачи, площадки для гольфа. Города в Хайленде (такие, как, например,

<sup>28</sup> *Martin T.* Republics, nations and tribes. L., 1995.

<sup>29</sup> *Тамур Ю.* Класс и нация // *Логос*. 2006. № 2 (53). С. 44.

<sup>30</sup> *Donaldson W.* Popular Literature in Victorian Scotland. Aberdeen, 1986.

<sup>31</sup> *Paterson L.* The Autonomy of Modern Scotland. Edinburgh, 1994. P. 61.

Инвернесс) в период между 1851 и 1891 гг. увеличились вдвое. По примеру королевы Виктории средний класс Шотландии стремился проводить каникулы в горах. И хотя Б. Дизраэли считал за счастье, что ему дважды удалось избежать таких поездок, эти путешествия для якобитски настроенных тори стали своеобразной победой. У. Гладстон же, одержимый ирландской проблемой, побывал в Ирландии всего лишь единожды, в то время как в Шотландии проводил время регулярно<sup>32</sup>. Во время одной из своих поездок в Хайленд Виктория записала в своем дневнике: «Нэйрн, расположенный на фоне залива Морэй, выглядел очень мило; мы проехали Каллоден — поросшее вереском место кровавой битвы. Вокруг все было прекрасно, и сцена оставила замечательное впечатление»<sup>33</sup>.

Социальная и территориальная мобильность, характерные для модернизирующегося общества, сыграли в истории Шотландии XIX века огромную роль. Это было не просто переселение горцев в индустриальные районы, это было движение культуры. «Народный журнал», наиболее популярная шотландская газета периода викторианства, освещавшая проблемы возрождения гэльской культуры, наибольшим спросом пользовалась не только в Хайленде, но и в индустриально развитом Лоуленде, и на северо-востоке, ориентированном в большей степени на фермерское хозяйство. Газета «Глазго и Западная Шотландия» в 1890 г. расходилась еженедельным тиражом в двести пять тысяч экземпляров и являлась лидером продаж среди газет. Наибольший интерес вызывали материалы, связанные с описанием традиционной жизни Шотландии, ее доиндустриальной культурой, проза и поэзия, написанная на диалекте, еще используемым на Севере, но уже уходящим в прошлое, или описание явлений политической жизни, основанных на древних шотландских традициях<sup>34</sup>. Газетные материалы были адресованы тем жителям крупных городов, чья память все еще оставалась в сельской местности, и тем, кто, даже перебравшись в город и, ассоциируя себя уже с жителями индустриальной Шотландии, втайне

---

<sup>32</sup> *Harvie C. Scotland and Nationalism. Scottish Society and Politics from 1707 to Present. L., 1998. P. 55.*

<sup>33</sup> *Queen Victoria. Our Life in Highlands. Newton Abbot, 1972. P. 149.*

<sup>34</sup> *Donaldson W. Popular Literature...*



продолжал считать себя горцем, не забывая язык и культуру своих предков<sup>35</sup>. Культура, гэльские мечтания стали той сферой, куда был вытеснен национализм. Генри Кокбурн, сказал в 1853 г.: «Особенность народа, и впечатление от него нельзя облекать лишь в формальные рамки»<sup>36</sup>. Шотландцы создали общество, где чувство нации лежит в народе и в культуре, а также в символах этой культуры, а государственные формы лишь очерчивают их.

Несмотря на преобразования, которые Шотландии довелось пережить в XVIII и XIX вв., ей удалось сохранить символы, составлявшие ядро ее идентичности. Представления о прошлом, а вместе с тем и о нынешнем положении Шотландии в рамках Британии, нашло свое воплощение в сформировавшемся мифо-символическом комплексе — смеси мифа, памяти, знаков и символов, которая не просто определяла принадлежность к шотландской нации, но также и саму идею «шотландскости», выражая то, что значит быть шотландцем. Важно, что существование, статус и безопасность шотландской нации находились в прямой зависимости от статуса ее национальных символов, включая символы прошлого, чем и объясняется их значимость для нации<sup>37</sup>. И именно поэтому люди готовы были отстаивать эти символы, следовать за своими лидерами, приравнявшими национальные символы к самой нации.

Это отождествление символов с самим прошлым способно, вероятно, объяснить, почему идея нации, и в исторической ретроспективе, и в современности, столь могущественна, откуда она черпает свои силы. Человек, защищающий национальную принадлежность, отстаивает в равной степени и свою идентичность, собственные интересы, в том числе и материальные блага, и борется за выживание своего народа, своей территории, за веру — за все то, что воплощено в национальных символах. И очевидно, что попыт-

---

<sup>35</sup> *Harvie Cr., Walker G. Community and Culture // People and Society in Scotland. Vol. II. 1830–1914 / Ed. by W. H. Fraser and R. J. Morris. Edinburgh, 1990. P. 343.*

<sup>36</sup> *Smout T. Patterns of Culture // People and Society in Scotland. Vol. 3. 1914–1990. Edinburgh, 1992. P. 261.*

<sup>37</sup> *Kaufman S. J. Modern Hatreds. The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca; L., 2001. P. 25.*

ки создать идею нации только тогда успешны, когда они подкрепляются политикой в области символов.

В результате процесса трансформации идентичности к середине XIX в. сформировался целый ряд бинарных оппозиций, отражающих противоречивое отношение к процессу англо-шотландской интеграции, однако все они ориентированы не по вертикали, т.е. имеют не диахронный, а синхронный характер, примиряя историю и современность, подчиняя прошлое настоящему, и рассматривая настоящее как ту систему координат, в которой оценивается событие. Среди таких дихотомий наибольшее значение имели противопоставление «разума», фиксировавшего целесообразность упрочения англо-шотландских контактов и «души», зовущей шотландцев в независимое прошлое; так называемое «изобретение традиции», которая должна была примирить прошлое и настоящее; и, в конечном счете, сама категория «юнионистский национализм».

Удивительным образом эти противоречия преодолевались в процессе обработки прошлого, формируя новый нарратив, отвечающий потребностям времени. Шотландские интеллектуалы XVIII – начала XIX в., которым довелось жить в период наиболее драматической ломки идентичности, сочетая разум, воспетый идеологами Просвещения, и сердце, призывающее сохранить исконный шотландский дух, отыскивали ответы на волнующие их вопросы в прошлом, одновременно, адаптируя историю к реалиям модернизирующегося общества. Делая предметом своих изысканий прошлое, они транслировали его в современную им Шотландию, используя политику в области символов. Превращение культуры и самого прошлого в китч было необходимо для того, чтобы элитарные идеи стали достоянием всей нации, тем самым, преодолевая кризис идентичности.

В процессе этой трансляции происходила неизбежная редукция памяти о прошлом, воплощенной в визуальных, нарративных и дискурсивных символах, формировавших такой язык и знаковую систему, в категориях которой можно было бы объяснить происходящие изменения. Эта знаковая система, которая даже при утрате формальной независимости Шотландии, позволила шотландцам

сохранить собственную культурную идентичность, выжившую, несмотря на драматические потрясения XVIII века. На короткое время эти символы, коды «шотландскости», были изъяты из обращения, чтобы по окончании политики «умиротворения» вернуться уже в новое общество развивающейся модернизации и в новом контексте обрести иной редуцированный смысл. Эта символика находила свое выражение как в видимых знаках, таких как тартаны, клановые имена, городская архитектура, язык и т. д., так и в формирующейся мифологии и культивировании отдельных сторон шотландской реальности, которые составляли наиболее ощутимые (зримые и дискурсивные) ее отличия от Англии.

Многие символы в этом процессе приобретали вневременное значение, сохраняя форму, но транслируясь из одного мифа в другой, приобретая разное, порой, противоположное содержание. Если «стюартовский» и «ганноверский» мифы противостоят друг другу как прошлое и настоящее, то горские символы должны были связать эти две временные категории. При этом национальные символы свидетельствовали не только о процветании Шотландии, как результате собственного шотландского выбора, сделанного в 1707 г., но и о том, что шотландцы обрели власть над прошлым, установив над ним эффективный контроль, направленный на благо своей нации.

# ОБРАЗЫ ДРУГОГО

---

О. Ю. КАЗАКОВА

## «МУЗА НА СЛУЖБЕ КУМИРУ ПОЛЬЗЫ»

АМЕРИКАНСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ И  
ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ 1850–1860-Х ГГ.  
(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА)\*

Представления о внешнем мире, как важный фактор самоидентификации социальных образований (групп, слоев, племен, народов) и межкультурного диалога, давно интересуют этнопсихологов, антропологов, лингвистов. Содержание и генезис представлений о «Другом» обществ современного типа определяются этническими факторами (язык, психологический склад, верования) в меньшей степени, чем социокультурными институтами и феноменами, продуцируемыми самим обществом, что включает их в сферу внимания историков. Изучением инокультурных образов занимается междисциплинарное направление *имагология*. В настоящее время она страдает эмпиризмом, отсутствием общепризнанных концептов, нечеткой методологией. Сравнение представлений о «Другом» нескольких воспринимающих сообществ (подчеркнем, не страны с ее образом и не взаимных восприятий двух народов) позволит, на наш взгляд, преодолеть некоторые из этих трудностей.

Сравнительная имагология зародилась в недрах компаративного литературоведения, отсюда ее интерес к художественным текстам<sup>1</sup>. Традиционная историография с недоверием относится к литературе, которая в наибольшей степени (наряду с изобразительным искусством) преобразует представления о «Другом», подчиняя их эстетическим канонам. Однако историческая антропология открыла широкие возможности синтеза смежных гуманитарных дисциплин для ретроспективного взгляда на образы внешнего мира<sup>2</sup>.

---

\* Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ на поддержку молодых российских ученых и ведущих научных школ № НШ-3040.2006.6. Школа академ. Н. Н. Болховитинова «Северная Америка и ее отношения с Россией».

<sup>1</sup> Миры образов — образы мира / Справочник по имагологии. Волгоград, 2003. С. 9-10.

<sup>2</sup> В отечественной науке эту тематику на схожих и альтернативных теоретических основаниях разрабатывают Центр интеллектуальной истории Ин-

В рамках предпринимаемого сравнительно-исторического исследования нас интересует не столько содержание французского или русского поэтического образа Америки, сколько относительное своеобразие каждого из них. Второй задачей статьи является определение специфики, которую поэтическая форма выражения накладывает на инокультурные представления. Наконец, принципиально важно выявить характер взаимосвязи поэтических образов с коллективными представлениями воспринимающей общности, то есть французской и русской публики. Как известно, художественные произведения характеризуются высокой степенью авторской индивидуальности, выражают уникальный внутренний мир их создателей. Однако, по данным семиотики, рассуждения о «Другом», даже искаженные фантазией, существуют в определенном наборе. Тексты, насыщенные образами «Другого» («Иного», «Чужого»), подлежат раскодированию читателями, которым они известны (частично или полностью) из культуры и повседневной жизни. Поэтому наша задача — проанализировать их и интерпретировать как символический язык внутри литературной системы и социального воображения<sup>3</sup>.

Поэзия открывает заманчивые перспективы для исследователя, занимающегося исторической имагологией. Она подразумевает не просто особую организацию текста (стихотворный размер, рифму, ритм), но и максимальную для текстовых источников концентрацию образов. Сущность поэзии и состоит в мышлении в словесных образах. Стихотворная форма сигнализирует о «выведении»

---

ститута всеобщей истории РАН, участники круглого стола «Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия» (Институт российской истории РАН) и семинаров по истории культуры и исторической антропологии, проводимых альманахом «Одиссей». Отдельного упоминания заслуживает тематический выпуск «Образ "Другого" в культуре» (см.: *Копелев Л. З.* Чужие; *Лучицкая С. И.* Араб глазами франка (Конфессиональный аспект восприятия мусульманской культуры); *Оболенская С. В.* Германия глазами русских военных путешественников 1813 года; *Фридман П.* Образ крестьянина в позднесредневековой Германии. (по Гуго Тримбергскому и Феликсу Хеммерли) // *Одиссей. Человек в истории.* 1993. Образ "другого" в культуре. М., 1994). В концептуальном плане нам наиболее близки идеи Г.-Ю. Бахорского, предлагающего реконструировать «дискурсивные поля» и стремящегося выявить конкретно-исторический характер представлений о «Другом». *Бахорский Г.-Ю.* Тема секса и пола в немецких шванках XVI века // Там же.

<sup>3</sup> *Pageaux D.-H.* La littérature générale et comparée. P., 1994. P. 62.

художественного мира из рамок обыденной достоверности, прозы (в исконном значении слова). Романтическая приподнятость, гражданская патетика, лирический подъем, моралистический пафос, словом, эмоциональная насыщенность содержания также составляет жанровую особенность поэзии. Поэтический образ мы рассматриваем как совокупность идей об иностранце, отражающую эстетические вкусы, идеологию и воображение публики, представляющую собой изображение культурной реальности<sup>4</sup>.

В изучаемый период и во французской, и в русской поэзии происходил творческий поиск, американские сюжеты<sup>5</sup> по-разному интерпретировались в произведениях представителей конкурирующих поэтических школ, что дает возможность определить своеобразие и сравнить идейно-тематическое и формально-эстетическое видение Нового Света поэтами России и Франции. При всем стилистическом разнообразии французской и русской поэзии изучаемого периода их сравнительный анализ можно провести на основе разрешения течениями и отдельными авторами базовых вопросов ремесла: о предназначении поэта и о критерии прекрасного.

### **Фигура поэта на фоне Америки**

Вопрос о предназначении стихотворца — вечный предмет поэтической рефлексии. Речь идет о социальной функции поэта, его взаимоотношениях с современным обществом. В рамках статьи можно выделить два аспекта затрагиваемой проблемы — образ поэта в США в трактовке его европейских коллег и американская тема в поэтическом багаже русских и французских поэтов, необходимым им для выполнения своего предназначения.

В изучаемый период в Старом Свете были известны имена двух американских поэтов — Генри Лонгфелло и Эдгара По, при этом оба не считались ни носителями, ни выразителями духовной квинтэссенции современных США.

Специалисты относили Лонгфелло к немецкой поэтической школе. В его наследии во Франции и России ценились философ-

---

<sup>4</sup> Ibid. P. 60-61.

<sup>5</sup> Имеются в виду США, привлекавшие внимание европейских наблюдателей своей независимостью, оригинальным политическим строем, экономическим развитием, резко отличавшими их от других государств американского континента.

ские стихотворения и «Песня о Гайавате». Поэт Ксавье Мармье (1809–1892) с согласия автора перевел его лирику на французский язык. Русские переводчики, помимо философских произведений, накануне отмены крепостного права обратили внимание на «Песни о неграх», написанные Лонгфелло еще в начале 1840-х.

Трагическая судьба Эдгара По дала поэтам более обильную пищу для размышлений на американскую тему. Французский образ По-изгоя, узника, жертвы современной цивилизации был создан Шарлем Бодлером (1821–1867). В цикле статей о его творчестве знаменитый поэт-новатор заявлял, что «Соединенные Штаты были для По лишь громадной тюрьмой... варварским законом, освещенным газом»<sup>6</sup>. Бодлер на примере Эдгара По поднял принципиальный вопрос о месте поэта в современном буржуазном обществе. В России наследие По пропагандировал Ф. М. Достоевский, который, как и Бодлер, нашел в нем родственную душу. Хотя в изучаемый период русская публика знала Э. По как новеллиста, ее априорная трактовка места поэта в США полностью совпадала с бодлеровской и вытекала из убеждения в прозаизме заокеанской жизни. По словам демократа Н. В. Шелгунова, «в По выразился антипод янки, превратившего время, небо и землю в деньги и аршин. ...Америке, гордившейся своей положительностью, По как бы хотел сказать, что ее душа лишена тонкого чувства и такого же тонкого ума»<sup>7</sup>.

Русские стихотворцы использовали образ американского поэта для придания конкретности и выразительности дорогой им антитезы *поэзия — проза, душа — материя*. Например, Л. А. Мей (1822–1862), автор либретто опер «Псковитянка» и «Царская невеста», написал стихотворение «Что такое время?» с подзаголовком «Мысль неизвестного североамериканского поэта». Обыграв выражение «Время — деньги», ставшее символом американского стиля жизни, он нарисовал образ поэта-изгоя современного прагматичного мира, который лишь в сердце находит свет истины<sup>8</sup>. В произведении «Белые и черные братья» Л. Н. Трефолева, приверженца «некрасовской» (демократической) школы, вымышленный

---

<sup>6</sup> Цит. по: *Николюкин А. Н.* Литературные связи России и США. Становление литературных контактов. М., 1981. С. 343.

<sup>7</sup> Там же. С. 342.

<sup>8</sup> Сочинения Л. А. Мея. В 3 тт. СПб., 1862–1863. Т. 2. С. 131.

«американский поэт Вильям Купер»<sup>9</sup> говорил рабовладельцам о душе и христианской морали:

Я хотел бы удалиться, убежать  
В беспредельную пустыню от людей,  
Чтоб меня не мог жестоко раздражать  
Торжествующий над правдою злодей<sup>10</sup>.

Л. Лоран-Пиша в сборнике «Поэты битвы» (Париж, 1861) с горечью писал о США, что «поэту нет места на этом празднике жизни — он присутствует, но его голос не слышен». Восхищаясь материальным прогрессом американцев, призывая прославлять его стихом, по принципиальному вопросу об общественной функции поэта Лоран-Пиша критиковал Новый Свет: «Поэт за океаном непризнан и всегда жертва. Тем не менее, именно он является олицетворением свободы и правосудия»<sup>11</sup>. Даже Максим Дю Кан (1822–1894), горячий поклонник заокеанской цивилизации, лишь в призрачном будущем увидел реабилитацию поэта в США: «Однажды, возможно, сильная Америка, которая находится сейчас среди кусков угля и пригоршней долларов, оставит свой материализм, и, желая вырасти в глазах мира, вручит судьбу поэту, редкому представителю породы людей, отмеченных даром божьим освещать разум и умиротворять души. Это будет прекрасное зрелище! Уверю вас!»<sup>12</sup>.

Русские и французские поэты задумывались о собственном предназначении. В 1850–1860-е годы эта тема актуализировалась в связи с ускорением капиталистического развития двух стран, и, как следствие, ростом антагонизма между элитарной интеллектуальной традицией и ценностями буржуазного общества и массовой культуры. Вторая империя во Франции (1852–1870), заклеянная как безвременье творческой элитой, стала эрой небывалого расцвета национальной поэзии, перекрестком крупнейших поэтических течений — романтизма, реализма и модерна (декаданса, символизма, движения парнасцев). В России, напротив, 1850–1860-е годы мож-

---

<sup>9</sup> Поэта с таким именем не существовало, Трефолев, как представляется, соединил имена наиболее известных в России американских авторов — Уильяма Чаннинга и Фенимора Купера.

<sup>10</sup> *Трефолев Л. Н.* Стихотворения. Л., 1958. С. 222.

<sup>11</sup> *Laurent-Pichat L.* Les poètes de combat. Paris, 1861. P. 111.

<sup>12</sup> *Du Camp M.* Les chants modernes. Paris, 1860. P. 51.



но считать периодом кризиса стихосложения, определенного застоя по сравнению с предыдущим «золотым веком» поэзии и последующим «серебряным». В отечественной словесности царила проза, представленная именами Гончарова, Тургенева, Писемского, Островского, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Литературоведы условно говорят о двух лагерях поэтов пореформенной эпохи — сторонниках «чистого искусства»<sup>13</sup> и «гражданской поэзии», в последней различают либерально-обличительное течение<sup>14</sup>, славянофильство и «некрасовскую» (круг Н. А. Некрасова) школу<sup>15</sup>.

По вопросу о социальной роли поэзии русские и французские стихотворцы делились на поэтов-созерцателей и поэтов-знаменосцев, т. е. пассивных и активных участников общественных процессов. Конечно, поэты-созерцатели, даже воспевая «первообразы красоты»<sup>16</sup>, выражали время, в котором они жили, но старались облекать свои отклики в поэтическо-философскую форму, лишая их конкретности. В результате общественно-политические интересы сливались в их творчестве с областью метафизики<sup>17</sup>. Например, Лиодор Пальмин (1841–1891), лирике которого свойственны абстрактность и отвлеченность, посвятил Гражданской войне в США (1861–1865) стихотворение «Свидание (мотив из североамериканского поэта)» о возвышенной любви солдата, потерявшего руку в бою, и его невесты, в патриотическо-романтическом порыве приветствующей искалеченного жениха:

Сын верный отчизны в увечье мне стал  
Милей несравненно теперь!<sup>18</sup>

Произведение Пальмина не содержало ни одного понятия, этнонима или топонима, указывающего на место и время действия, что

<sup>13</sup> А. А. Фет, А. Н. Майков, К. Павлова, Н. Ф. Щербина, Л. А. Мей, К. К. Случевский.

<sup>14</sup> А. Н. Плещеев, Ф. И. Тютчев, Я. П. Полонский, А. К. Толстой, Л. И. Пальмин, А. Н. Апухтин, Б. Н. Алмазов.

<sup>15</sup> Н. А. Некрасов, М. Л. Михайлов, Н. А. Добролюбов, В. С. и Н. С. Курочкины, Д. Д. Минаев, В. И. Богданов, И. С. Никитин, Н. П. Огарев, Л. Н. Трефолев.

<sup>16</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 тт. М., 1955. Т. 3. С. 376.

<sup>17</sup> Ямпольский И. Г. Русская поэзия 50-х – 60-х гг. XIX в. // Середина века. Очерки о русской поэзии 1840–1870 гг. Л., 1974. С. 12.

<sup>18</sup> Поэты «Искры». Л., 1950. С. 317-318, 484.

допускало его широкую интерпретацию. И действительно, в разгар русско-турецкой войны 1877–1878 гг. автор снял подзаголовок и приурочил переизданный текст к новому злободневному событию. Таким образом, Лиодор Пальмин нашел «вечный мотив» «чистой поэзии», который мог эксплуатировать при любом удобном случае.

Если в русской поэзии теория созерцательного «чистого искусства» принадлежала традиционалистам, лирикам, борющимся с модным «критическим реализмом», то во Франции лозунг «искусства для искусства» выдвинули новаторские течения (Современный Парнас, символисты). Входившие в них поэты родились в 1820-е годы, дышали романтизмом в школьную пору, вступили в литературу после революции 1848 года, развеявшей их иллюзии. К этому поколению принадлежат Ш. Бодлер, Г. Флобер, М. Дю Кан, братья Гонкур, Т. Банвиль, Ш. Леконт де Лиль, И. Тэн. По мнению исследователя вопроса, их всех объединяла экзистенциальная скука, выход из которой одни находили в натурализме, другие — в идеализме, но большинство — в «чистом искусстве», увлечении формой или прихотливостью фантазии<sup>19</sup>. Для сторонников «искусства для искусства» американская тема стала таким же объектом мифотворчества, как арабский или буддийский Восток, сказочную образность которых они использовали для возбуждения утонченных эмоционально-чувственных переживаний, для выхода из реальности в виртуальный поэтический мир.

Несмотря на популярность модернистских течений, французская поэзия сохранила революционные традиции. Каждая революция вызывала к жизни новое поколение поэтов-знаменосцев. Приход к власти Наполеона III ознаменовался репрессиями в отношении литераторов. В результате национальная революционно-демократическая поэзия в 1850-е годы развивалась в эмиграции и связана с именем Виктора Гюго (1802–1885), по убеждению которого «поэты — первые воспитатели человечества», они «ответственны за душу народа и должны формировать ее в героическом духе». Гюго был последовательным и непримиримым противником Наполеона III. Американские сюжеты использовались поэтом в борьбе с имперским режимом, особенно дорожил он образом Джорджа Вашингтона

---

<sup>19</sup> Sagnes G. L'ennui dans la littérature française. De Flaubert à Laborgue (1848–1884). Paris, 1969. P. 237.

тона. Один из отцов-основателей США олицетворял для него просвещенное управление государством, цивилизацию в самом общем смысле слова. Зная об этом, принц-президент Луи-Наполеон, добиваясь поддержки авторитетного депутата Гюго, представился ему подражателем Вашингтона, но не сумел обмануть поэта<sup>20</sup>. В стихотворном цикле «Устойчивость обеспечена» (сборник «Возмездие»), явившемся откликом на государственный переворот 2 декабря 1852 г., Гюго писал: «Падите ниц, слова! На колени закон, свобода, отчизна!... // Теперь лишь в силе правота! Смиримся же! // Падите ниц, Вашингтоны! Да здравствуют Аттилы!»<sup>21</sup>.

Либерализация Второй империи в 1860-е годы позволила опальным поэтам публиковаться на родине. Жак Ришар, Огюст Верморель, Альбер Ферме, Эммануэль Дюран, Артур Луве, объединившиеся под условным названием поэтов-«политиков», жаждали «принести счастье народу». Для них поэзия — это действие, поступок, борьба<sup>22</sup>. Примером использования американской темы молодыми «политиками» может служить произведение «Смерть Линкольна» Артура Луве (1866). Автор в стихотворной форме воспроизвел дискуссию во французских общественно-политических кругах о роли главы государства при демократическом строе. Правые издания считали, что внезапная гибель лидера страны ведет к дестабилизации ситуации, разрушению внутривнутриполитического равновесия. Левые публицисты настаивали на том, что убийство А. Линкольна — это бесчеловечный поступок, личная трагедия, но не политический кризис. Луве, разделяя демократические взгляды, подчеркивал в стихотворении, что лишь смерть короля приносит хаос стране, в США «лидер, умирая, оставил нации // Принципы, законы, конституцию»<sup>23</sup>.

Революционные традиции русской поэзии XIX века представлены именами просветителей, декабристов, народников. К середине века поколение просветителей, превозносивших гражданские и политические свободы и на этой основе идеализировавших США<sup>24</sup>, сменилось, с одной стороны, радикальными демократами, увязывавшими свободу с общинным социализмом, с другой — либерала-

<sup>20</sup> *Séguin Ph.* Louis Napoléon Le Grand. Paris, 1990. P. 121.

<sup>21</sup> *Hugo V.* Les châtiments. Paris, 2002. P. 108.

<sup>22</sup> *Badesco L.* La génération poétique de 1860. 2 vol. Paris, 1971. T. 1. P. 189-191.

<sup>23</sup> Archives de l'Académie française. AF-2. D 64. G 67. № 75. Louvet. P. 1.

<sup>24</sup> *Николюкин А. Н.* Указ. соч. С. 61-76.

ми-реформистами, возлагавшими надежды на новое царствование. Американские образы занимали в их поэтическом багаже скромное место. Но даже немногочисленные строфы о заатлантической республике, демократии в США, рабстве негров («Предостережение» М. Л. Михайлова, «Белые и черные братья» Л. Н. Трефолева, «Современный чародей» В. Р. Щиглева) рассматривались цензурой как угроза существующему строю и запрещались к печати.

В условиях самодержавной России единственной легальной формой реализации активной общественной функции поэта явилось так называемое *обличительство*. Сторонники данного направления занимали промежуточное положение между поэтами-созерцателями и поэтами-знаменосцами. Течение сформировалось в ответ на либеральную весну александровского царствования. Интеллигенция на короткое время поверила в силу слова. Критический потенциал отечественной общественной мысли реализовался на страницах сатирических изданий («Весельчак», «Гудок», «Заноза», «Оса», «Будильник», «Якорь», «Искра»). Редакции многих из них возглавляли поэты (М. П. Розенгейм, В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев), американские примеры использовались ими для критики российской действительности, например, либеральной риторики. «Свобода» оказалась самым востребованным понятием в общественно-политическом дискурсе пореформенной России, превратилась в риторическую фигуру, в обязательный, но уже бессмысленный атрибут речей и публикаций. Поэт Б. Н. Алмазов (1827–1876) обличил наметившуюся тенденцию в стихотворении «Послание к чиновнику-либералу». Автор писал о сокурснике, сделавшем карьеру от канцеляриста до главы отдаленной губернии:

Твои друзья кричали всюду,  
Что ты правитель просто чудо: (...)  
Что ты устроил для народа  
Не жизнь, а медленный восторг,  
И что такая там свобода,  
Какой не видывал Нью-Йорк<sup>25</sup>.

Упоминание в стихотворении Нью-Йорка свидетельствовало об использовании американских аналогий российским модернизационным процессам в лексике либерального чиновничества, кон-

---

<sup>25</sup> Алмазов Б. Н. Сочинения. В 3 тт. М., 1892. Т. II. С. 248-249, 250.

текст его употребления поэтом, разоблачавшим провинциальную лень и бюрократию, раскрывал лицемерие властей предержавших.

Таким образом, интерес к американским сюжетам в большей мере характерен для поэтов, занявших активную общественную позицию. Литераторы периода Второй империи, сознательно выбору придерживавшиеся аполитизма и русские сторонники «чистой поэзии» бежали от повседневности в область чувств и переживаний. Образ поэта представлялся им трагической фигурой на фоне современной цивилизации, судьба Эдгара По казалась наглядным примером конфликта истинного творца и буржуазного общества. Виктор Гюго и молодое поколение политизированных поэтов продолжили борьбу с режимом, используя в качестве аргументов американские исторические персонажи, заокеанский пример государственно-правового строительства, современные события в США. В более суровой атмосфере царской России американская тема оказалась в арсенале поэтов-«обличителей», но не получила у них яркой, выразительной образности из-за нарастающего к концу 1860-х гг. консерватизма властей и в значительной мере искусственного характера этого течения.

### **США с точки зрения теории прекрасного**

Для теоретиков поэтического слова определение критерия прекрасного — краеугольный камень ремесла. Русские поэты середины XIX века в борьбе двух течений сформулировали антагонистичные доктрины, французы, при множестве поэтических школ, решали вопрос более нюансированно. Для приверженцев «чистого искусства» (идеологи В. П. Боткин и А. В. Дружинин) критерием прекрасного являлась красота (идеальное, гармоничное, вечное), для «реалистов» (главный теоретик — Н. Г. Чернышевский) — все то, что интересно человеку, что его окружает и влияет на его жизнь.

Французские поэты были разнообразны в определении предмета поэтического творчества. Романтизм продолжал исследовать мир человеческих страстей, символисты искали прекрасное в законах построения стиха, круг Ш. Бодлера изучал торжество зла в человеческом обществе, позитивисты преклонялись перед социально-экономическим и научно-техническим прогрессом, парнасцы воспевали красоту великих сюжетов и вечных тем. Обилие точек зрения на критерий прекрасного предопределяло плюралистическое видение Америки поэтами Франции.

Литераторов, считавших себя врагами рутины обыденной жизни, привлекали дикие для европейцев флора и фауна американского континента, его краснокожие аборигены. Экзотизм считается одним из традиционных приемов литературного творчества и выражается двояко — как пространственный (в описании далеких стран) и как временной (в обращении к прошлому)<sup>26</sup>. Главная черта экзотического образа состоит в том, что он рисует не повседневную реальность, а «особенно сильные впечатления», яркое разнообразие пейзажей, нравов, институтов. Экзотический потенциал описываемых краев зависел не только от территориальной удаленности, но и от их отличия от европейских образцов. По этому критерию следует различать ретроспективные поэтические образы доколумбовой или колонизируемой Америки, как принципиально иного мира, и интерес к современным США, воспринимавшимся как часть западной цивилизации, отделенной от нее океаном.

Этноприродный экзотизм выражался в представлениях об Америке как о предыстории цивилизации, не случайно такого рода произведения изобиловали эпитетами «девственная», «первобытная», «наивная», «чистая», «заповедная» страна. К середине XIX века индейская тема исчерпала потенциал новизны для французской публики, благодаря утвердившемуся позитивистскому мировоззрению она воспринималась как анахронизм. Из-за технологической отсталости и экстравагантных обычаев краснокожих, отсутствия у них христианской этики, а также в силу очевидного европоцентризма французов, индейцы приобрели негативный художественный образ и нужны были особые средства выразительности, чтобы вновь привлечь к ним внимание читателей.

Принципиально важно различать индейскую тематику в творчестве романтиков и модернистов. Первые исходили из просветительской, руссоистской концепции примитивного человека, которого цивилизация может испортить, а правильное воспитание — спасти. Вторые, напротив, отказывались от рационализма в пользу иррациональности, дикости, хаоса, фантазии. Их индейцев нет в реальности, они, как призраки, выходят на свет по прихоти поэта.

Индейскую тематику в традиционном ключе разрабатывал Альфред де Виньи (1797–1863), представитель старшего поколения

---

<sup>26</sup> Jourda P. L'exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand. 2 vol. Genève, 1970. Т. I. P. 11-12.

французских романтиков, а по отзывам коллег по цеху, поэтический приемник Шатобриана, основоположника американских мотивов национальной литературы<sup>27</sup>. В поэме «Дикарка» автор обыграл контраст между индианкой и белым для выражения антитезы первобытного хаоса и цивилизации (порядка, разума), поэтому американский этноприродный экзотизм вторичен в произведении, служит иллюстрацией к философскому тезису Виньи<sup>28</sup>. По сюжету поэмы, спасаясь от кровожадного гурона, индианка в одежде из бересты, с двумя детьми на руках, ищет убежища у белых. Представление об американцах сложилось у Виньи по рассказам отца-моряка, из личного знакомства с гражданами США, проживавшими в Париже, а также под впечатлением от книги экономиста Мишеля Шевалье «Письма о Северной Америке»<sup>29</sup>. Виньи симпатизировал заокеанским жителям, идентифицируя их с фермерами-демиургами. Именно такой идеальный образ белого человека поэт нарисовал в «Дикарке». «Англо-американец, кочевник, понтифик в своем доме»<sup>30</sup>, воплощал руссоистский просветительский тип, сочетающий протестантизм с картезианским рационализмом, что позволяет говорить об архаичности представлений Виньи, оставшегося в рамках эстетики и проблематики XVIII века.

Однако в трактовке индейцев поэт занял более современную позицию. Он отверг и мысли Руссо о Золотом веке первобытного состояния и идею Ж. де Местра о вине индейской расы за старые грехи. Положительный герой «Дикарки», американец произносит пламенную речь: «Краснокожие! Дети, что вы наделали? (...) И вот вы обречены — // Это проявление высшего Закона. // В Европе он тяжел, бесстрастен и силен, // Но он богоданный, ибо в центре его — Справедливость!»<sup>31</sup>. По убеждению Виньи, индейцы обречены на исчезновение с лица земли, так как их устои асоциальны и бесчеловечны по сравнению с законами европейской цивилизации. Изучение литературных и публицистических произведений, так или иначе

---

<sup>27</sup> *Vigny A. de. Œuvres poétiques. Paris, 1978. P. 433; Baldensperger F. Les Etats-Unis d'Amérique dans la vie et les idées d'Alfred de Vigny // Revue de la littérature comparée. 1923. P. 616.*

<sup>28</sup> *Jourda P. Op. cit. T. II. P. 161.*

<sup>29</sup> *Ibid. T. II. P. 161.*

<sup>30</sup> *Vigny A. de. Op. cit. P. 214.*

<sup>31</sup> *Ibid. P. 215-216.*

касавшихся индейской темы, позволяет утверждать, что А. Виньи в поэтической форме выразил коллективное французское восприятие краснокожих в середине XIX века. В отношении истребления индейцев даже самая рафинированная интеллектуальная элита Старого Света испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, она ощущала культурную утрату, с другой — признавала необходимость этой жертвы перед лицом прогресса, «бремени белого человека»<sup>32</sup>.

Убеждения модернистов, напротив, шли вразрез с массовыми стереотипами. В их интерпретации краснокожие оставались жестокими и дикими язычниками, но именно в этом поэты нового поколения видели их очарование. Парнасец Сюлли Прюдом в поэме «Америка» размышлял об индейцах: «(Бог) не поместил, как нам, // В их череп гений, не дал им в руки плуг. // Он им позволил бегать в девственной саванне, // Охотиться, спать, открыто следовать инстинктам без угрызений совести». Белые цивилизаторы, по мысли автора, отняли у краснокожего ниспосланные свыше блага: «Он должен вечно скитаться из Содома в Гоморру, // И повсюду злодеи кричат ему: “Это место для нас!”»<sup>33</sup>.

Ш. Бодлер попытался обосновать превосходство индейцев над белыми. Во-первых, по его мнению, индеец имеет «энциклопедические знания» (в современных терминах, обладает синкретической картиной мира), тогда как европейцы слишком увлеклись специализацией (то есть их знания о мире фрагментарны). Белые выдумали философию, чтобы прикрыть свои несовершенства, а индеец — хороший супруг, храбрый воин, поэтическая натура — без усилий приблизился к идеалу<sup>34</sup>. В подтверждение своих теоретических выкладок Бодлер написал стихотворение «Трубка мира» об индейском боге Маниту<sup>35</sup>. По мнению модернистов, краснокожий не благороден, но и не порочен, он вне морали и выше ее, жил непросвещенным, но по инстинктам, и в этом был и мудр, и прав. Таким образом, во французской поэзии произошли значительные

---

<sup>32</sup> Подробнее см.: *Delanoë N. Dernière rencontre, ou comment Baudelaire, George Sand et Delacroix s'éprient des Indiens du peintre Catlin // Destins croisés. Cinq siècles de rencontres avec les Amérindiens.* Paris, 1992. P. 263.

<sup>33</sup> *Prudhomme S. Poésies.* 1865–1867. Paris, 1883. P. 246-247.

<sup>34</sup> *Baudelaire Ch. Œuvres complètes.* Paris, 1968. P. 349.

<sup>35</sup> *Baudelaire Ch. Les Fleurs du mal.* Paris, 2000. P. 224-227.



изменения в трактовке образов индейцев на фоне падения интереса к ним читающей публики.

Русские поэты изучаемого периода были мало восприимчивы к этноприродному экзотизму Нового Света, несмотря на то, что для представителей «чистого искусства» характерно использование особого, возвышенного языка, вдохновение необычными образами. В середине столетия представления о США читающая публика продолжала черпать из произведений Ф. Купера и его подражателей, воспринимая природу Америки в неразрывном единстве с ее краснокожими обитателями. В русской поэзии XIX века индейская тема не была привязана к США, поэты окидывали взором весь континент и всюду находили смертельное столкновение природы с цивилизацией. Л. А. Мей в «Арашке» вздыхал об истребленных индейцах Ориноко, Н. П. Огарев (1813–1877) в «Америке» размышлял о канувшем в безвестность племени:

И знаем мы только:  
Теперь его нет!  
Зачем оно было?  
Кто даст мне ответ?<sup>36</sup>

В русской литературе 1850–1860-х гг. произошло резкое изменение отношения к куперовской поэтике Америки. Тематика и стилистика его произведений утратили достоинства и в глазах поэтов «чистого искусства», и их оппонентов. Для А. В. Дружинина Купер — «неровный талант», его произведения «способны усыпить человека, каждую ночь страдающего бессонницей»<sup>37</sup>. Для теоретика новой эстетики Н. Г. Чернышевского произведения Купера «хороши и пусты», «этнографические романы», «не то, что Гоголь, и читать их можно только раз»<sup>38</sup>. Важно добавить, что в изучаемый период резко изменились философско-мировоззренческие установки части русской интеллигенции — идеализм Гегеля уступил место теориям Милля, Конта, Прудона. Индейцы Северной Америки были забыты поэтами ради сюжетов, казавшихся актуальными, общественно значимыми.

<sup>36</sup> Огарев Н. П. Избранные произведения. В 2 тт. М., 1956. Т. 1. С. 153.

<sup>37</sup> Библиотека для чтения. 1854. Т. 123. Отдел VI. С. 30.

<sup>38</sup> Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. В 15 тт. М., 1939. Т. 1. С. 152, 154-155.

Для большинства авторов природный экзотизм Нового Света исчерпывался причудливо звучащими топонимами (Ниагара, Миссисипи, Флорида), шаблонными образами «девственных лесов», сикомор, прерий. Ими поэты лишь обозначали место действия изображаемых персонажей. Каролина Павлова (1807–1893) была сторонницей «чистого искусства», «мотыльковой поэзии», по выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина. Она ценила стихотворную форму, питала пристрастие к необычным, острым рифмам и образам. В произведении «Душа» герой переносится мыслью в самые экзотические уголки мира:

В странах далеких или близких,  
В тревоге тяжких дней  
На берегах Миссисипийских,  
На высях Пиреней –  
(...) Где ни бродил с душой унылой,  
Как ни текли года,  
Все душу слал к подруге милой  
Везде я и всегда!<sup>39</sup>

В 1850-е годы имя «Отца вод» стало известно русской публике благодаря «движущейся картине Миссисипи», выставленной в столице. Судя по описаниям, панорама состояла из склеенных акварелей, изображавших местности по течению великой реки<sup>40</sup>. Каролина Павлова использовала ставший популярным американский этноним для придания экзотического колорита путешествиям героя стихотворения «Душа».

Похожая ситуация сложилась в современной французской поэзии. Традиционные романтическая и реалистическая школы, ставившие во главу угла человека и его отношения со средой, редко вдохновлялись красотой дикой природы Америки. Публицист Огюст Кошен охарактеризовал особенность французского взгляда за океан: «Леса Америки, надо было бы иметь в своем распоряжении краски поэзии и живописи, чтобы Вас описать, но все читали поэтов и романистов, Купера, Шатобриана, знакомы с восхитительными описаниями Генри Лонгфелло. Все это очень красиво в поэзии, можно

---

<sup>39</sup> Русские поэты в биографиях и образцах. Сост. Н. В. Гербель. Изд. 2-е. СПб., 1880. С. 685.

<sup>40</sup> Санкт-Петербургские ведомости. 2 января 1853 г.

придумать много прекрасных строк, сидя в мягком кресле, но в реальности мало поэтического в жизни в этих чашах»<sup>41</sup>.

Природный экзотизм Америки нашел поклонников преимущественно в нарождающихся формалистских течениях, культивировавших изощренную образность. Например, Ш. Леконт де Лиль, признанный лидер парнасцев, сделал искусство убежищем от агрессивной реальности и обратился к историческим и мифологическим сюжетам. Он предложил редчайшее в современной поэзии подробное описание природы края по ту сторону Тихого океана: «Кедры и сосны, бук и клен // В античной гордости седых веков // Протянули к небу негнущиеся ветви // От благородных извивов почтенных корней // До густых крон, разгоряченных летним зноем»<sup>42</sup>. Поэт пытался затронуть все органы чувств читателя — здесь и душистые ароматы, и блики солнца, играющие на листьях, и сонное сопение лося. В неспешной музыке слов Лиль находит мотив для каждого обитателя американского леса — пантер, волков, пум, медведей, черных лебедей, пестрых попугаев, гремучих змей. В эпитетах и рифмах стихотворения видны изысканность и стилизация, характерные для эстетики Леконта де Лиля. В результате в произведении, посвященном смерти последнего индейца («Трубка Сашема»), декоративные элементы заметно преобладают над содержательными, этническая оригинальность краснокожего полностью растворяется в природном экзотизме Америки.

Вокруг Шарля Леконта де Лиля собрались Теодор де Банвиль, Луи Буйе, Виктор де Лапрад, Альбер Глатиньи, Франсуа Коппе, Сюлли Прюдом, Хосе-Мария де Эредиа, Стефан Малларме, некоторые из них вслед за своим вождем уносились в воображении за океан<sup>43</sup>.

В целом, американская этноприродная экзотика не имела самостоятельной содержательной ценности ни для традиционных, ни для модернистских течений французской поэзии. Даже тонкие лирики не искали вдохновения за океаном. Это связано со смутным представлением о флоре и фауне Северной Америки, с вытеснявшим его ярким образом современной американской цивилизации, с

<sup>41</sup> *Cochin A.* Conférences et lectures. Paris, 1877. P. 11.

<sup>42</sup> *Œuvres de Leconte de Lisle.* Poèmes tragiques. Paris, s.d. P. 145.

<sup>43</sup> *Prudhomme S.* L'Amérique // Poésies. 1865–1867. Paris, 1883. P. 246–247; *Mallarmé St.* La tombe fermée // Œuvres complètes. Poésies. Paris, 1983. P. 35.

усталостью читающей публики от индейской темы, с нарастающим потоком других экзотических сюжетов из-за активизации французской колониальной экспансии в Африке и Юго-Восточной Азии.

Сравнивая тему американского этноприродного экзотизма в русской и французской поэзии, можно говорить о ее скромном присутствии в обеих, объясняющимся изменением коллективного восприятия, новыми общественными потребностями. Романтические и реалистические школы отразили эти изменения, обозначив закат индейской темы в поэзии 50–60-х гг. XIX века. Новые течения французской поэзии дематериализовали экзотизм Америки в поисках виртуальной альтернативы реальному миру. В их стихах американские мотивы ценятся ради их экстравагантного звучания, значимы для формальных экспериментов в области стихосложения.

Большой отклик русских и французских поэтов получила современная американская цивилизация. По утверждению Г. Сэня, автора монографии «Скука во французской литературе», при Второй империи «слово “американский”» перестало ассоциироваться с лесными дебрями в пользу обозначения им бессердечной цивилизации. Америка — более не страна, куда прячутся в нежности, а источник силы, иногда величественной, но чаще жестокой»<sup>44</sup>. При взгляде в сегодняшний день Америки перед поэтами с еще большей остротой вставал фундаментальный вопрос о критерии прекрасного, о том, есть ли красота в США. Подавляющее большинство поэтов отрицало поэтическую привлекательность современной американской цивилизации.

Многие литераторы отвергали США как слепок с западноевропейского буржуазного общества. Несмотря на то, что Вторая империя — период относительной стабильности и растущего благополучия французов, творческая элита чувствовала себя в ней некомфортно. В частности, интеллигенцию угнетали омассовление культуры, индустриализация, урбанизация, духовная нищета населения. Сытой Европе художники слова пророчествовали о закате западного мира. Французские поэты были проникнуты искренним презрением к «буржуа», к которым относили «всех тех, кто прозаическим способом зарабатывал себе на жизнь»<sup>45</sup>. Поэтому их отзывы

<sup>44</sup> Sagnes G. Op. cit. P. 227.

<sup>45</sup> Цит. по: История французской литературы. В 3 тт. М., 1956. Т. II. С. 327.

об американском капитализме звучали порой резко. Например, парнасек Сюлли Прюдом приготовил для американцев такие эпитеты, как «наши авантюристы», «апостолы гнусности», «насильники», «солдафоны Старого Света», «торгаши-пройдохи». В поэме «Америка» он прямо обращался к гражданам США: «К чему хорошему, о, несчастные, ведут двери ваших лавок, // Если в своем чреве вы несете принцип зла?»<sup>46</sup>. В финале поэт предстает печальным пророком: «О, земля Колумба! Твоя участь тривиальна; // Мы тебя считаем благословенной, но ты ею давно не являешься»<sup>47</sup>.

В России господствовали сходные настроения, объединившие в восприятии современных США два антагонистических течения отечественной поэзии. Н. А. Добролюбов обозначил тенденцию русского восприятия США: «Большой частью полагают, что это тоже Англия, только уже до крайности практическая и материальная. Вот и все...»<sup>48</sup>. Его соратник М. Л. Михайлов поддержал эту мысль в стихах о древних цивилизациях континента:

Вот она, Америка!  
Вот он, вот он, Новый свет!  
Не теперешний, что начал  
Увязать в европеизме.(...)  
Не кладбище романтизма  
Этот Свет, — не куча хлама,  
Крытых плесенью символов,  
Париков окаменелых<sup>49</sup>.

Как известно, для политических иммигрантов европейских стран Америка была надежным вариантом спасения от репрессий. Часть французских республиканцев с приходом Второй империи перебралась в Штаты. Русские политические эмигранты видели в поездке за океан физическое спасение, но политическую смерть. Мысль об этом выразил Н. П. Огарев в «Полярной звезде»:

...Вы не зарезались? Еще, быть может,  
Жить хочется? Так что ж? Скорей, скорей!

<sup>46</sup> Prudhomme S. Poésies. 1865–1867... P. 245-246.

<sup>47</sup> Ibid. P. 246-247.

<sup>48</sup> Добролюбов Н. А. Рецензия на «Путешествие по Североамериканским Штатам, Канаде и острову Кубе» А. Лакиера // Собрание сочинений. В 9 тт. М.-Л., 1962. Т. 4. С. 217.

<sup>49</sup> Библиотека для чтения. 1864. № 1. Отд. IV. С. 1.

Бегите в степь, где разве вихрь тревожит,  
В Америку — туда, где нет людей!  
И до седин бесплодно доживая,  
С отчаяньем в груди умрете там...<sup>50</sup>

Развитие капитализма и территориальная экспансия США лишили русских социалистов даже этой призрачной возможности. «Куда бежать? — спрашивал А. И. Герцен. — Уильям Пенн вез с собой старый мир на новую почву. Северная Америка — исправленное издание прежнего текста, не более»<sup>51</sup>. Близкий кругу Герцена эмигрант Иван Головин вернулся из-за океана крайне обескураженный современными США. «Союз был велик в колыбели, взрос в болезни и недуге», — заявил он<sup>52</sup>.

Французские утопические социалисты также с надеждой и тревогой смотрели на Америку. В отличие от других западноевропейских стран, во Франции утопическая мысль была влиятельна и принесла конкретные плоды в виде обильной литературы, трудовых ассоциаций и фаланстеров. В поисках современного рая коммунисты обратили внимание на США. Здесь они основали поселения, сюда звали соотечественников. Например, поэт-рабочий Клод Жену написал «Песню ассоциаций»: «Насмешками нас оскорбляют, // Эгоизм мешаает нам идти. // Но потерпите, друзья, мужайтесь! // Счастье нас ждет там, за океаном. // Лишь там наше лучезарное будущее, // Благословенное время, когда наши дети поблагодарят своих предков! // Вперед! Прощай, старый мир!»<sup>53</sup>. Покидая Европу, утопические социалисты отнюдь не стремились влиться в американское общество, напротив, избегали контактов с ним, так как отрицали базовые ценности американцев — индивидуальную свободу, стремление к обогащению, предприимчивость и конкуренцию.

Поэты, демонстративно отмежевавшиеся от прозы жизни, были далеки от политэкономии или размышлений о путях капитализма. Лишь непосредственный контакт с лицами или предметами, связанными с американской темой, мог побудить их высказаться. На примере восприятия русскими и французскими поэтами отъезда

<sup>50</sup> Огарев Н. П. Указ. соч. Т. 1. С. 254.

<sup>51</sup> Герцен А. И. Собр. соч. В 30 тт. М., 1955. Т. 6. С. 28.

<sup>52</sup> Записки Ивана Головина. Лейпциг, 1859. С. 166.

<sup>53</sup> Genoux C. Chant des associations. s.l, s.d.

в США знаменитой трагедийной актрисы Элизы Рашель (1821–1858) можно увидеть, что они отождествляли заатлантическую республику с буржуазными обществами Западной Европы.

Рашель, известная актриса французского театра, много гастролировала по миру. Однако именно поездка за океан была болезненно воспринята публикой. В печати язвили, изображая, как Рашель будет выступать перед мормонами, гуронами, апачами, ирокезами<sup>54</sup>. Один из ее поклонников обращался к актрисе в стихах: «Увы, ради золота ты оскорбляешь благородную музу, // И гений свой, и сердце»<sup>55</sup>. Парнасец Э. Вилемен трактовал сюжет как личную трагедию и высокую миссию Рашель: «...Без испытаний кто может стать великим?... // Золото разорвет тебе грудь // Когтями стервятника. // На век стань Прометеем, // Покажи перепуганной толпе // Какому идолу она молится»<sup>56</sup>. Смерть актрисы в США от чахотки стала для ее соотечественников иллюстрацией к библейским заповедям о кумирах, золотых тельцах и каре божьей.

Накануне тура по США Рашель посетила Россию. Аполлон Григорьев (1822–1864) в стихотворении «Искусство и правда» (1854) критически отреагировал на ее выступления в Петербурге и последующий отъезд в Америку. На восприятие поэта повлияли недавняя кончина великого актера В. А. Каратыгина, оплаканного всей русской интеллигенцией, официальная националистическая идеология николаевского царствования, а также собственное творческое кредо<sup>57</sup>. Для нас более интересен тот факт, что имя актрисы Григорьев, как и его современники, прочно связал с Америкой и в этой связи воспринимал в негативном ключе:

Пусть будет фальшь мила Европе старой  
Или Америке беззубо-молодой,  
Собачьей старостью больной...  
И пусть в восторге целый свет,  
Но наши неуместны восхищенья.  
У нас иная жизнь, у нас иная цель!

<sup>54</sup> Chevalley S. Rachel en Amérique. Paris, 1957. P. 23.

<sup>55</sup> Ibid. P. 21.

<sup>56</sup> Le parnasse contemporain. Paris, 1866. P. 245-247.

<sup>57</sup> Аполлон Григорьев создал собственную «органическую» теорию, базовое понятие которой — автономная, самодостаточная народность. В 1860-е годы поэт сблизился с Ф. М. Достоевским и «почвенниками».

Америке с Европой мы — Рашель,  
Столодвижение, иные ухищренья  
(игрушки, сродные их старческим летам)  
Оставим... Пусть они оставят *правду* нам!<sup>58</sup>

Начавшая Крымская война захватила поэта, как и все русское общество, волной патриотизма, вызвала неприятие Запада. Рашель, уезжавшая в США ради денег, связывала собой в воображении поэта Европу и Америку одной системой ценностей.

Наряду с эмоциональным, безапелляционным отторжением США как подобия старых европейских обществ, поэты, считавшие объектом творчества реальную жизнь, пытались дать рациональное объяснение своего отношения к ним. В целом они признавали созидательный потенциал страны, видели в ней прототип будущей цивилизации. В таком случае США превращались из имитатора европейской цивилизации в локомотив истории. Это признание было в духе времени и для пореформенной России, и для Второй империи.

Идеология либерального реформирования Александра II, так же как сенсимонизм, исповедуемый Наполеоном III, подразумевали обращение к передовому экономическому опыту. Поклонники американского пути развития были влиятельны в правящих кругах и публицистике двух стран<sup>59</sup>. Тем не менее, художественная литература никогда не ориентировалась на критерий практической пользы, поэтому образ современной Америки стал камнем преткновения для

---

<sup>58</sup> Григорьев А. А. Искусство и правда (Элегия-ода-сатира) // Стихотворения, поэмы, драмы. СПб., 2001. С. 114-116.

<sup>59</sup> Во Франции экономист и публицист Мишель Шевалье, побывавший в 1830-х гг. в США, в правление Наполеона смог реализовать свои смелые планы. Принц Наполеон, кузен императора, руководил подготовкой и проведением Всемирных выставок в Париже, ставших для соотечественников символом «американизации» Франции. В 1861 г., в начале Гражданской войны, он посетил Штаты, журнал его путешествия — отчет об американских экономических, промышленных, технических инновациях, полезных и для Франции. Для России эпохи Великих реформ, взявшей курс на капиталистическое будущее, идеология, стратегия и результаты развития США также представлялись интересным примером. Среди «константиновцев» (реформаторов из числа высших чиновников, сплотившихся вокруг либерально настроенного великого князя Константина, брата императора Александра II) и близких им либеральных чиновников, публицистов, экономистов было немало поклонников и популяризаторов американского опыта.



поэтов пореформенной эпохи. Ее буржуазно-прагматический характер, пропагандировавшийся инициаторами российской модернизации, вступал в противоречие с поэтическим восприятием мира и творческими принципами представителей «чистого искусства». Правильное и прекрасное — разные по смыслу понятия. США как образец правильного (лучшего) социального, экономического, политического развития — содержательная тема для отечественной прозы, публицистики, журналистики, социально-гуманитарных наук. Прекрасные США — сюжет практически невообразимый в эстетике «чистой поэзии», сосредоточившейся, в основном, на лирике.

Идейные противники поэтов-эстетов, как правило, сторонники особого пути России, критически воспринимали заокеанскую буржуазную республику. Молодое поколение писателей и поэтов, нацеленное на пользу и дело («обличители», «некрасовцы», нигилисты), не нашло новую прелесть США, достойную прославления стихом, эпизодически вспоминало о Новом Свете. Например, В. И. Богданов (1837–1886), приверженец «некрасовской» школы, автор популярной песни «Дубинушка», опубликовал в журнале «Искра» (1867) произведение «Время — деньги! Time is money», в котором сопоставил исконное значение этого выражения с его русской интерпретацией.

Сэр Джон Буль и мистер Янки  
 “Times is money” говорят.  
 В их конторе, в лавке, в банке  
 Каждым часом дорожат<sup>60</sup>.

Сатира в произведении Богданова заключалась в противопоставлении англичан и американцев, использующих время для зарабатывания денег, и русских, тратящих его за карточной игрой. Янки представлен в стихотворении образцом созидательной активности. Примером для русских демократов, поднявших так называемый «женский вопрос» (о праве женщин на высшее образование и квалифицированный труд) служил образ американки Элизабет Блекуэлл, первой получившей диплом доктора<sup>61</sup>. В борьбе за демократизацию школы они также обращались к американ-

<sup>60</sup> Богданов В. И. Собрание стихотворений. М., 1959. С. 210.

<sup>61</sup> Вейнберг П. И. Элегия (один из современных вопросов с поэтической точки зрения) // Поэты 1860-х годов. Л., 1968. С. 190.

скому опыту. В. Р. Щиглев (1840–1903), разоблачая официальную политику в сфере народного образования, заявлял в произведении «Современный чародей» (1868):

Масса темного народа  
Уж давненько света ждет, —  
Что без разума свобода?  
Что младенец в ней поймет?  
Негры поняли недавно,  
Где причина многих зол,  
Принялись за дело славно  
И — в Ричмонде сорок школ!<sup>62</sup>

Таким образом, поэты демократического лагеря использовали американские примеры для иллюстрации, популяризации собственных радикальных воззрений, современные США как цивилизационный феномен не становились объектом их внимания.

В среде французских поэтов впечатляющие достижения американцев произвели гораздо больший резонанс, прежде всего, благодаря ревизии понимания прекрасного. Социальный, экономический и технических прогресс являлись неотъемлемой частью официальной идеологии Второй империи, одним из символов наполеоновской пропаганды. Его видели в кольце парижских бульваров, в мире, спрессованном на территории Всемирных выставок, и многие хотели, чтобы художники слова воспели пар. Однако для эстетов, не желавших пользоваться конъюнктурой, эта тема казалась скучной, едва ли не оскорбительной. Новый облик столицы и вкусы современной публики воспринимались ими как «американизация» Франции. Например, известный литератор Э. Гонкур отозвался о Всемирной выставке 1867 года, как о «последнем ударе, американизации Франции, при которой индустрия вытеснила искусство, паровые молотилки заняли место картин, а ночные горшки заменили собой статуи»<sup>63</sup>. Популярный журналист Барбей д'Оревили писал с раздражением: «Американизм... нас затопил и уже переполняет, прежде всего, грубостью и загрязнением языка»<sup>64</sup>.

Тем не менее, ценностная, предметная, идейная экспансия США в быт, язык, культуру французов настоятельно требовала эс-

<sup>62</sup> Поэты «Искры». Л., 1950. С. 414–415.

<sup>63</sup> *Goncourt E. et J. de, Le journal*. 3 vol. Paris, 1986. Т. II. P. 64.

<sup>64</sup> Цит. по: *Sagnes G. Op. cit.* P. 228.

тетического осмысления. Левый поэт Л. Лоран-Пиша настаивал на эстетическом потенциале индустриальной повседневности, спасающем «нас от сумрачных мечтаний»<sup>65</sup>. Среди его «прогрессивных» единомышленников Максим Дю Кан наиболее радикально решил вопрос о предмете поэзии. Критерием прекрасного Дю Кан провозгласил истину, правду жизни: «Воспевайте мир! Славьте будущее человечества! // Бросьте взгляд через Атлантику, // В трудах вы застанете сильную Америку — // С засученными рукавами, уверенностью в душе и в поте лица!»<sup>66</sup>.

В период работы над «Современными песнями» Дю Кан находился под сильным влиянием сенсимонистов, считавших развитие коммуникаций, международное разделение труда, рост товарообмена, научно-техническую революцию главными факторами социального прогресса. Дю Кан стихом прославил братьев Пар и Газ, их сестер Электроэнергию и Фотографию, а также Бобину, Локомотив, Хлороформ. Все эти понятия он писал с большой буквы, тем самым одушевляя их, представляя человеку граждан новой цивилизации. Коллеги вдоволь поиздевались над его дерзкой выходкой. И. С. Тургенев из Парижа писал С. Т. Аксакову: «Один стихотворец вообразил, что нужно “проводить” реализм — и с усилием, с натянутой простотой воспекает “Пар” и “Машины” — ...капли нет поэзии»<sup>67</sup>. Однако публика не разделяла мнения профессиональных поэтов, раскупила тираж, вскоре «Современные песни» были переизданы.

Деятнадцатый век — это гимн человеческому могуществу. Технический прогресс был не просто насущной потребностью, но и феноменом моды, в изучаемый период он из специально-научной сферы переместился в область общественно значимых задач. Внимание французской публики 1850–1860-х гг. к научно-техническому прогрессу явилось не только выражением утилитарного мировоззрения, но и реакцией на запрет политических дебатов<sup>68</sup>. В исторической перспективе поэтизация техники в середине XIX в. была малопродуктивным экспериментом, вычеркнута из памяти читателей следующих поколений, тем не менее, в конкретных

<sup>65</sup> *Lorant-Pichat L.* Op. cit. P. 96.

<sup>66</sup> *Du Camp M.* Op. cit. P. 55, 57-58, 63.

<sup>67</sup> Переписка И. С. Тургенева. В 2 тт. М., 1986. Т. 1. С. 344.

<sup>68</sup> *Yon J-C.* Le Second Empire : politique, société, culture. Paris, 2004. P. 177.

условиях Второй империи она выразила намерение поэтов идти в ногу со временем. В их произведениях место антропоморфных идолов античности заняли механические, однако и в таком виде они играли традиционные роли богов — действовали как разумные существа, размышляли, поучали. Одушевление техники кажется нам детством индустриальной цивилизации, тем не менее, оно явилось закономерным способом адаптации человека к новой социально-экономической среде. В частности, в 1850-1860-е гг. перед поэтами встала проблема поэтизации трансатлантического телеграфного кабеля, пожалуй, не более вдохновляющего предмета, чем Хлороформ или Бобина М. Дю Кана. Теодор Верон, автор поэмы «Франко-американский кабель», насытил произведение мифологическими и историческими образами, а также одушевил сам кабель. В его «уста», как «священнослужителя прогресса», вложены призывы к примирению, объединению наций, преодолению варварства в нравах и общественно-политической жизни<sup>69</sup>.

Великий Виктор Гюго принял участие в принципиальном споре о прекрасном. «Все может быть поэтическим сюжетом, все может быть воспето», — заявлял он, — ибо «поэт свободен»<sup>70</sup>. Гюго резко возражал любителям «чистого» искусства, опасавшимся, как бы полезное не обезобразило красоту: «Они боятся увидеть, как руки музы превратятся в руки служанки!»<sup>71</sup>. Поэт попытался осмыслить научно-технический прогресс в традиционной романтической парадигме. При этом он не одушевлял механизмы, не строил новую объектно-субъектную реальность, а наоборот, рассматривал технические достижения как доказательства растущего могущества, величия Человека-Творца. Пользуясь теми же фактами, что и «прогрессивные» поэты (прокладка трансатлантического телеграфного кабеля, эксперименты с электричеством Франклина и с паром — Фултона), великий французский романтик пел гимн человечеству<sup>72</sup>.

В России на этапе общественного обсуждения путей развития страны американский вариант экономического и научно-технического

---

<sup>69</sup> *Véron Th.* Le câble franco-américain // *Les mélodies. Poésies nouvelles.* Paris, 1870. P. 110-112.

<sup>70</sup> Cité, *Rincé D.*, *La poésie française du XIX siècle.* Paris, 1995. P. 44.

<sup>71</sup> Цит. по: *История французской литературы...* Т. II. С. 694.

<sup>72</sup> *Hugo V.* *La légende des siècles.* P., 2002. P. 863.

прогресса признавался полезным. В частности, великий князь Константин, главный идеолог и двигатель Великих реформ, возглавляя морское министерство, заказывал постройку современных кораблей в США, его ведомство занималось многочисленными техническими проектами и изобретениями американцев, в том числе прокладкой телеграфного кабеля в США через территорию России (телеграф Коллинза), его соратники командировались в Новый Свет и пропагандировали в печати заокеанский опыт.

В то же время в изящной словесности буржуазная, динамичная, полная инноваций Америка практически не выступала объектом поэтического любования. По убеждению русского наблюдателя, «практичность, польза, вообще утилитаризм, доведенные до конца, как они едва ли не доведены у наших заатлантических друзей, высушивают сердце и делают из самого человека нечто очень близко подходящее к машине, а машины, всё машины и одни только машины — нет, покорно благодарю!»<sup>73</sup>. Лишь появление американских технических и технологических новинок непосредственно в России могло иметь поэтический, чаще негативный, резонанс. Например, сатирический журнал «Гудок» обличал страсть русских ко всему заграничному:

Самой Америки побранка  
В нас пробуждает страсти дрожь:  
В Мещанской улице, близ Банка  
Как Света Нового приманка,  
Теперь одна американка,  
Пленяет нашу молодежь<sup>74</sup>.

В стихотворении речь идет о модной коляске, изобретенной в США, — легком и устойчивом четырехколесном экипаже с откидным верхом. Новому явлению столичной жизни — поэтической рекламе — посвятила свой фельетон газета «Русский инвалид»: «Стихотворная реклама, кажется, у нас еще первый пример и она, конечно, обратит на себя внимание публики и вызовет подражания. Реклама г. Хуттона называется “Современная песня швеи” и содержит в себе трогательное изображение счастья сей последней, произошедшего не от чего иного, как от швейных американских машин Виллера и Вильсона:

<sup>73</sup> Голос. 31 июля 1866 г.

<sup>74</sup> Гудок. 1862. № 11. С. 82.

“О, братья, купите машины сестрам,  
О, сжался, супруг над женой,  
Не бойтесь! Не станет ведь дорого вам  
На век ее хватит одной!”

Муза отечественной поэзии, — иронизировал фельетонист, — в наши дни нисходившая от антологических песен и поэм до поздравительных юбилейных стихов, от грома сатиры до застольных од, без сомнения должна была дойти и до реклам, и современные реалисты, предпочитающие коннозаводство изящным искусствам, должны порадоваться, что эта муза начинает явно служить кумиру пользы»<sup>75</sup>.

В русских поэтических откликах и комментариях нет того преклонения перед техническими достижениями США, как у французских «прогрессивных» поэтов. Объяснения, на наш взгляд, можно искать в философско-мировоззренческих установках, литературных традициях, современном общественном развитии и политическом процессе в России и во Франции. Для французов позитивизм О. Конта и сенсимонизм являлись национальной интеллектуальной традицией, для русского мыслящего меньшинства они оставались модными теориями. Ожесточенная борьба двух течений русской поэзии усиливала их поляризацию. «Чистые» поэты углубились в сферу человеческих чувств, «гражданские» поэты посвятили себя борьбе в интересах социальных низов (крепостных, батраков, городской бедноты) и дискриминируемых групп (женщин, солдат и пр.), нуждавшихся в удовлетворении первичных потребностей, слишком далеких от научно-технических инноваций. Во Франции общественные и экономические институты современного капиталистического строя были уже построены, для нее речь шла об оптимизации дальнейшего пути, сохранении поступательной динамики, вариантах смягчения классовых, социально-экономических и других противоречий. Наполеон III сделал ставку на интенсивное развитие экономики: колониальные захваты, финансовые пирамиды, высокочатратные строительные проекты (железнодорожные сети, Суэцкий канал, инфраструктура мегаполисов), как следствие, хронический дефицит бюджета. На научно-техническую революцию он возлагал особые надежды. Его идеология оказалась созвучна установке на прогресс широкой общественности, нашла отражение в современной поэзии.

<sup>75</sup> Русский инвалид. 9 апреля 1867 г.

В истории французской поэзии XIX века «прогрессивное» течение можно расценивать как феномен скоротечной и эпатирующей моды. Даже в наследии Максима Дю Кана «Современные песни» являются лишь эпизодом творческого поиска, а Л. Лоран-Пиша, ратовавший за поэтизацию индустрии, считал, что «развитие США — это оргия цивилизации, они второпях проглотили прогресс и все подчинили силе машины»<sup>76</sup>. Тем не менее, факт существования «прогрессивного» течения помог другим школам четче обозначить предмет поэзии. Идеолог модернизма Теофиль Готье провозгласил смысл поэзии в ее антиутилитаризме, а истинно прекрасным признал лишь то, что ничему не служит<sup>77</sup>. Ш. Леконт де Лиль выразил ненависть «истинного» поэта к эйфории вокруг научно-технического прогресса в «Поэмах и поэзии»: «На интеллектуальную смерть будет осужден всякий, кто изменит себе в пользу чудовищного союза поэзии и индустрии»<sup>78</sup>. Он прямо противопоставил себя сторонникам Дю Кана: «Гимны и оды, вдохновленные паром и электрическим телеграфом меня мало впечатляют и все эти дидактические перифразы, не имеющие никакого отношения к поэзии, мне ясно показывают, что поэт час от часу становится бесполезнее в современном обществе»<sup>79</sup>.

\* \* \*

Сравнительный анализ русского и французского поэтического образа Америки выявляет принципиальное сходство тенденций восприятия, что свидетельствует о принадлежности творческих элит двух стран к одному информационному полю и единой аксиологической системе.

Изучая периоды модернизационных скачков в истории нашей страны (эпоха Петра I, Великие реформы, сталинская индустриализация, либерализация постсоветской России), обычно говорят о догоняющей вестернизации, некритическом заимствовании приемов, технологий, культурных стандартов. Поэзия, взятая нами в качест-

---

<sup>76</sup> *Laurent-Pichat L.* Op. cit. P. 109.

<sup>77</sup> Цит. по: История французской литературы... Т. II. С. 327.

<sup>78</sup> *Sagnes G.* Op. cit. P. 237.

<sup>79</sup> *Dictionnaire du Second Empire / Sous la direction de Jean Tulard.* Paris, 1995. P. 718.

ве исторического источника, показывает оригинальную траекторию движения отечественной общественной мысли к выводам, оказавшимся созвучными мнению французских поэтов. Поэтические произведения, в силу жанрово-стилистического своеобразия, являются сугубо национальной формой литературного творчества, не переводятся без утраты ритмического и образного колорита. Тем не менее, различаясь в деталях (например, обильном использовании мифологических образов и персонажей истории Древнего мира французами, культивировавшими классическое образование, или интересе русских поэтов к теме рабства негров в период отмены крепостного права) и по количественным показателям (во французской поэзии изучаемого периода на порядок больше стихотворений и в десятки раз больше страниц посвящено американской теме), не наблюдается качественного различия тематики и оценки США русскими и французскими поэтами.

Относительное своеобразие звучания американской темы в русской и французской поэзии выражалось, прежде всего, в интенсивности интереса поэтической корпорации в целом и отдельных поэтов, в частности, к Новому Свету. Во Франции к американской теме обращались поэты первой величины (В. Гюго, Ш. Бодлер, Леконт де Лиль), произведшие на свет шедевры национальной словесности. В пореформенной России главные, с точки зрения истории поэзии, стихотворцы (А. Фет, Ф. Тютчев, Н. Некрасов) не создали американских образов. Сложившееся положение нельзя объяснить неравным доступом к информации. Изучение американской темы в литературе, прессе, публицистике пореформенной России показывает ее соответствие западноевропейским стандартам по критериям оперативности, тематики, объема публикаций, наличия оригинального комментария<sup>80</sup>. С другой стороны, максимально возможная степень информированности ряда французских поэтов, побывавших в США (Э. Прарона, Ж.-Ж. Ампера, К. Мармье), не привела к качественному отличию их трактовки американской темы от национальных тенденций<sup>81</sup>. На наш взгляд, при объяснении своеобразия интерпретации

<sup>80</sup> Казакова О. Ю. Американская тема в газетной периодике пореформенной России (1850-е — 1860-е гг.): от информации к образу // *Американка*. Сб. статей. Волгоград, 2006.

<sup>81</sup> *Prarond E. De Montréal à Jérusalem*. P., 1869; *Marmier X. Prose et vers* (1836–1886). P., 1890; *Ampère J.-J. Promenade en Amérique*. P., 1874.



Нового Света в русской и французской поэзии следует исходить, во-первых, из жанровых канонов поэтического творчества, во-вторых, из степени и характера звучания американской темы в общественном мнении двух стран.

Краеугольный камень ремесла — вопрос о предназначении поэта одинаково остро ставился во французской и русской поэзии изучаемого периода. Выбор пассивно-созерцательной позиции означал выпадение социально-политической проблематики из поля зрения поэта, в то время как усилиями кругов, оппозиционных авторитарным режимам двух стран, американская тема приобретала остро-политическое звучание, иногда провокационный характер. Если мы заглянем в «Словарь общепринятых идей» Г. Флобера, то увидим, что разговор об Америке признавался хорошим тоном в «приличном» обществе, а пропаганда рабства считалась шикарной идеей<sup>82</sup>. Авторы, отстаивавшие активную гражданскую позицию поэта, обращались к американским примерам, но преследовались цензурой. Попытки «обличителей» в России, «прогрессистов», «политиков» во Франции нарушить жанровую эстетику в пользу публицистичности вели к деградации поэзии: малохудожественность, декламационность, риторичность их приемов губительно сказывались на содержании американских образов.

Поэзия эмансипируется от прозы не только формой (рифмой, ритмом), но и образно-тематическим своеобразием, критерием определения которого является трактовка прекрасного, понимание красоты. Американский экзотизм привлек внимание поэтов различных направлений, лидеры которых задали тон в его интерпретации. Андеграундные, модернистские течения французской поэзии, сознательно изолировавшиеся от современного буржуазного общества и массовой культуры, заново открыли для себя этноприродный экзотизм доколумбовой Америки. Отсутствие подобных течений в российской поэзии, конечно, обеднило ее американскую палитру. Традиционные романтическая и реалистическая школы в борьбе за снижающееся внимание русской публики демонстративно разделили проблемно-тематическое поле в соответствии с доктринами «чистого искусства» и «критического реализма». «Чис-

---

<sup>82</sup> *Flaubert G. Le Dictionnaire des idées reçues. Paris, 1991. P. 12, 91.*

тые» поэты выбрали предметом творчества человеческие чувства и переживания, отрицали любое, в том числе американское, буржуазное общество<sup>83</sup>. Странники «критического реализма», сгруппировавшиеся вокруг Н. А. Некрасова и Н. Г. Чернышевского, объявили народ, прежде всего, крестьянство объектом своего внимания и целевой аудиторией.

Поэты, несмотря на творческую индивидуальность, зависели от общественного мнения, коллективного восприятия, инокультурных стереотипов, знаний читателей о внешнем мире. По канонам жанра, поэт в произведениях дает сжатый и условный рисунок, в котором намечаются только отдельные, наиболее яркие и существенные для него черты, как бы замещающие собой всю полноту реальности изображаемого, которую слушатель воспроизводит и дополняет в своем художественном воображении. Дешифровка читателем поэтического текста на американскую тему требовала некоторого, а иногда значительного, уровня эрудиции. Неслучайно Н. А. Некрасов, лидер демократической школы, в своих крестьянских стихах не использовал американских образов, не входивших в круг интересов селян. Обращения к Америке встречаются только в произведениях, адресованных им интеллигенции («Поэт и гражданин», «Переписка Москвы с Петербургом»).

Во Франции, где уровень народного образования, культура чтения, удельный вес городских слоев и интеллигенции были выше, чем в России, В. Гюго, Ш. Бодлер, Ш. Леконт де Лиль, Т. Верон, Э. Прарон и др. насыщали свои произведения топонимами, именами исторических и современных деятелей, мифологическими и литературными образами, связанными с американской проблематикой. Между тем, по словам современников, широкие слои общества знали только название «Америка»<sup>84</sup>. Показательны итоги поэтического конкурса на тему «Смерть президента Линкольна», объявленного Французской Академией в 1866 г. На итогов-

---

<sup>83</sup> Примечательно, что поэтические отклики на встречи с американцами А. Н. Майкова, Ф. И. Глинка, М. П. Розенгейма не были включены ни в прижизненные, ни в академические собрания их сочинений из-за отсутствия художественных достоинств и неорганичности для творчества классиков русской поэзии.

<sup>84</sup> *Audouard O. A travers l'Amérique, le Far West. Paris, 1869. P. 108.*

вом заседании организаторы разъяснили: «мы искали в стихах... верного изображения американского народа», но «многие произведения, присланные на конкурс, признаны слабыми»<sup>85</sup>. Из 200 участников половина претендентов не допущены к конкурсу, так как не смогли сказать ничего по существу вопроса, почти все в поэтических фантазиях не вышли за пределы Франции. Поэтому большинству стихотворцев приходилось склонять на все лады слово «Америка», вращаться в узком кругу всем известных исторических имен, затертых географических и природных названий, растражированных этнических стереотипов янки и куперовских могикан.

По результатам исследования можно сделать вывод, что в поэзии изучаемого периода не сложилось целостного и выразительного образа США, наличие которого в сознании поэтов подтверждается их отдельными высказываниями, публицистическими выступлениями, прозаическими произведениями. При отсутствии кризиса жанра во французской поэзии импульс к поискам новой тематики и средств выразительности был дан количественным ростом и дифференциацией отечественных потребителей поэтических произведений. В России заметная активизация общественности в пореформенную эпоху создавала иллюзию качественных и количественных изменений в читающей аудитории. Между тем реальные социально-экономические и социокультурные процессы значительно отставали от представлений о них творческой элиты. Появившиеся течения («обличительство», демократическая школа) обращались к той же аудитории, что и традиционная поэзия. Этим фактом определялся их ограниченный успех у читателей, а краткость либеральной весны не позволила американской теме в их интерпретации сложиться в литературную традицию.

---

<sup>85</sup> Institut impérial de France. Académie française. Séance publique annuelle du 29 août 1867. Paris, 1867. P. 32.

*В. И. ЖУРАВЛЕВА*

## **ОБРАЗ РОССИИ В РЕПРЕЗЕНТАЦИЯХ АМЕРИКАНСКИХ КАРИКАТУРИСТОВ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА\***

Известный американский карикатурист Р. Кирби, который неоднократно удостоивался Пулитцеровской премии за свои рисунки в газете “New York World”, посвященные международным отношениям, как-то заметил, что плодотворная идея обеспечила многим посредственным карикатурам славу, но никогда хорошее изображение не спасало ущербную идею от забвения.

Для американских карикатуристов XX века «русская идея» в ее различных составляющих оказалась поистине плодотворной и вдохновляющей, а плеяда ярких художников, сотрудничавших в ведущих газетах и журналах, внесла весомый вклад в визуализацию стереотипов восприятия России и долгосрочных мифов о ней.

«Русская тема» заняла важное место в репрезентациях карикатуристов США на рубеже XIX–XX вв., когда в общественном сознании американцев формируется демонический образ Российской империи и одновременно обретает очертания «новая мессианская идея», связанная с особым видением перспектив модернизации России и вписанная в глобальную миссию Америки по реформированию мира. Тогда, как и в последующем, образ России и русских, бытовавший в США, сложно понять лишь исходя из «процесса познания» реалий российской действительности, вне американского социокультурного контекста. Образы — и демонический («Империя Тьмы», «Страна деспотизма и произвола»), и романтический (Россия, готовая следовать западной модели развития и ждущая помощи в продвижении по пути Свободы и Прогресса из-за океана) — становились проекцией политических идеалов, экономических амбиций, идеологического рвения, филантропического энтузиазма, религиозного вдохновения самих американцев.

Впервые наиболее рельефно эти метаморфозы восприятия обозначились в период первого кризиса в российско-американских отношениях в 1903–1905 гг. Он был связан с формированием ново-

го мировидения в России и США, столкновением их геополитических интересов на Дальнем Востоке и нарастанием идеологических противоречий в условиях, когда обе страны переживали бурный процесс модернизации. На время Революции 1905-1907 гг. также приходится пик первого «крестового похода» американцев за либерализацию России. Он был инициирован еще в конце XIX века Джорджем Кеннаном и Обществом американских друзей русской свободы при содействии российских политэмигрантов и получил поддержку в США со стороны тех, кто выступал с критикой политики дискриминации еврейского меньшинства в Российской империи<sup>1</sup>.

В 1880–1890-е гг. дипломаты и политики в Вашингтоне стремились исключить идеологический фактор из двусторонних отношений, в целом развивавшихся в режиме сотрудничества. А вот когда в начале XX века потребовалось обосновать американо-английское и американо-японское сближение, когда сторонниками нового внешнеполитического курса в США Россия начала восприниматься в качестве основного препятствия для реализации американских интересов в АТР, когда сами американцы переживали период расовых смут, а индустриализация и массовая иммиграция бросали вызов американской мечте и национальной идентичности, негативный образ России, находящейся по другую сторону «цивилизационной баррикады», становится частью не только общественного, но и официального дискурса. В период первого кризиса на фоне антирусских настроений происходит окончательная ревизия представлений об «исторической дружбе между странами» и завершается процесс дифференциации демонического образа правителя/правительства, препятствующих модернизации и вестернизации Российской империи, и романтического образа русского народа, способного к самоуправлению и ждущего помощи в проведении реформ из-за океана.

---

\* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант 07–01–02002а).

<sup>1</sup> Об особенностях формирования образа России в США в конце XIX — начале XX в. подробнее см.: Журавлева В. И., Фоглесонг Д. С. Русский «Другой»: формирование образа России в Соединенных Штатах Америки (1881–1917) // Американский ежегодник 2004. М., 2006. С. 233–281.

Знаковая роль в тех изменениях, которые наблюдались в восприятии событий по другую сторону Атлантики, принадлежала «четвертой власти» в США. На рубеже веков «русская тема» не сходила со страниц американских газет и журналов. Более того, именно в это время происходила подлинная визуализация образа России. В начале XX в. (в особенности в 1902–1905 гг.) экспансионистская политика правительства Николая II на Дальнем Востоке и перспективы модернизации Российской империи превращаются в «тему дня», в один из основных «иностранных сюжетов» для редакционных карикатуристов.

Политические карикатуры, посвященные международным отношениям и избранные в качестве объекта анализа в данной статье, типологически относятся к группе «карикатур мнений». Их изучение приближает нас к пониманию общественного мнения по вопросам внешней политики, так как карикатуры являются иллюстрацией существовавших в обществе настроений, предрассудков и стереотипов, без чего они не могли быть восприняты и востребованы аудиторией-реципиентом. Однако политическая карикатуристика — это в то же время и механизм формирования новых общественных предпочтений и долгосрочных мифов. В силу своей наглядности, образности и запоминаемости карикатуры превращались в мощное пропагандистское оружие. Они использовались для конструирования воображаемой картины мира и определения места в нем США, для навешивания национальных ярлыков и создания образа внешних врагов. Апеллируя к национальным чувствам, символам и мифам, карикатуристы способствовали национальной консолидации американцев, формированию и поддержания образов «Я» и дружественного или враждебного «Другого». В арсенале карикатуристов было такое важнейшее средство влияния на общественное мнение как сатира, которая нацелена на различение того, что верно и ошибочно, является нормой в данном обществе или эту норму нарушает, укладывается в социокультурный контекст или бросает ему вызов. Причем все последние составляющие подвергались осмеянию как чужеродные.

Обращение к карикатуристике как историческому источнику позволяет понять механизмы конструирования романтического образа Японии и демонического образа России накануне и в ходе Рус-

ско-японской войны, акцентировать внимание на тех циклах «надежд и разочарований», которые характеризовали отношение американцев к Русской революции, выявить их скрытые оценочные суждения по поводу прошлого и будущего русской нации, наконец, обнаружить чувства и настроения, порой, с трудом поддающиеся вербализации. Авторская реконтекстуализация политической карикатуры предполагает: знание аудитории-реципиента, выявление общих тенденций в конструировании образа России известными американскими карикатуристами, характеристику их художественного стиля, анализ эволюции образа, запечатленного в политической карикатуре, а также обнаружение взаимосвязей с другими медийными текстами.

В качестве источников в данной статье использованы политические карикатуры из ведущих иллюстрированных еженедельников сатиры и юмора рубежа XIX–XX вв. “Puck”, “Judge”, “Life”, с изданием которых связан новый этап в развитии американской журнальной карикатуристики<sup>2</sup>; из иллюстрированных еженедельных журналов смешанного типа и, прежде всего, лучшего в своей группе и стоявшего у истоков «золотого века» политической карикатуры в США “Harper’s Weekly”; еженедельных журналов типа “Literary Digest” и “Current Literature”, которые специализировались не столько на анализе текущих событий, сколько на обзорах информации, появлявшейся о них в прессе, а также на перепечатке карикатур из различных периодических изданий, иллюстрирующих основные мнения по тем или иным вопросам; и, наконец, из ведущих газет различных регионов и политической ориентации, имевших в

---

<sup>2</sup> Еженедельник “Puck” начал издаваться с марта 1877 г. немецким иммигрантом Дж. Кеплером, который наряду с карикатуристом Томасом Настом, прославившим своими иллюстрациями журнал “Harper’s Weekly”, способствовал перевороту в американской карикатуристике и ее превращению в отдельное направление изобразительного искусства. Журнал “Judge” был основан в Нью-Йорке в 1881 г. Дж. Уоллесом, и с 1885 г. превратился в республиканский печатный орган, конкурировавший с “Puck”. Журнал “Life” начал издаваться в 1883 г. благодаря таланту и вдохновению выпускника Гарварда художника Дж. Митчелла, возглавлявшего периодическое издание вплоть до своей смерти в 1918 г. “Life” задумывался как еженедельник социальной сатиры высокого художественного и литературного уровня, который мог конкурировать с “Judge” и “Puck” и отстаивать ценности белой англоязычной культуры.

этот период в своем штате талантливых редакционных карикатуристов<sup>3</sup>.

### **Демонический образ России**

Два события, произошедшие в 1903 г., превратили его в важный рубеж в истории российско-американских отношений. Во-первых, правительство Николая II отказалось эвакуировать русские войска из Маньчжурии и приступило к осуществлению «нового курса» на Дальнем Востоке. По мнению госдепартамента, эти действия продемонстрировали истинные намерения русских, угрожавшие интересам США, которые в итоге Испано-американской войны обзавелись колониальной империей в Тихом океане и оказались втянуты в глобальный конфликт в АТР. Причем сторонники внешнеполитической экспансии в Вашингтоне рассматривали продвижение на рынки Китая как своеобразный тест на способность американцев осуществлять мировую политику, а Россию (по крайней мере, до окончания Русско-японской войны) в качестве главного препятствия для его успешного прохождения. Во-вторых, 6 апреля 1903 г. в Кишиневе произошел самый масштабный за всю историю Российской империи еврейский погром, вызвавший мощный резонанс по другую сторону Атлантики и способствовавший всплеску антирусских настроений в американском обществе. Именно тогда в США произошло возрождение Общества друзей русской свободы, получившего реальную поддержку со стороны лидеров американо-еврейской общины и вдохнувшего новую жизнь в «крестовый поход» американцев за либерализацию России.

В ходе общественной кампании протеста, ставшей реакцией на кишиневский погром, была широко использована коммуникативная стратегия «Цивилизация vs. Варварство». Целенаправленная «варваризация» образа официальной России отличала тексты редакционного карикатуриста газеты “New York World” Ч. Буша. Он также сотрудничал с еженедельными иллюстрированными

---

<sup>3</sup> “New York World”, “New York American”, “Brooklyn Daily Eagle”, “Chicago Daily Tribune”, “Chicago Record-Herald”, “Boston Herald”, “Philadelphia Inquirer”, “Baltimore News”, “Columbus Evening Dispatch”, “Minneapolis Journal”, “Detroit Evening News”, “Cleveland Leader”, “Indianapolis Star”, “Ohio State Journal”, “Atlanta Constitution”, “Los Angeles Times”, “Washington Post”.



журналами (например, с “Harper’s Weekly”) и газетой “New York Herald” и уделял особое внимание теме антиеврейского насилия. Перед взорами читателя предстал Николай II в облике устрашающего вида солдафона, с сабли которого стекала кровь невинных жертв Кишинева. Его прогоняют с территории Маньчжурии Дядя Сэм, Джон Булл и немецкий кайзер со словами: «Стань цивилизованным, варвар!». Та же идея могла быть представлена посредством анималистического образа: русский Медведь, полакомившийся медом из улья «Кишинев», спасается бегством от преследующих его пчел. Из букв на их крыльях складывается надпись: «Цивилизация двадцатого века»<sup>4</sup>. (Рис. 1).



Рис. 1.

Не впусти. New York World, 24 декабря 1903 г.

<sup>4</sup> New York World. 16, 24, 1903. См. также: Apr. 26, May 9, 11, July 18, Dec. 24, 1903.

Свое наиболее полное выражение демонизация образа России обрела благодаря карикатуристам еженедельника “Judge”. Их тексты были насыщены смысловыми кодами, получившими распространение в американском дискурсе о России еще в конце XIX в. в ходе начавшегося «крестового похода» американцев в защиту дела русской свободы, а также в рассуждениях консерваторов, противопоставивших англосаксов и славян и мысливших военизированную и деспотичную Российскую империю в категориях азиатского и полуварварского. Карикатуристы “Judge” конструировали комплексный образ России, в котором переплетались одинаково негативные характеристики ее внутренней, а соответственно, и внешней политики. На июньской обложке журнала В. Гиллам представил собирательный образ участника еврейского погрома — дикого вида русского мужика с окровавленным ножом. Женские фигуры, олицетворяющие Мир, Гуманность и Цивилизацию, в ужасе взирают на варвара, убившего благообразного старика-еврея<sup>5</sup>. Начиная с этого момента, американские карикатуристы неизменно использовали смысловой код «Кишинев» с тем, чтобы вывести Россию из «клуба» цивилизованных держав.

С этой целью ее размещали в одном ряду с Османской империей. Проведение аналогий между антиеврейским насилием и зверствами турок против армян, лживостью и двуличием правителей восточного типа — русского царя и турецкого султана, «цивилизационным нездоровьем» двух восточных империй способствовало азиатизации России, интерпретации конфликта в АТР в рамках дихотомии «Запад vs. Азия/Восток»<sup>6</sup>. В итоге Россия лишалась права на цивилизаторскую миссию на Дальнем Востоке.

Начиная с 1903 г., излюбленным сюжетом для американских карикатуристов становится образ царя-лжеца, нарушающего международные договоренности и обещания реформ, Николая II, страдающего своеобразным раздвоением личности. На страницах “Philadelphia Inquirer”, ведущей филаделфийской газеты, восприимчивой к веяниям «желтой прессы» и республиканской по своим

---

<sup>5</sup> Judge. June 6, 1903.

<sup>6</sup> Philadelphia Inquirer. Oct. 10, 1903; Feb. 23, 1904; Aug. 9, 1904; Life. 1904. Vol. 44. Aug. 25.

партийным пристрастиям, Николай II предстал одновременно в облике ангела, держащего в руках указ о религиозной свободе<sup>7</sup> и указывающего на слово «Мир», и отвратительного животного, загребающего грязными лапами Кишинев и Маньчжурию. Изображение выстраивалось на контрастах: религиозная свобода — Кишинев, Мир — оккупация Маньчжурии. Для достижения поставленной цели карикатурист использовал прецедентный текст — психологический роман Р. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» с его идеей «двойничества»<sup>8</sup>. Два смысловых кода «Гаага» (Николай II был инициатором созыва в 1899 г. Гаагской конференции по проблемам мира и безопасности) и «Маньчжурия» вводятся в тексты карикатуристами для того, чтобы подчеркнуть двойственную природу правителя Российской империи<sup>9</sup>. В свою очередь, художник В. Гиллам из “Judge”, создавший вместе со своим коллегой Зимом целую серию жестких карикатур о «русской угрозе» американской политике «открытых дверей» в Китае, конструирует образ царя-лицемера. Чего стоит гипсовая копия Богини Мира, сделанная русским царем для Гаагской конференции. Гиллам вводит в свой текст ключевые слова с ярко выраженной негативной коннотацией. Они призваны обратить внимание аудитории на существенные характеристики внутренней и внешней политики России — «захват» и «резня» (на точильном колесе), «варварство» (на ленточке, украшающей накидку царя). Картину довершает расшифровка титула Николая II: Царь (всех России, Маньчжурии и, возможно, Азии). (Рис. 2).

---

<sup>7</sup> На страницах американской прессы активно обсуждался указ Николая II от 12 марта 1903 г., объявленный “New York Evening Post” провозвестником новой политики реформ, импульс которой даст введение веротерпимости. См.: More Freedom in Russia // Literary Digest. 1903. Vol. XXVI. March 21. P. 411-412.

<sup>8</sup> Philadelphia Inquirer. May 17, 1903.

<sup>9</sup> Life. Feb. 25, 1904; Philadelphia Inquirer. May 25, 1903; Chicago Daily Tribune. Dec. 29, 1903.



Рис. 2.  
Всего лишь мел! Judge, 23 января 1904 г.

Вербальные материалы прессы по сравнению с карикатуристикой были не столь однозначны в интерпретации ситуации на Дальнем Востоке<sup>10</sup>. А вот в репрезентациях карикатуристов Россия представляла основной виновницей эскалации конфликта на Дальнем Востоке. Ярко и изобретательно выписывались идеи о лживо-

<sup>10</sup> Обзоры прессы см.: Literary Digest. 1903. Vol. XXVI. May 16. P. 711; 1904. Vol. XXVIII. Jan. 23. P. 102; March 12. P. 354-356; Vol. XXIV. Oct. 29. P. 556-557; Vol. XXIX. Nov. 12. P. 635.

сти и лицемерии ее правителя и правительства, дающих пустые обещания по поводу эвакуации войск из Маньчжурии, об агрессивности ее намерений, угрожающих «закрыть двери» Китая для американской торговли<sup>11</sup>. Максимум, на что шли такие карикатуристы, как, например, Дж. Маккатчеон из “Chicago Daily Tribune” или У. Роджерс из “Harper’s Weekly” — создание общей картины противостояния Японии и России, конфликт между которыми создавал угрозу миру и интересам других держав во главе с США. Однако в целом у американской аудитории не возникало сомнений: Страна Восходящего Солнца — не виновник, а жертва агрессии. Вся война была представлена художниками-карикатуристами как череда блестящих побед японского оружия без серьезных намеков на военные успехи России. Перед взором американцев прошла вереница непрофессиональных полководцев и флотоводцев, продажных бюрократов. Не вызывало симпатий и изображение Николая II, зачастую просто отталкивающее по своему визуальному эффекту. Степень негативизации его образа зависела от художественного стиля карикатуриста и общей позиции издания. Два наиболее ярких примера — «злые карлики» Ф. Моргана из “Philadelphia Inquirer” и интеллигентные, выполненные с особым шармом и отдаленно напоминающие оригинал изображения Дж. Маккатчеона из “Chicago Daily Tribune”.

В то время как Россия исключалась из «клуба» цивилизованных держав, членство в нем получала Япония. Ведь именно она, по мнению Т. Рузвельта, Дж. Хэя, Б. Адамса, А. Мэхэна, У. Рокхилла и других «интернационалистов», могла создать реальный барьер для распространения русского влияния в Китае и гарантировать проведение политики «открытых дверей». Страна Восходящего Солнца не только «вела американскую игру», но и встала на путь обновленческих реформ, превратившись в новый центр модернизации и защитницу основополагающих принципов англосаксонской цивилизации в АТР, в «янки» на Дальнем Востоке. Это, хотя и на время, вносило определенные коррективы в представления об иерархии рас, сформировавшееся в Соединенных Штатах в рамках

---

<sup>11</sup> Карикатуры из “Columbus Dispatch”, “Detroit Evening News” и “Baltimore Herald” // *Literary Digest*. 1903. Vol. XXVII. Aug. 1. P. 125; Oct. 3. P. 415; Oct. 17. P. 492.

поздневикторианской идеологии. По мнению деятелей мировой политики в Вашингтоне, а также «Друзей русской свободы» и всех тех, кто мечтал о падении самодержавия и обновлении России, Япония становилась олицетворением прогресса и современного развития по сравнению с отсталой полуварварской Россией. Безусловно, прояпонская позиция не была единственной из существовавших в США на официальном и общественном уровнях. Однако анализ политических карикатур позволяет осознать, сколь прояпонским было общественное мнение накануне и в ходе Русско-японской войны<sup>12</sup>.

Образ Японии — «янки Востока», тиражированный в американской карикатуристике, мог бы стать прекрасной иллюстрацией к рассуждениям Т. Рузвельта о том, что люди, испытывающие чувства «подобные нашим», были бы гораздо более счастливы не в России, а в Японии; или Б. Адамса, восхищавшегося внезапным пробуждением Страны Восходящего Солнца, уловившей дух прогрессивного развития эпохи электричества и пара; или Джорджа Кеннана, отдававшего предпочтение мировому господству Японии по сравнению с Россией. Художник журнала «Life» У. Уолкер внес особый вклад в конструирование этого романтического образа. На его карикатурах Дядя Сэм пожимает руку маленькому японцу в смокинге со словами: «Дорогой мой человек, если ты — Янки Востока, то я хотел бы именоваться Японцем Запада»<sup>13</sup>.

Подтверждением новых предпочтений американцев и одновременно механизмом их закрепления в общественном сознании стала серия цветных карикатур, созданная художником еженедельника «Judge» Зимом. На одной из них Россия в облике дикого вида приземистого мужика, из кармана которого торчит пыточная плетка и ярлыки с надписями «полуварварский» и «зверства дома и за границей, во время мира и войны», согнулась в три погибели и подобострастно обращается к американскому дядюшке: «Я рассчитываю на Вашу симпатию, добрый сэр». В ответ звучит: «Тот, кто

---

<sup>12</sup> Подробнее об этом см.: Журавлева В. И. «Давид против Голиафа»: образ России в американской политической карикатуре периода Русско-японской войны // США и Канада: Экономика — Политика — Культура. 2007. № 10. С. 66-84.

<sup>13</sup> Life. March 31, June 23, Sept. 29, 1904; Apr. 13, 1905.

рассчитывает на мою симпатию, должен быть достоин ее». А этим достойным оказывается японец с гордо поднятой головой. Он держит в руках табличку: «Цивилизованные методы. Мы рады присутствию белого человека на японской территории и в японской торговле»<sup>14</sup>. Для майского номера Зим рисует редакционную карикатуру, используя прием, получивший широкое распространение на страницах американской периодики в период кризиса на Дальнем Востоке: изображение Японии в облике искусного Давида, побеждающего неповоротливую, рассчитывающую на грубую силу Россию/Голиафа благодаря военному мастерству и успехам модернизации<sup>15</sup>. Отличительной особенностью данного текста стала ярко выраженная демонизация образа России. Она достигается как за счет графики, так и посредством вербальных ярлыков. На фуражке громилы-вояки, наступающего на читателя с разворота журнала, надпись «деспотизм», на плетке-семихвостке — «варварство», на ноже — «самоуверенность», на ремне — «Сибирь», а ордена получены за «Зверство», «Жестокость», «Дикость», «Бесчеловечность». В то же время ловко балансирующий на артиллерийском стволе маленький японец размахивает мечом «Военная стратегия». Текст Зима, появившийся в апрельском номере 1905 г., выстроен на противопоставлении образов варварской, пребывающей в средневековье России и вестернизированной, цивилизованной Японии. Дело происходит в «Яслях Цивилизации». В центре цветной карикатуры в разворот стоит японский малыш-здоровяк, который подкрепляет свои силы «Детским питанием для цивилизационного роста». Его одежда расцвечена фразами: «современное снаряжение», «современные методы ведения войны», «современная подготовка». На груди — медаль «За умение и мастерство». На ружье надпись: «Военная доблесть» и ярлык «Современное военнотехническое снабжение». У стенки притулился Николай II в облике малыша-дохлячка. Размахивая плеткой, он, в свою очередь, пьет питательную смесь из бутылки «Деспотизм», предварительно опустошив уже одну с надписью «Полуварварство». А вокруг разбросаны листы бумаги с надписями: «Варварские идеи», «Идоло-

<sup>14</sup> Judge. Apr. 30, 1904.

<sup>15</sup> Judge. May 8, 1904. См. также: New York World. Feb. 11, 14, 18, 1904; May 8, 1904. P. 2; June 5, 1904; Philadelphia Inquirer. Oct. 3, 1903.

поклонство», «Древние традиции», «Устаревшие методы ведения войны». На горизонте развеваются японские флаги «Порт-Артур» и «Мукден», привлекающие внимание читателя к поражениям русской армии, а на японца-крепыша с удовольствием взирают Дядя Сэм и Джон Булл, приговаривая: «Он теперь — один из нас»<sup>16</sup>.

Еще один вариант вестернизации образа Янии представил карикатурист Дж. Маккатчеон: Земной Шар подсаживает вице-адмирала Х. Того на пьедестал между статуями героя Испано-американской войны контр-адмирала Джорджа Дьюи и выдающегося британского флотоводца Горация Нельсона. Или более жесткий вариант графического выражения той же самой идеи после поражения России под Мукденом: японский генерал Ойяма занял место на пьедестале в общем ряду с Наполеоном, Фридрихом Великим, Юлием Цезарем, а также героями Гражданской войны в США генералами Грантом и Ли, в то время как главнокомандующему русской армии А. Н. Куропаткину, вооруженному обломком меча, места на пьедестале не нашлось<sup>17</sup>.

Анализ карикатур позволяет сделать вывод, что отказ от романтизации образа Японии будет происходить постепенно. Он наметится после Цусимы, которая, как известно, произвела отрезвляющее впечатление на Т. Рузвельта<sup>18</sup>. Американская пресса отреагировала на изменение баланса сил на Дальнем Востоке, чреватого угрозой американским интересам<sup>19</sup>. И хотя «Восточный вариант доктрины Монро» («Азия для азиатов») и в начале, и в ходе, и в конце войны воспринимался по-разному (и как угроза амери-

<sup>16</sup> Judge. Apr. 8, 1905.

<sup>17</sup> Chicago Daily Tribune. May 30, 1905; См., также карикатуру Дж. Маккатчеона, перепечатанную в "Literary Digest". 1905. Vol. XXX. March 25. P. 423.

<sup>18</sup> Историки единодушны в этом мнении. Из последних работ см., например: Saul N. E. The Kittery Peace // The Russo-Japanese War in Global Perspective. World War Zero. Leiden; Boston, 2005. P. 493.

<sup>19</sup> Этот фактор недооценивает автор единственной специальной работы, посвященной изучению общественного мнения США в период Портсмутской конференции, У. Б. Торсон. См.: Thorson W. B. American Public Opinion and the Portsmouth Peace Conference // American Historical Review. 1948. Vol. 53. N 3. Apr. P. 439-464. См. карикатуры: New York World. June 7, 1905; Washington Post. June 24, July 24, 1905; Los Angeles Times. June 18, 1905.



канским интересам, и как противодействие европейской политике), карикатуры фиксируют начавшиеся изменения в восприятии Страны Восходящего Солнца. Одновременно они являются свидетельством того, что во время работы Портсмутской конференции не наблюдалось кардинальной смены одних общественных предпочтений на другие. Члены японской делегации неизменно изображались благородными, сдержанными, кредитоспособными победителями, одержавшими победу благодаря успехам прогресса и модернизации и имеющими право предъявлять свои требования («выставлять счет») поверженной России<sup>20</sup>. Президент и делатели политики в Вашингтоне<sup>21</sup>, а вслед за ними и представители прессы не смогли адекватно оценить кризис ресурсов, который к концу войны переживала Япония. В ее репрезентациях продолжают преобладать светлые тона.

Если говорить об образе России, то он начинает постепенно смягчаться за счет расширения числа изданий, выступающих в поддержку ее позиции или сохраняющих дружественный нейтралитет<sup>22</sup>. Кроме того, изменения в восприятии будут связаны с созданием в графических и вербальных текстах пусть и неоднозначного, но в целом позитивного образа С. Ю. Витте<sup>23</sup>. Объяснение следует искать и в его позиции накануне Русско-японской войны, когда министр финансов вместе с министром иностранных дел В. Н. Ламздорфом выступал против перенесения центра тяжести экспансионистской политики Российской империи на Дальний Восток, и в его умении общаться с американской прессой, воздавшей должное дипломатическому искусству главы русской делегации. И, наконец, свою роль сыграл спад японофильских восторгов на фоне новой расстановки сил на Дальнем Востоке, опасений США по поводу сохранения це-

---

<sup>20</sup> New York World. Aug. 10, 12, 14, 15, 16, 19, 26, 1905; Chicago Daily Tribune. Sept. 9, 13, 1905; Philadelphia Inquirer. Aug. 13, 15, 16, 1905; New York American, Detroit Journal // Literary Digest. 1905. Vol. XXXI. Aug. 19. P. 235.

<sup>21</sup> На этот факт обращает особое внимание Е. Трэни. См.: *Trani E. P. The Treaty of Portsmouth. An Adventure in American Diplomacy.* University of Kentucky Press, 1969. P. 81-82.

<sup>22</sup> См. обзоры прессы в: *Literary Digest.* 1905. Vol. XXXI. August 19. P. 234; Aug. 26. P. 270.

<sup>23</sup> Этот фактор игнорирует историк У. Б. Торсон.

лостности Китая и антиамериканских демонстраций в Токио<sup>24</sup>. Тем не менее, вскоре после окончания Портсмутской конференции появляются карикатуры, на которой изображен покалеченный Николай II, держащий на поводке забинтованного медведя и призывно звонящий в колокольчик с целью привлечь внимание глав государств и правительств к созыву Второй конференции в Гааге<sup>25</sup>, что свидетельствовало о сомнениях американцев по поводу искренности русского царя, выступившего с мирной инициативой в тот момент, когда Россия потерпела сокрушительное военное поражение от Японии. Лишь через пару лет, в условиях энергичной экспансии Страны Восходящего Солнца в Азии, а также с учетом иммиграции японцев на тихоокеанское побережье США авторы передовиц вернулись к образу России как представительницы белой цивилизации, противостоящей «желтой угрозе», а карикатуристы окончательно отказались от представлений о «янки Востока».

Поддержанию романтического образа Японии в 1904–1905 гг. также способствовала тиражированная на страницах прессы идея о том, что победа японского оружия ускорит свержение самодержавия и либерализацию политического строя Российской империи, о чем мечтали и «друзья русской свободы», и лидеры американско-еврейской общины. С ноября 1904 г. карикатуристы активно интегрируют образ Русской революции в свои тексты, посвященные военному конфликту на Дальнем Востоке, в том числе посредством визуализации идеи «Япония — двигатель Русской революции». К. Мейбел из “Brooklyn Daily Eagle” изобразил японского солдата, выстрелом из винтовки разбивающего цепи, которые сковывают русский народ. Подпись под карикатурой гласит: «Освободитель»<sup>26</sup>. После разгрома в Цусимском проливе эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского на цветной карикатуре в разворот В. Гиллама читатели могли созерцать восход солнца «Японская цивилизация» и закат империи деспотизма. Среди обломков тону-

---

<sup>24</sup> Judge. October 7, 1905; New York World. September 9, 1905; Philadelphia Inquirer. March 13, May 12, 1905; Aug. 5, 25, 1905; Hurrah for Peace // Denver Times. Перепечатано в “Literary Digest”. 1905. Vol. XXXI. Aug. 26. P. 268.

<sup>25</sup> Life. Nov. 9, 1905. См. также карикатуры “Minneapolis Times” и “Chicago Record-Herald” // Literary Digest. 1905. Vol. XXXI. Oct. 7. P. 478.

<sup>26</sup> Перепечатано в “Literary Digest”. 1905. Vol. XXX. June 17. P. 882.

щего флота вздымалась рука уходящей под воду России, сжимающая обломок окровавленного клинка с проступающим на нем словом «Зверство». На одном из поверженных кораблей — поникший флаг «Месть за сибирские ужасы» (те самые, о которых еще в конце XIX века поведал американцам Дж. Кеннан), на другом — «Месть за антиеврейское насилие». Таким образом, Япония не просто нанесла поражение русскому флоту, но и сокрушила корабль Российской империи с ее тиранией и жестокостью<sup>27</sup>. В России разворачивалась революция. Ее образ и возникшая в американском обществе эйфория по поводу перспектив модернизации Российской империи, равно как и постепенно нараставшие опасения того, что революция перерастает в социальный бунт, кровавый и беспощадный, будут оказывать влияние на видение американцами итогов Русско-японской войны. В то же время закрепление представлений о сокрушительном поражении русского оружия внесет свои коррективы в демонизацию образа правителя/правительства — деспотичного, продажного, бюрократического, отсталого, некредитоспособного, бездарного, толкающего народ в пучину войны, разорения, неграмотности, прозябания в невежестве и нищете,<sup>28</sup> и романтизацию образа русского народа, рвущегося из «тюремного подполья» к свету свободы, прогресса и процветания.

### **Романтический образ России**

#### **Свет американской свободы в «Империи Тьмы»**

На период Революции 1905–1907 гг. приходится пик первого «крестового похода» американцев за демократизацию России. На фоне этих событий американское общество переживало первый своеобразный «цикл надежд и разочарований» по поводу обновления России, а русское, в свою очередь, впервые проходило своеобразный тест на способность совершить революцию, подлинную с точки зрения американцев. И подобно французам в конце XVIII века и в середине века XIX-го с этим тестом не справилось, перейдя «предел допустимого» в Революции<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Judge. June 24, 1905.

<sup>28</sup> Этот образ получил свое наиболее яркое графическое выражение в карикатурах Ф. Моргана из “Philadelphia Inquirer”.

<sup>29</sup> О восприятии американцами революции 1905 г. подробнее см.: Журавлева В. И. Предел допустимого в революции: 1905 г. в России в восприятии

Тема «Русской революции» заняла прочное место в американской карикатуристике с ноября 1904 г., когда в С.-Петербурге начал свою работу первый съезд представителей земств, воспринятый по обе стороны Атлантики как «подлинная весна» либерализации России. Излюбленным приемом американских карикатуристов становится игра на образах «Тьмы» и «Света». Эта коммуникативная стратегия была нацелена, во-первых, на демонизацию представлений о России как о стране, пребывающей в Средневековье («темных веках»), как о тюрьме для политических диссидентов, религиозных и национальных меньшинств; во-вторых, на поддержание мессианских настроений в американском обществе, на превращение России в объект глобальной миссии Америки по реформированию мира. Названный прием получил широкое распространение в карикатуристике, начиная с 1903 г., и использовался для актуализации альтернативы, перед которой оказался правитель, народ и вся страна: регресс — прогресс, средневековье («старый режим») — современность, рабство — свобода. Карикатурист Дж. Кеплер-мл. из журнала «Puck» разместил фигуру Николая II в луче света, разрезающего «Царство Тьмы». Благородного облика русский царь преклонил колени перед свитком со словами «Указ о гражданской и религиозной реформе». После Кишиневского погрома ему на смену придет негативный образ Николая II, прозябающего во тьме и не желающего двигаться к свету по пути прогресса, догоняя ушедшие вперед страны-лидеры во главе с США<sup>30</sup>.

Вопрос заключался в том, сделает ли русский царь, наконец, выбор в сторону реформ, сможет ли он справиться с «теньями прошлого» и даровать свободу русскому народу или своей нерешительностью и пустыми обещаниями доведет страну до революционного бунта, спровоцирует взрыв анархии и насилия в условиях, когда военные поражения в Русско-японской войне обостряют си-

---

американцев // Русское открытие Америки. М., 2002. С. 292-301; *Она же*. Образ Русской революции в американской политической карикатуристке // Российско-американские отношения в прошлом и настоящем: образы, мифы, реальность. М., 2007. С. 157-186; *Thompson A. W., Hart R. A. The Uncertain Crusade: America and the Russian Revolution of 1905*. Amherst, 1970; *Saul N. Concord and Conflict. The United States and Russia, 1867–1914*. Lawrence, 1996. P. 488-527.

<sup>30</sup> Puck. Apr. 1, 1903; Dec. 28, 1904; March 8, 1905.

туаацию до предела. Жалкий карлик на троне, зажатый с одной стороны бомбой «Восстание», а с другой свитком «Конституция». Таким предстает Николай II в исполнении карикатуриста журнала «Life» Ф. Ричардса<sup>31</sup>.

В декабре 1904 г. — январе 1905 г. негативные, порой откровенно отталкивающие образы царя, русских бюрократов и военачальников заполняют страницы газет и журналов, чему способствуют прояпонские настроения и расстрел мирной демонстрации, следовавшей к Зимнему Дворцу. В графических текстах представления о России официальной реакционной и народной революционной становятся двумя параллельными реальностями. После «Кровавого воскресенья» произошла подлинная «варваризация» образа Николая II, в одночасье потерявшего доверие своих подданных<sup>32</sup>. Параллельно американские карикатуристы конструировали романтический образ русского народа, поднявшегося из «тьмы подземелья» на борьбу за свободу и готового заплатить за это собственной кровью, образ крестьянина — Джинна, выпущенного из бутылки «Революция»<sup>33</sup>. (Рис. 3).

---

<sup>31</sup> Life. Dec. 29, 1904. См. также: Philadelphia Inquirer. Dec. 19, 28, 1904; New York World. Jan. 4, 1905; Brooklyn Daily Eagle // Literary Digest. 1905. Vol. 30. Jan. 7. P. 4.

<sup>32</sup> Chicago Daily Tribune. Jan. 24, 1905; Philadelphia Inquirer. Jan. 30, 1905; New York World. Jan. 30, 1905. Также см. подборку карикатур в «Literary Digest» // 1905. Vol. 30. Feb. 4. P. 154-155. Диссонансом в общем хоре прозвучали тогда публикации в газете «New York Herald», с 1901 г. контактировавшей с русским посольством в Вашингтоне, и сообщения петербургского корреспондента «Associated Press», также ориентированные на поддержку правительства Николая II.

<sup>33</sup> Chicago Daily Tribune. Jan. 23, 25, 1905; Judge. Feb. 11, 1905; Harper's Weekly. Feb. 4, 1905; New York World. Feb. 6, 1905.



**THE UPHEAVAL**

Рис. 3.

Переворот. Harper's Weekly, 4 февраля 1905 г.

Так в США начиналось подлинное увлечение Русской революцией. Американцы видели ее смысл в проведении политических реформ и установлении конституционного строя и возлагали основные надежды на либералов. Под влиянием эйфории универсализма уходили на задний план сомнения по поводу достаточной просвещенности русского народа и его готовности к участию в управлении государством, мучавшие либералов-«крестоносцев», а также

рассуждения об «извечной Руси», характерные для консерваторов и русофобов с их стремлением подчеркнуть ее «чужеродность», «восточность». Им на смену приходил романтический образ России — страны, готовой совершить политическую революцию и следовать западной модели развития. Карикатуры первой половины 1905 г. стали индикатором тех изменений, которые происходили в общественных настроениях и были связаны не только с реальными событиями в России, но и с собственными представлениями американцев об «истинной революции», с их мессианским энтузиазмом, идеологическим рвением и политическими идеалами.

Образ России, озаряемой светом американской Свободы, занял прочное место в рисунках карикатуристов, способствуя поддержанию мессианских настроений в США. Они получили распространение в ходе общественной кампании, ставшей реакцией на Кишиневский погром, когда под давлением общественности и еврейского лобби, в условиях ухудшения межгосударственных отношений и предстоящих президентских выборов Т. Рузвельт решил представить Николаю II петицию протеста против преследований евреев в Российской империи, подписанную видными политическими и общественными деятелями страны. Именно тогда на карикатурах появилась фигура мисс Колумбии, озаряющей светом Цивилизации Россию — «Царство Дьявола» и протягивающей руку помощи жертвам религиозной дискриминации и насилия<sup>34</sup>.

Религиозный фактор вообще способствовал конструированию демонического образа России. В свою очередь манихейская концепция, предполагавшая разделение мира на «Царства Тьмы и Света», оказывала непосредственное влияние на формирование дихотомического видения американцами реалий российского развития. В то время как участники движения в защиту дела русской свободы рассуждали о религиозной реформации и распространении рациональной веры как неотъемлемой составляющей движения по обновлению России, первые миссионеры-протестанты проникали на ее территорию с надеждой осуществить евангелизацию русского народа<sup>35</sup>. Весной 1905 г. на страницах американской прессы актив-

<sup>34</sup> Philadelphia Inquirer. May 16, 1903.

<sup>35</sup> О значении религиозного фактора в формировании представлений американцев о России в XX в. см.: Foglesong D. S. Conversion and Condemnation: Reli-

но обсуждался указ Николая II, приуроченный к празднованию Пасхи. Правитель России обещал наделить религиозных диссидентов равными правами с православными. Именно тогда на страницах "Detroit Evening News" появилась карикатура Лейпзигера «Пытаясь догнать остальной мир». Земной Шар–бегун стремительно движется по пути прогресса. На месте Российской империи — огромное темное пятно-дыра, так как она изображена «выпавшим фрагментом». Отставший человек–Россия размахивает указом о религиозной свободе, пытаясь включиться в универсальные модернизационные процессы<sup>36</sup>. Однако действия Николая II вызвали неоднозначные оценки в прессе и были восприняты с энтузиазмом, прежде всего протестантами-миссионерами, увидевшими возможность зажечь свет истинной веры в душах русского «темного люда»<sup>37</sup>.

В начале Революции крестоносный дух витал над Америкой, а русские оказались в одном ряду с кубинцами в мессианских планах журналистов и публицистов, религиозных и общественных деятелей. На страницах газет и журналов, в клубах и на многочисленных митингах всерьез обсуждались планы об оказании реальной помощи русскому народу в его борьбе за Свободу. Для чего предлагалось снарядить пароходы с оружием, продовольствием, медикаментами, а главное, литературой, разъясняющей принципы американской демократии, или вообще осуществить «гуманитарную интервенцию», подобную кампании на Кубе. Образ статуи Свободы, «освещающей Россию»; Солнце Свободы, неизменно встающее из-за океана над «Империей Тьмы», чтобы разогнать тучи «Невежества», «Угнетения», «Анархии», «Политических убийств» и даровать свет «Мира», «Процветания», «Просвещения» русскому народу; руки, полные американских долларов, протянутые жертвам еврейских погромов — так мессианская идея прописывалась в политической карикатуре<sup>38</sup>. (Рис. 4).

---

gious Influences on American Images of Late Tsarist, Soviet, and Post-Soviet Russia // Российско-американские отношения в прошлом и настоящем. С. 256-272.

<sup>36</sup> Detroit Evening News. May 20, 1905.

<sup>37</sup> New York World. August 20, 1905; The Blight of Ecclesiasticism in Russia // Current Literature. 1905. Vol. 39. July. P. 52-54.

<sup>38</sup> New York World. Feb. 25, 1905; Chicago Daily Tribune. Jan. 31, Nov. 1, 13, 1905; Columbus Evening Dispatch. Nov. 1, 1905; См. также: Minneapolis Tribune // Literary Digest. 1903. Vol. 27. July 18.





Рис. 4.

Руки, протянутые через океан.  
Chicago Daily Tribune, 13 ноября 1905 г.

Параллельно она закреплялась в общественном сознании американцев в связи с миротворческой деятельностью президента Т. Рузвельта в период Русско-японской войны. Он предстал в облике «крестоносца» мира, человека, способствующего гармонизации международных отношений, дающего шанс Николаю II не только завершить бесславную войну, но и пресечь сползание России в хаос социальной анархии и деструктивного революционного мятежа<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> Harper's Weekly. June 24, July 29, Sept. 2, 1905; New York World. June 10,

До поздней осени 1905 года Русская революция привлекала пристальное внимание карикатуристов. Формируя представления американцев о коллизиях борьбы за Свободу в России, они проводили параллели с Американской и Французской революциями XVIII века, что свидетельствовало о стремлении рассматривать Русскую революцию как политическое движение западного типа. Однако при этом американская модель превращалась в референтную, французская же была призвана предостеречь Николая II от ошибок Людовика XVI, стоивших тому головы, а делателям революции напомнить об опасностях социального хаоса, анархии и террора, характерных для масштабного разрушения «старого порядка»<sup>40</sup>.

На волне «очарования» Русской революцией, ведущей к обновлению России, произошла, пусть и на короткий срок, легитимация политического убийства. В конечном итоге Николай II, обманывая русский народ пустыми обещаниями, играл с огнем. А генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович, погибший в результате покушения, был известен как ярый реакционер и противник реформ. Либерал и русофил С. Харпер, наблюдавший не только за событиями в революционной России, но и за реакцией на них в США, писал: «Американцы не видели ничего плохого в том, что [русские] бросали бомбы в великих князей и, пожалуй, могли согласиться с нападениями крестьян на помещиков»<sup>41</sup>. В конце концов, таковы правила политической игры в России<sup>42</sup>.

Однако обозначенная позиция, безусловно, не была единодушной. В покушениях на высших сановников Российской империи авторы отдельных публикаций увидели и опасные тенденции. Например, достаточно консервативный по своим позициям журнал “North American Review” предупреждал читателей о жестокости разворачивающейся революции и проводил мысль о необходимости

---

July 28, July 30, 1905; Aug. 19, 21, 25, 27, 28, 30, 1905; Washington Post. Aug. 30, 1905; Judge. July 8, Sept. 30, 1905; Philadelphia Press // Literary Digest. 1905. Vol. XXXI. Sept. 9. P. 334.

<sup>40</sup> Chicago Daily Tribune. Jan. 24, 1905; Puck. Feb. 8, 1905.

<sup>41</sup> Харпер С. Россия, в которую я верю. Мемуары. 1902–1914. Вып. 1. М., 1962. С. 46.

<sup>42</sup> Chicago Daily Tribune. Feb. 18, 1905; Philadelphia Inquirer. Feb. 18, 20, 1905; New York World. Feb. 19, 1905; Life. March 9, 1905.

сти постепенного постижения основ парламентаризма. В консервативной “Los Angeles Times” появилась карикатура под названием «Это — ошибка», на которой одетый в сюртук крестьянин, олицетворявший простой народ, с осуждением взирает на анархиста, вооруженного бомбой и кинжалом, и сокрушался: «А весь мир думает, что он представляет нас». Так в политической карикатуристике закреплялось представление о «нигилистической революции», навязываемой степенному и здравомыслящему русскому народу, что было характерно для взглядов американских русофилов консервативного толка. В то же время авторы публикаций в журнале “Арена”, известном своей прогрессивной направленностью, не теряли оптимизма и рассуждали о способности русского народа совершить политическую революцию и его готовности к самоуправлению, о мудрых и высокоинтеллектуальных лидерах, подобных Т. Джефферсону, Б. Франклину и Дж. Вашингтону<sup>43</sup>.

На карикатурах весны-лета 1905 г. в изображении революционных событий преобладают два образа. Негативный — Николай II, потерявшего контроль над ситуацией, «взятого в клещи», с одной стороны, японцами, а с другой, бунтующими рабочими, солдатами и матросами, лишившегося поддержки народа и армии, бездарного правителя, для которого существует только одна возможность спасти свой трон — проведение реформ. В противном случае Россию ждет хаос, убийства, «петиция анархии» вместо «расстрелянной петиции народа»<sup>44</sup>. Позитивный — простого русского народа: он разрывает оковы и встает у штурвала государственного корабля, отрубает щупальца «Ссылка», «Деспотизм», «Религиозная нетерпимость», «Козакизм» (Cossackism), «Жадность», «Некомпетентность», «Непомерные налоги» у спрута «Бюрократия», призывно стучится в дверь «Министерства юстиции» со

<sup>43</sup> Los Angeles Times. March 18, 1905; Living Age (from «Spectator»). 1905. Vol. 244. March. P. 695-697; Independent. 1905. Vol. 58. Feb. P. 349-350, 441-443; New York Times, Jan. 30, Feb. 18, 23, 1905; North American Review. 1905. Vol. 180. Jan. P. 19-20, Feb. P. 300; Arena. 1905. Vol. 33. Feb. 1905. P. 210-213.

<sup>44</sup> Карикатуры из “Ohio State Journal” и “Detroit News”, перепечатанные в “Literary Digest” под общим заголовком «Два пути» // 1905. Vol. 30. March 4. P. 306; Chicago Daily Tribune. June 30, July 1, 1905; Puck. Aug. 9, 1905; Judge. July 29, 1905.

справедливым требованием реформ<sup>45</sup>. Однако американцы симпатизировали революции до тех пор, пока она не произошла; когда же она случилась и нарушила заранее известный сценарий, то стала вызывать беспокойство и разочарование своими «опасными тенденциями»: ростом социальной напряженности, восстаниями в армии и на флоте, забастовками и стачками, созданием Советов рабочих депутатов, не прекращающимися еврейскими погромами.

Карикатуры свидетельствуют о том, что реальные изменения в восприятии Русской революции и ее делателей обозначились уже в середине лета и не только в консервативных изданиях, хотя, прежде всего, в них. В июльских текстах в изображении революционного народа начинают преобладать смысловые коды «социализм», «анархизм», «мятеж / бунт», «убийства». Революция достаточно быстро обретает облик грубого простолюдина во фригийском колпаке (вспомним прецедентный образ-предостережение), после восстания на броненосце «Потемкин» — образ матроса, вооруженного окровавленным ножом, или анархиста с черным знаменем и бомбами в руках. Эти персонажи, окружают придавленного непосильным грузом проблем царя-карлика в огромной короне Российской империи («не по голове шапка»), препятствуют заключению мира в Портсмуте, угрожают смести не только самодержавие, но и свергнуть Россию в состояние хаоса<sup>46</sup>.

Манифест 17 октября, провозглашавший основные гражданские свободы, а также расширявший избирательные права и полномочия будущей Думы, вызвал энтузиазм по другую сторону Атлантики, хотя авторы публикаций, в особенности в либерально-прогрессистских изданиях, не забывали напоминать о том, что он вырван у Николая II силой. На страницах газет и журналов заговорили о начале новой эры внутривнутриполитического развития России, о возможностях для дальнейшей эволюции политического строя. Образ царя в карикатуристике оставался по-прежнему негативным — безвольный правитель-карлик, потерявший власть и контроль над

---

<sup>45</sup> New York World. May 31, 1905; Chicago Daily Tribune. June 5, 1905; Puck. June 21, 1905; Columbus Evening Dispatch // Literary Digest. 1905. Vol. 30. June 17. P. 882; Life. June 22, 1905.

<sup>46</sup> Philadelphia Inquirer. June 30, July 1, 2, 9, 1905; Los Angeles Times. July 2, 7, 1905; Atlanta Constitution. July 7, 1905.

ситуацией в стране<sup>47</sup>. В то же время американские художники тиражировали возникший еще в конце Портсмутской конференции «романтический» образ С. Ю. Витте, назначенного в октябре 1905 г. на пост Председателя Совета министров. Его характеризовали как сильную личность, проводника западного влияния, человека, вызывающего доверие всего цивилизованного сообщества и наиболее подходящего для того, чтобы провести реформы и направить революцию в мирное русло. Карикатуристы изображали Витте человеком-горой в свете лучей солнца «Свобода для русского народа», встающего из-за океана; капитаном, спасающим государственный корабль от шторма революции; освободителем русского народа, который он намерен уберечь от крайностей деспотизма и анархии; добрым дядюшкой, объясняющим рыдающему царю, что Индейка—«Свобода» в День Благодарения по праву принадлежит русскому народу, ведь он обменял ее на дубинку «Революция»<sup>48</sup>.

Окончательная смена общественных предпочтений произойдет в осенние-зимние месяцы 1905 года, когда 42 из 49 ведущих печатных изданий заявили о необходимости восстановить закон и порядок, коль скоро революционеры не могут достигнуть реальных политических результатов<sup>49</sup>. Новая серия еврейских погромов, в том числе с участием крестьян, волна аграрных беспорядков, бесчинства черносотенцев, и, наконец, декабрьское вооруженное восстание привели к разочарованию в Русской революции, превращавшейся, по мнению большинства американских наблюдателей, в бунт «бессмысленный и беспощадный», в кровавую схватку не на жизнь, а на смерть, в «дикую пляску беспредела нигилистов, крестьян, рабочих»<sup>50</sup>. Карикатуристы очень четко зафиксировали эту смену настроений и нарастание пессимизма в оценках перспектив революции, что выразилось, прежде всего, в нараставшей негативизации образа русского народа. В ноябрьских текстах рядом с

---

<sup>47</sup> New York World. Oct. 29, 1905; Chicago Daily Tribune. Nov. 2, 1905; Harper's Weekly. Nov. 18, 1905; Philadelphia Inquirer. Dec. 7, 1905.

<sup>48</sup> Chicago Daily Tribune. Oct. 28, Nov. 1, 1905; New York World. Nov. 1, 1905; Judge. Nov. 25, 1905.

<sup>49</sup> Thompson A. W., Hart R. A. Op. cit. P. 69.

<sup>50</sup> Boston Herald // Literary Digest. 1905. Vol. 31. Nov. 11. P. 689; Chicago Daily Tribune. Nov. 12, 1905; New York World. Dec. 3, 7, 1905; Puck. Dec. 27, 1905.

достаточно «романтическими» представлениями о народе-заклоченном, получившем «ключ конституционной свободы»<sup>51</sup>, появляются изображения Медведя, сорвавшегося с цепи и карабкающегося по «монархическому дереву» с бомбой под мышкой; простого народа, разорвавшего путы самодержавия, чтобы реализовать идею свободы по-русски — убивать невинных евреев; простолюдина, вооруженного бомбой и ножом и требующего у царя «еще больше свободы»<sup>52</sup>. Участники декабрьского вооруженного восстания вызвали осуждение на страницах прессы, более того, русскому правительству вменялось в вину отсутствие должной решительности при наведении порядка в стране. На карикатурах появляется образ русского народа, цепляющегося за раскаленную сковородку «Тирания», чтобы не упасть в костер «Анархия», или отпиливающего от древа «Цивилизация» сук, на котором он сидит<sup>53</sup>. Этот образ становится откровенно отталкивающим на карикатурах в республиканском журнале «Judge»<sup>54</sup>.

Последний всплеск интереса американцев к Русской революции связан с созывом Думы в апреле 1906 г., что, по их мнению, могло стать выходом из социального хаоса и базой для мирной трансформации автократического режима в конституционный, началом реальной борьбы за свободу путем реформ. Практически исчезнувшая в зимние месяцы тема Русской революции вновь, хотя и ненадолго, заняла центральное место в американской политической карикатуристике. Графические тексты заполнили образы: народа-заклоченного, делающего первые шаги к гражданской свободе из заваленного черепами подземелья тюрьмы; косматой мужицкой России, посаженной на цепь «Основной закон страны»; Думы-землетрясения, взламывающего здание «Династия Романовых», Думы-патефона, играющего универсальную музыку «прав и свобод». Это были фигуры бородатого простолюдина во фригийском

<sup>51</sup> Chicago Inter Ocean, Detroit Journal, Boston Herald, Omaha News, Pittsburg Chronicle Telegraph // Literary Digest. 1905. Vol. 31. Nov. 11, 18. P. 689, 733.

<sup>52</sup> New York World. Dec. 19, 1905; Brooklyn Daily Eagle, Pittsburg Dispatch, Baltimore Evening Herald // Literary Digest. 1905. Vol. 31. Nov. 11, 18. P. 689, 732, 733.

<sup>53</sup> Detroit News, Minneapolis Journal // Literary Digest. 1906. Vol. 32. Jan. 6. P. 3. Обе карикатуры стали иллюстрацией к статье: "Lack of Sympathy for the Moscow Rebels".

<sup>54</sup> Judge. Jan. 20, 1906.

колпаке, «делающего козу Николаю II», а потом получающего от него под зад ногой, или лохматого мужика–мальша в «ходунке свободы». Таким виделся первый конституционный опыт России американским карикатуристам<sup>55</sup>.

Однако при всей симпатии к народному представительству радикальные требования депутатов не вызвали поддержки общественного мнения в заокеанской республике, а русские либералы, на которых уповали американцы, не смогли направить революционное движение в русло парламентской борьбы и отказались от постепенных реформ и сотрудничества с правительством. И хотя роспуск Думы в июле 1906 г. вызвал негативную реакцию в прессе, при том что реформистские журналы продолжали акцентировать внимание на политическом возмужании русской нации, а радикалы — восхищаться «социальным очистительным ураганом», в целом надежды на превращение революции в эволюцию сменились предсказаниями смут с последующим ужесточением реакции. В целом, интерес американцев к Русской революции иссяк, свидетельством чему стало резкое сокращение карикатур по этой теме. Практически, их полное исчезновение.

В передовице “Philadelphia Press” был подведен итог Первой русской революции: ни революционеры, ни Николай II, оказавшийся между дьяволом революции и пропастью реакции, не смогли установить порядок и допускали ошибки; ни в правительственном, ни в революционном лагере не нашлось сильного лидера; славянский характер, три века препятствовавший прогрессу свободы и самоуправления, продолжает оставаться главным тормозом модернизации политического строя Российской империи<sup>56</sup>. Таким образом, на первое место вышел миф об «извечной Руси». Немногие наиболее вдумчивые наблюдатели продолжали подчеркивать конструктивную сторону происходивших событий, однако, в целом, эйфория универсализма сменилась прогорклой русофобией, образом «Революции по-русски», делатели которой предпочитают террористические акты против всех и вся как механизм решения политиче-

---

<sup>55</sup> New York World. May 11, 27, 1906; Philadelphia Inquirer. May 11, 14, 15, 17, 22, 1906; Puck. June 6, 1906.

<sup>56</sup> Literary Digest. 1906. Vol. 32. Aug. 11. P. 173-174; См. карикатуры из “New York American”, “Indianapolis Star” // Ibid. June 30, Aug. 11. P. 967, 173; Los Angeles Times. May 31, 1906; Judge. 1906. Vol. 50. June 23.

ских проблем, образом страны, где прогресс свободы таков: «раньше патриотов ссылали в Сибирь, а теперь — в Государственную Думу», ставшую пародией на народное представительство<sup>57</sup>.

Первый «цикл надежд и разочарований» американцев по поводу перспектив модернизации России завершился. Закончился и их первый «крестовый поход» за ее обновление.

### **Русский «Другой» и американское «Я»**

Визуализация представлений о России в США способствовала закреплению образа России как «Другого», значимого для конструирования американской Я-концепции. Эта тенденция обозначилась в выступлениях политических и общественных деятелей, публицистов и журналистов, активистов движения в поддержку дела русской свободы еще в конце XIX в. А в начале XX века она со всей очевидностью проявилась в карикатуристике, что свидетельствовало о возникновении долгосрочной коммуникативной стратегии, оказывавшей непосредственное влияние на формирование американского дискурса о России, которая превращалась в своеобразного «темного двойника» Соединенных Штатов. Эта корректировка восприятия позволяла отвлечь внимание американцев от проблем в собственном доме и укрепить их веру в особые преимущества Америки в период расовых смут и политики сегрегации, нейтивистской истерии и рестрикционистской агитации, вызова левых идеологий и роста социальной напряженности, формирования нового мировидения и смены внешнеполитических приоритетов. Параллельно русский «Другой» использовался и для самокритики. «Гроздь гнева» исправно вызревали в американском саду, и среди тех, кто участвовал в общественно-политических дебатах по вопросу о дилемме прогресса в России, нашлось немало тех, кто ощущал дискомфорт в связи с «политикой двойных стандартов» и советовал американцам, живущим в «стеклянном доме», заняться собственными делами. Среди них оказались не только темнокожие граждане Америки, чувствовавшие себя такими же «чужими» в США, как и евреи в Российской империи, не только русофилы, стремившиеся «увидеть Россию зрением сердца» и принять ее инаковость, но и «друзья русской свободы», внесшие важный вклад в демонизацию образа России, однако не терявшие из виду «больные

---

<sup>57</sup> Life. Jan. 31, 1907; Puck. July 17, 1907.



вопросы» американской действительности. Не случайно «крестовый поход» в поддержку обновления Российской империи вписывался в реформистские движения Прогрессивной эпохи. Другое дело, что какими бы «болезнями роста» не страдало американское общество, методы его лечения по сравнению с российским представлялись ненасильственными, предсказуемыми, лишь возвращающими социум к состоянию баланса, на время им утерянному.

Карикатуристы использовали различные приемы для конструирования образа русского «Другого». После Кишиневского погрома, когда в условиях всплеска расового насилия в самих Соединенных Штатах общественные и религиозные деятели, журналисты и издатели газет заявляли о том, что погромы в России неизмеримо хуже, чем линчевания в США, когда «Друзья русской свободы» приветствовали протест американцев против антиеврейского насилия, отказываясь проводить параллели с антирасистскими беспорядками, появляется серия карикатур, акцентирующих внимание на новой роли России в американских саморепрезентациях. К. Мейбел из "Brooklyn Eagle" нарисовал рыдающего Николая II, который отмахивается от американской петиции протеста, «пребывая в печали» по поводу линчеваний в Дэлавере, а Дж. Маккатчеон изобразил Дядю Сэма, бросающего камни в сторону России, где казак убивает невинную еврейку, в то время как за «стеклянной стеной американского дома» происходит антинегритянский погром<sup>58</sup>. Позже Т. Мэй из "Detroit Journal" изобретательно обыгрывает чикагские беспорядки. Сидящие рядом Николай II и Дядя Сэм с ужасом читают: первый — чикагскую, второй — московскую газеты, пестреющие одними и теми же заголовками о стачках, погромах, убийствах<sup>59</sup>.

Параллельно карикатуристы, используя оппозиции «Свет — Тьма», «Цивилизация — Варварство», «Современность — Средневековье», противопоставляли Соединенные Штаты и Россию, превращавшуюся в демонического «Другого».

В период революции Ф. Морган из "Philadelphia Inquirer" создал запоминающийся текст, приуроченный к празднованию 4 июля и имеющий двойной смысл. В нем выражен и мессианский порыв

---

<sup>58</sup> Chicago Daily Tribune. March 11, 1904. Chicago Daily News // Public Opinion. May 28, 1903; Brooklyn Daily Eagle // Literary Digest. 1903. Vol. XXVII. July 18.

<sup>59</sup> Перепечатано в «Literary Digest». 1905. Vol. 30. May 20. P. 732.

американцев, и их представления о России — «темном двойнике» США. Дядя Сэм держит факел Свободы и Независимости над головой скованного цепями мужика, олицетворяющего русский народ. Последний вопрошает, глядя на счастливое лицо Дяди Сэма: «Интересно, а у меня будет когда-нибудь такое славное 4 июля?». (Рис. 5).



Рис. 5.

Славное четвертое. Philadelphia Inquirer, 4 июля 1905 г.

Дж. Маккатчеон, в свою очередь, представил воображаемый «Марш 4 июля»: Рузвельт, заваленный букетами и окруженный ликующим американским народом, празднует День Независимости под гром салюта и пение национального гимна, а рядом Николай II, заваленный бомбами и окруженный восставшим народом, с ужасом

ждет своей гибели под гром японских пушек и проклятья революционеров, размахивающих красными флагами и кинжалами. Надпись играет роль смыслового кода: “U.S.A” — “RUSSIA”<sup>60</sup>.

Американские карикатуристы, визуализируя представления о радикальной русской революции, превращали их в своеобразный образ-предостережение. Художники “Los Angeles Times”, известной своими выступлениями против рабочего и профсоюзного движения в США, будут неизменно обращаться к изображениям русских революционеров — бомбометателей, нигилистов и анархистов, взбунтовавшихся рабочих и крестьян с целью подчеркнуть чужеродность «левых идеологий» для американской модели развития и их деструктивный характер<sup>61</sup>.

В период конфликта на Дальнем Востоке Дж. Маккатcheon и Ч. Буш уделили особое внимание характеристике двойственной политики США, что в более широком плане также выводит нас на образ русского «Другого»: лихой Дядя Сэм открывает дверь «Маньчжурия», за которой виднеются лапы русского Медведя, и одновременно подпирает другой ногой дверь американскую, закрывая ее для китайских иммигрантов; на переднем плане в смертельной схватке сцепились русский и японец, а на заднем происходят беспорядки в Чикаго и выясняются отношения между США и Колумбией по вопросу о строительстве Панамского канала; русские и японские солдаты в ожидании мира смотрят вдаль, где президент США воюет с сенатом при помощи «большой дубинки», а конгрессмены ведут кулачные бои, обзывая друг друга последними словами<sup>62</sup>. Есть свой подтекст и в серии карикатур, посвященной Портсмутской конференции. Например, Томас Мэй из “Detroit Journal” изобразил Рузвельта в облике «Нового ангела мира». Он сжимает в руке оливковую ветвь и хитро разглядывает свое отражение в зеркале, пытаясь понять, насколько гармонично сочетаются ангельские крылья и огромная узловатая дубинка<sup>63</sup>.

\* \* \*

---

<sup>60</sup> Chicago Daily Tribune. March 6, 1905. См. также: Feb. 19, 1905.

<sup>61</sup> Los Angeles Times. May 11, 1905; May 3, 1906.

<sup>62</sup> New York World. July 19, 1903; Chicago Daily Tribune. Dec. 22, 1903; January 9, 13, 19 1904; Feb. 15, 1905.

<sup>63</sup> Detroit Journal // Literary Digest. 1905. Vol. XXX. June 17. P. 884.

Реконтекстуализация образа России в американской политической карикатуре в начале XX века, а более точно — в период первого кризиса в двусторонних отношениях, акцентирует внимание на тех коммуникативных стратегиях, которые использовались в медийных текстах для кодирования общественного мнения и конструирования представлений о прошлом и будущем русской нации. Будучи связаны с процессом превращения России в конституирующего «Другого» и объект глобальной миссии США по демократизации мира, они сохраняют свое значение на протяжении всего XX века, заложив основы традиции одномерного или «манихейского» (по принципу «белое — черное», «добро — зло», «тьма — свет») описания заведомо противоречивой российской действительности. А это, в свою очередь, будет способствовать формированию и поддержанию долгосрочных американских мифов о России и русских<sup>64</sup>.

Безусловно, карикатуристы нивелировали картину восприятия. Вербальная составляющая медийного образа России, даже с учетом склонности американской прессы к преувеличениям и драматизации событий, позволяет говорить о значительных нюансах восприятия как внутренней, так и внешней политики Российской империи в рассматриваемый период. Для изображения конфликта на Дальнем Востоке было характерно колебание от «романтического» образа Японии до антияпонских настроений, от актуализации русской угрозы американским интересам в Китае до формирования представлений о цивилизаторской роли России в регионе. Другое дело, что накануне и в ходе войны преобладали антирусские чувства. То же самое можно сказать и об образе Русской революции, вернее о сосуществовании разных ее образов в консервативном, либерально-прогрессистском и радикальном дискурсах. Все они сохраняли значение на страницах американской периодики в 1906-1907 гг., хотя первый, с характерной для него русофобией и отне-

---

<sup>64</sup> О преимуществах коммуникативных стратегий подробнее см.: Журавлева В. И., Фоглесонг Д. С. Конструирование образа России в американской политической карикатуре XX в. // Россия и США на страницах периодики / Ред. В. А. Коленко. М., 2008. См. также: Foglesong D. S. The American Mission and the "Evil Empire". The Crusade for a "Free Russia" since 1881. Cambridge; N.Y., 2007.

сением России к «извечно восточному», стал преобладающим. Либералы—«крестоносцы» видели итог революции в приобретении бесценного опыта парламентаризма и по-прежнему мыслили Россию объектом глобальной миссии США. Радикалы, в свою очередь, акцентировали внимание на образе страны социального эксперимента, где в результате подлинной социальной революции могло возникнуть общество, отличное от западного, вышедшего из недр революций политических.

Карикатуристы гиперболизировали отдельные составляющие неоднозначного образа России, закрепляя новые общественные предпочтения. Это вообще свойственно карикатуре, почему она и является мощным пропагандистским оружием. В этом, кстати, и состоит ее ценность как исторического источника. В итоге в карикатуристике возобладал образ России, униженной Японией и угрожавшей интересам США, не способной воспринять опыт Запада, образ либералов, не сумевших направить Революцию в конструктивное русло, образ русского народа, не просвещенного, не готового к представительной форме правления и не умеющего пользоваться свободой.

В начале XX века американские карикатуристы способствовали визуализации тех циклов надежд (по поводу обновления России) и разочарований (в связи с достигнутыми результатами), тех колебаний настроений от эйфории универсализма к русофобии и пессимизму, которые вплоть до начала XXI века будут характерны для дихотомического видения американцами очередных этапов модернизации России, и которые создавали в прошлом и продолжают создавать в настоящем препятствия для понимания происходящих в ней процессов.

# ИСТОРИОПИСАНИЕ: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

---

*Рольф Торстендаль (Швеция)*

## ИСТОРИОПИСАНИЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИРАЩЕНИЕ ЗНАНИЯ

### 1

Каждый, кто когда-либо пытался заниматься любой академической дисциплиной, сталкивался с набором правил, определявших, что исследователю дозволено или рекомендуется делать, а что — нет. Эти нормы, строго говоря, касаются не только методологии; скорее, они создают основу научного дискурса в любой дисциплине. В течение прошлого столетия проходили оживленные дискуссии относительно норм историописания. Каждому историку важно понимать, что эти дискуссии касаются проблемы нормативности, общей для всех научных занятий и исследовательской деятельности.

Нормы могут быть прямыми предписаниями, или же основываться на рациональных доводах, обосновывающих их действенность в качестве руководства по достижению эпистемологических целей. Предписания чаще всего появляются в учебниках по любой дисциплине, и зачастую автор довольствуется этим уровнем нормы. То, что называют методологией, часто — всего лишь презентация методов. Конечно, за этими нормами должно стоять нечто большее, а именно, цель, которая, как считается, может быть достигнута благодаря действиям, рекомендованным или предписанным методологическими правилами. Эта цель связана с производством нового знания. Среди ученых нет единодушия относительно природы знания или того, как оно достигается. Следовательно, нормы, связанные с конечной целью, ни в коем случае не являются самоочевидными. Я вернусь к этой проблеме в конце статьи. Здесь же, однако, моя главная цель состоит в том, чтобы проанализировать нормативную систему, концентрируясь на ее функциях в исторической дисциплине. Мое исследование предполагает четыре стадии, следующие непосредственно после вступительных ком-

ментариев. Сначала я попытаюсь охарактеризовать нормативную систему и первый из двух главных типов норм, а именно, то, что касается требований к тексту профессионального историка. В третьем разделе я обращаю внимание на нормы, дающие основание восхвалять (или порицать) работу историка за то, что она является (или не является) интересной, новаторской или плодотворной. Четвертый раздел посвящен отношениям между нормами и профессионализмом, а в последнем, пятом разделе я вернусь к вопросу о высшей мотивации нормативной системы.

Когда «лингвистический поворот» революционизировал теорию истории, в определенных кругах считалось само собой разумеющимся, что старая нормативная система была слишком «сциентистской» и ее следовало заменить или дополнить эстетическими нормами. Высшим критерием состоятельности нарратива, произведенного согласно данным нормам, должна была оказаться его убедительность для читателя. Основополагающий вопрос, на который, однако, редко давался ответ, заключался в следующем: производит ли историописание «новое знание», или нет?

Знание не равно науке, но естественнонаучные исследования, несомненно, претендуют на то, чтобы быть одним из нескольких видов деятельности, производящей знание. Историописание раньше также претендовало на то, чтобы относиться к области «производства знания». Но так ли это теперь? Если это верно, каковы условия для «производства знания»? Является ли одним из них систематический поиск нового знания, и необходимо ли отделение знания от не-знания («необоснованных предположений», «легковесных суждений», «вымысла» и т. п.)?

Я не собираюсь затрагивать здесь всю эту проблематику, но сконцентрируюсь на роли норм в создании знания. Стоит начать с пары слов об отделении «знания» от «не-знания». Я уверен, что это не просто вопрос определения. Скорее, дело в процедуре: утверждения, которые, как считается, дают нам новое знание, произведены способом, какой мы полагаем «надежным». Это относится к разного рода утверждениям, встречающимся в научных трудах, газетах, журналах, радио- и телепрограммах, повседневных разговорах и т. п. Если человек, выдвигающий утверждение, пришел к нему подобающим, как мы считаем, путем, он или она «знают, о чем говорят». Зачастую мы не способны определить, какие именно

пути являются подобающими, однако у нас существует представление о том, какими они должны быть. Когда мы принимаем утверждение или набор утверждений в качестве (нового) знания, мы подразумеваем, что использовались именно такие методы. Если утверждение не является знанием, оно рассматривается как «квази-наука», «миф», «ложь», «слухи» и т. д. Итак, отделение знания важно для нас в повседневной жизни и в научной деятельности.

Хороший игрок практически в любой игре обращается с системой определенных правил наиболее рационально, используя свои интеллектуальные и физические способности в сочетании с возможностями, открываемыми этой системой. Именно в этом смысле «игра ума в науке» может рассматриваться как игра. Чтобы избежать элементарных ошибок, исследователь должен следовать определенным правилам, но чтобы стать хорошим исследователем, необходимо тренировать и использовать врожденные физические и интеллектуальные способности. Эти правила в основном являются общими в «исследовательской игре». Но хотя большинство правил исторического исследования не являются специфичными, некоторые из них, несомненно, таковы, и я хочу подчеркнуть, что имею в виду историю и общественные, а не естественные, науки.

Важно также рассмотреть, имеют ли правила исследования цель и рациональное основание, или же они являются произвольным набором правил. Системы правил, произвольные и рациональные, определяют, что является корректным в «исследовательской игре» точно так же, как правила бриджа отличают его от канасты или виста. Произвольная система правил не может быть рационально обоснована кроме как благодаря тому, что она образует структуру игры, например, бриджа. Игрок в карты может сказать: «Я хотел бы сыграть в бридж», и он принимает как должное то, что остальные знают правила бриджа и, следовательно, понимают, чего он хочет. Можно сказать: «Я хочу играть в игру научной истории», но отнюдь не очевидно, что другие поймут, по каким правилам вы собираетесь играть. Можно также сказать, что желание «играть в научную историю» имеет отношение к культурной пользе. Итак, налицо сходство и различия между системой правил в играх в целом и системой правил в научных исследованиях и их функциях. Я буду использовать эту параллель, но также укажу и на важные различия между правилами в данных контекстах.



## 2

Нормативный аспект знания предполагает, что всякая научная деятельность связана с общественной средой. Нормы являются продуктом группы или социальной среды. Поэтому если сообщество историков решит, что эстетические нормы должны играть важную роль в формировании исторического знания и заменить часть старой нормативной системы, сообщество вполне может это сделать. Новая норма, однако, не станет обязательной только потому, что один, два или несколько теоретиков сочтут, что они доказали ее ценность, или даже если они станут утверждать, что историки на деле давно следуют этой норме, не осознавая этого. Действенные нормы, отделяющие знание от не-знания, определяются не особым содержанием, а тем фактом, что они признаны в качестве норм. Далее я покажу, что существует два вида действующих норм — «минимальные требования» и «оптимальные нормы». Я использую это разделение, так как полагаю, что есть причины считать эти концепции в равной степени применимыми к гуманитарным и общественным наукам.

Есть причина утверждать, что история науки может быть использована в качестве обоснования тезиса о том, что ни в одной сфере науки система правил не определялась раз и навсегда. Всякая научная дисциплина оказывалась подвижной благодаря развитию системы правил, а также благодаря новым эмпирическим наблюдениям и новым теориям. Чаще всего они соединялись, и порой изменения происходили благодаря новым инструментам. Микроскопы, ядерные циклотроны и т.п. изменили наблюдения, теории и методы в естественных науках; техники печати, фотографии и копирования, каждая в свою очередь, существенно преобразили гуманитарные дисциплины. В последнее время к ним прибавились компьютеры, и это мощное сочетание породило ряд изменений в наблюдениях и теории.

Нормы производятся в социальном контексте. То, что я называю минимальными требованиями и оптимальными нормами, это такие научные нормы, которые должны быть признаны сообществом ученых прежде, чем становятся действенными.

Причина, по которой я хочу выделить эти два типа норм, заключается в том, что один тип должен быть более постоянным и более независимым от сообщества ученых, чем другой. Чтобы объ-

яснить, почему я настаиваю на различии, я хочу вернуться к аналогии с играми. В шахматах минимум — это знание о ходах фигур, правилах рокировки, шаха и мата. Не зная этих правил, нельзя играть в шахматы, однако можно впасть в искушение изобрести собственные правила в игре, которая, собственно, является не шахматами, а «шахматами-2». Многие дети придумывают подобные правила, когда не знают «настоящих» правил игры. Так и я играл в «шахматы» со своим старшим братом, когда мы оба были еще маленькими мальчиками: у нас были свои правила рокировки и подчинения одного короля другому. Так игроки, подобные нам, создают свои собственные минимальные требования. Сообществом, признававшим эти правила, в данном случае были мы двое. Одного мальчика было бы недостаточно. Важно, что мы оба согласились признать эти правила. Таким же образом, хотя, надеюсь, не с той же легкостью, создаются и минимальные требования в науке.

Многие обнаружили, зачастую с грустью, что они не стали хорошими игроками в шахматы, просто выучив минимальные требования игры. Вас легко могут обхитрить более опытные игроки. Существуют тактические ловушки, и только практика может научить игрока видеть их. Тактическое расположение и стратегическое планирование имеют собственные правила, независимые от минимальных требований, но использующие возможности, ими открываемые.

Игрок, игнорирующий любое из минимальных требований, «совершает ошибку». Это значит непосредственно нарушить основные правила. В шахматах новичкам случается совершать такие ошибки. Однако опытный игрок редко совершает ошибки такого рода. Он может ошибочно сделать недозволенный ход, но подобную ошибку, скорее всего, проигнорируют как случайность, и игроку об этом скажут. Считается само собой разумеющимся, что все игроки знают правила, так как последние просты, и им легко следовать. В других играх отношения между правилами и игроками иные. В футболе, например, зачастую даже известных игроков ловят в «офсайде», а за такую ошибку судьи непременно должны их наказать. Случается, что игроки вполне сознательно касаются мяча рукой (даже такой талант, как Марадона, сделал это во время важного матча на чемпионате мира), а это, конечно же, серьезное нарушение правил. Часто бывает сложно или невозможно определить, слу-

чайно ли игрок коснулся мяча рукой, или же он сознательно использовал руку в сложной ситуации. Футбольные правила дают судьям определенную свободу выносить решения, что порой вызывает негодование среди болельщиков той или иной команды. В разных играх игроки по-разному соблюдают правила, являющиеся минимальными требованиями. Однако всегда можно сказать, какие действия в игре соответствуют правилам, а какие — нет.

Минимальные требования во всех играх легко определить. Должен существовать свод правил для прояснения вопроса о том, что дозволено, или, в других случаях, что запрещено в игре. Если игрок выучил свод правил, он/она знает минимальные требования игры. В некоторых играх это сложно, поскольку правила могут быть запутанными, и легко в других, однако не существует прямой связи между сложностью минимальных требований и сложностью самой игры. В некоторых играх правилам сложно следовать, и они были созданы для того, чтобы создавать затруднения; в других играх (например, в шахматах) трудность заключается не в минимальных требованиях, но в следующем шаге — хорошей игре, т.е. в следовании оптимальным нормам.

Минимальные требования имеют лишь одну цель, а именно, прояснить рамки игры. Только когда правила соблюдаются, можно определить, правильно поступают игроки, или нет. Это означает, что во многих играх необходим независимый судья, по крайней мере, если игроки принимают свою игру всерьез, и в обязанности судьи входит определить, не нарушил ли кто-либо минимальных требований. Судейство может принять две формы. Либо налагается наказание согласно правилам игры, либо совершенная ошибка представляет собой такое серьезное пренебрежение правилами, что игра продолжаться не может.

Свод правил важен для всех игр, а судья — почти для всех спортивных игр. В этих двух аспектах «исследовательская игра» отличается от развлекательных и спортивных игр. В науке нет свода правил. Правда, существуют учебники, касающиеся научных правил. Однако нет единого, всеми признанного свода правил, или канона, перечисляющего определенные правила, действенные во всех дисциплинах, или же в отдельной дисциплине — например, в истории.

Учебники «исследовательской игры» в истории впервые появились в начале XIX в. в Германии (например, издания Фридриха Рюса), но у них были и простейшие предшественники в XVIII столетии<sup>1</sup>. Начиная с того времени, в Европе и в США (это те культурные области, о которых я что-либо знаю) было издано множество подобных книг. Эти книги представляют собой более или менее простые введения в то, как заниматься историческим исследованием и писать историю, признаваемую научной. Все эти книги стремятся научить минимальным требованиям. Многие также передают и более-менее полные наборы оптимальных норм. Эти книги во многом похожи друг на друга. Они часто расходятся в своих образовательных устремлениях, но их минимальные требования довольно точно совпадают. «Часто», «довольно» и «во многом» — важные слова в данной связи. Здесь нет полного согласия. Нередко читатель может заметить расхождения в правилах; можно увидеть и изменения правил во времени. Я сам исследовал то, как шведские историки меняли свои взгляды на правила анализа и критики источников (и ряд других правил) на протяжении столетия — с 1820 по 1920 гг. Я также рассматривал эти изменения в европейской перспективе<sup>2</sup>. Наверное, возможно обнаружить и локальные варианты в разных странах, вдобавок к тому, что личность авторов наложила отпечаток на различные книги. Итак, не существует всеми признанной нормативной системы, составляющей минимальные требования в «исследовательской игре» истории. Нет признанного свода правил.

Кроме того, в «исследовательской игре» истории нет и беспристрастного судьи, к которому можно было бы обращаться для улаживания споров. В данной игре все историки являются игроками. Ни один из них не может быть настолько бесстрастным, чтобы взять на себя функцию толкователя правил, а не историка-исследователя. В «исследовательской игре» сами игроки являются

---

<sup>1</sup> *Blanke H. W.* Historiographiegeschichte als Historik. Stuttgart-Bad Cannstadt, 1991.

<sup>2</sup> *Torstendahl R.* Källkritik och vetenskapssyn I svensk historisk forskning 1820–1920. Uppsala: Studia historica Upsal. Vol. 15. 1964); *Idem.* Historikerns bundenhet av sin samtids intellektuella liv // Historievetenskap som teori, praktik, ideologi / T. Nybom & R. Torstendahl. Stockholm, 1988. P. 137-147.

судьями, подобно тому, как мальчишки из дворовой команды, с которой я играл в футбол, сами судили свою игру. В подобных ситуациях одни игроки будут иметь больший авторитет, чем другие, но, сделав несколько ошибок, такой игрок легко может утратить его. Обладать авторитетом может лишь сознательный игрок, следующий правилам и доказавший свою способность делать свое дело хорошо (использующий набор оптимальных норм, признанный другими), что важно в спорных ситуациях.

Поскольку здесь нет всеми признанного свода правил и судьи, «исследовательская игра» во многом зависит от коммуникации между учеными. А поскольку трудно лишь через чтение определить, обладает ли статья или книга искомыми научными достоинствами, или нет, важное значение имеет критическая оценка нового вклада в науку. В международном сообществе ученых эта функция выполняется несколькими способами. Ученые встречаются и обсуждают свои достижения на конференциях и конгрессах. Внимательная и публичная критическая оценка диссертаций составляет необходимую часть процесса включения молодого ученого в академическое сообщество. Этот обычай имеет ритуальные функции, но он также важен и для определения границ профессионального сообщества. Другие формы оценки точности автора в применении минимальных требований в «исторической игре» — это семинары и руководство диссертационными работами. Еще одной формой оценки, когда автор не принимает участия в прямой дискуссии, является рецензирование книг в научных журналах, а также отзывы на статьи, представленные к публикации. Чем ближе рецензируемая книга или статья к сфере интересов рецензента, тем больше шансов реально оценить, насколько точно автор следовал минимальным требованиям, а также критически проанализировать отмеченные отклонения.

В чем состоят минимальные требования, и что они означают в настоящее время в европейских исторических исследованиях и в общественных науках? Проанализировав с данной точки зрения многочисленные рецензии, а также ряд монографий, я обнаружил четыре основных типа доводов, выдвигавшихся против того, что рецензент рассматривал как «недостаток» в презентации. Эти четыре типа перечислены ниже:

- Недостаточная *логичность построений*, особенно при использовании концептов, что приводит к возникновению противоречий.
- Упущенная *возможность проверить факты*, или же *ошибки в работе с источниками*, составлявшими фактическую основу исследования (т.е. недостаток *эмпирической надежности самого предмета исследования*).
- Недостаток *внутренних связей*, не позволяющий понять, как именно один довод или результат связан с другими доводами и результатами.
- Отсутствие *новых результатов* — все, что представлено, в качестве выводов, уже было обосновано другими исследователями.

Вероятно, необходимо подчеркнуть: то, что обычно называют «историческим методом» в узком смысле (критически анализ источников и т.п.) подпадает под первые два правила.

Обсуждение и критический анализ научных результатов с точки зрения минимальных требований чрезвычайно важен. Только через скрупулезную оценку можно понять, соответствуют ли результаты стандартам науки, или нет. Исторические исследования терпимы к отдельным промахам — в этом смысле они похожи на футбол, — однако серьезные нарушения правил караются, и наказание принимает формы неформального исключения из сообщества. Историк, пренебрегающий минимальными требованиями, не признается другими историками в качестве ученого, вне зависимости от того, каковы были намерения, приведшие к нарушению правил. Осуждение в первую очередь направлено не на автора, а на саму работу, хотя репутация первого остается запятнанной — ведь именно он создал этот труд.

Практикующие ученые очень серьезно относятся к минимальным требованиям, и это порой удивляет читателей, которые находят книги, не следующие этим правилам, более увлекательными, нежели научные произведения. Наука нетерпима к нечестности и небрежности. Научные результаты должны быть достоверными, чтобы читатель был уверен в том, что они были получены в согласии с минимальными требованиями. Цель у всей этой строгости лишь одна: достичь «знания». Если наука производит знание, аудитория должна быть в состоянии потребовать у нее нечто. Возникает искушение

рассмотреть эти требования, т.е. использование обществом исторического знания, однако здесь неподходящее для этого место. Основопологающим условием для использования является надежность и достоверность знания. Мы не хотим видеть его обманчивым, иллюзорным или ложным. Именно это и призваны гарантировать минимальные требования. Но поскольку минимальные требования изменились за прошедшие века и даже десятилетия, они, очевидно, не могут гарантировать достижение истины с большой буквы.

В широком смысле первые два минимальных требования (логичность построений, эмпирическая достоверность предмета) формируют рамки методологии. Вдобавок существует много специфических правил типа: «Если у вас есть материал, обладающий следующими характеристиками..., вы должны применить следующие процедуры...». Все эти методы и правила работы исследователя являются ситуационными нормами, сочетающими эмпирические ситуации с нормативным содержанием, заимствованным у одного из основополагающих минимальных требований. Описания ситуаций могут варьироваться, и все вторичные правила не бесспорны. Далее, некоторые правила и методы этого рода устаревают, другие обретают признание, но одному ученому не под силу реформировать нормативную систему. Лишь академическое сообщество в целом может решить, что является действующей нормой. При посредстве внутренних дискуссий сообщество определяет, какие нормы следует принять и каким правилам следовать в определенном виде научной работы. Конечно, это релятивистская точка зрения, в том смысле, что методы зависят от исследователей. Это означает, что не существует идеального метода, и ни один метод не может быть выше дискуссий и оценок. Кроме того, совершенно не очевидно, что более поздний метод “*B*”, возникший после критики в адрес старого метода “*A*”, и в самом деле обладает такими преимуществами по сравнению с предыдущим методом, что представляет собой прогресс (что бы ни означало это слово). Если от одного метода отказались в пользу другого, это означает лишь, что поколение исследователей, работавших позднее, признала “*B*” и отказалась от “*A*”. Подразумевается также, что существуют причины полагать — метод “*B*” дает лучшие основания для нового знания, нежели метод “*A*”.

Сказанное не означает, что любая группа ученых может создать собственные методы и провозгласить их выражением научных взглядов нового поколения. Один профессор с учениками, или кружок, образовавшийся вокруг журнала — его редколлегия и авторы, — сами по себе недостаточны. Даже историки одной страны в долгосрочной перспективе не могут создать особую методологию, если она единодушно признается ими, но не принимается историками других стран. В наши дни академическое сообщество поистине интернационально. Поучительна судьба *subaltern history*<sup>3</sup>. Ее сторонники борются против превалирующих взглядов в течение нескольких лет, однако большинство в академическом сообществе по-прежнему рассматривает их методологические тезисы как ересь. Но лишь благодаря распространению новых идей в методологии они могут получить признание и стать доминирующими.

Если вы признаете, что взгляды научного сообщества на методологию меняются, и что лишь само сообщество регулирует нормативную систему в естественных и гуманитарных науках, вы должны также понять, что научные ответы не являются «истинными». Это следует из общепринятой идеи о постоянстве истины, подразумевающей, что нечто, истинное сейчас, не может стать неистинным завтра. Каждая идея (будь то фактическая деталь, ее объяснение, или что-то еще), принятая учеными в 1900 г., не признается автоматически в 2000 г., и в таком случае, по крайней мере, одна из идей или представлений о точках расхождения должна быть ошибочной. Поскольку все истории включают в себя описания или нарративные части, становится важным вопрос об описании. Когда 40 лет назад я писал методологическое введение в историю, я полагал, что записанные историками результаты равноценны «истине» в том смысле, в каком это слово употребляется в обычной речи. Возможно, это уместное фактическое наблюдение, но теперь я бы сказал, что это так, поскольку обыденная речь не всегда точна и непроторечива. Принимая во внимание требование логичности, одно из

---

<sup>3</sup> См., напр.: *Guha R. On some aspects of the historiography of Colonial India // Subaltern Studies. 1982. Vol. 1; Chatterjee P. Claims on the past: the genealogy of modern historiography in Bengal // Subaltern Studies. 1994. Vol. 8; Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial thought and historical difference. Princeton, 2000.*



минимальных требований науки, я больше не считаю, что мои предположения 1960-х годов можно обосновать.

Вместо этого я теперь хочу избавиться от идеи истины в историческом исследовании. Это не означает, что я готов допустить произвольность — постмодернистскую или иную — в историописании. Тем не менее, я, как и 40 лет назад, убежден, что идея истины создала множество проблем для историков, породив сложности, которые они не должны были бы ощущать. Идея истины и ее варианты, присутствующие в исторических исследованиях и в литературе, посвященной теории истории («вся истина», «чистая правда», «настолько близко к истине, насколько это возможно» и т.п.), основываются на весьма специфическом представлении о том, что историки обязаны предоставлять исторические повествования, содержащие истину. Таков обычно отправной пункт для критической оценки историописания — или же «позитивистского историописания». Вслед за Франком Анкерсмитом<sup>4</sup> его можно обратить в философское утверждение о том, что в конечном счете невозможно установить «истинность» исторических утверждений через их соотношение с внешней реальностью — поскольку этой реальности больше не существует; в противном случае это не было бы историей. Конечно, Анкерсмит прав относительно того, что референтную теорию истины нельзя применять — по крайней мере, в ее исходной версии, — к историческим утверждениям. Однако совершенно необязательно приходиться к выводу о том, что критерием истинности исторических повествований является их формирующая сила, способность убеждать через «репрезентацию». Убедительное — о чем я здесь практически не говорю, — есть нечто, несущее на себе отпечаток вероятности, или, скорее, подобия истины. Правдоподоб-

---

<sup>4</sup> «Спор между двумя нарративами о французской революции не может быть улажен при помощи простого определения... который из них ближе к прошлому. Наряду с этими двумя нарративами не существует объективной измерительной шкалы для измерения соответствий между каждым из них и историей. Все, что мы имеем, это нарративы». F. Ankersmit, *History and Topology, The Rise and Fall of Metaphor*, 86-87. Я подробно рассмотрел (и отверг) точку зрения Анкерсмита в статье: *Torstendahl R. Constructions and constructivism in history // Meaning and Interpretation / Ed. D. Prätitz. Stockholm, 2002. P. 118-123.*

бие здесь особенно важно, как подчеркивали Карл Поппер, а позднее — Рагнар Бьорк<sup>5</sup>.

Возвращаясь к вопросу об истине в истории, можно сказать, что история не должна стремиться представить правду о том или ином событии, действии, личности, общественных условиях или доминирующей ментальности прошлого. Скорее, она должна иметь те же цели, что и другие научные дисциплины: это означает, что историки должны стремиться к выдвигению валидных утверждений относительно фактов и теоретических построений. Эти утверждения будут валидными только в том случае, если они будут следовать принятым нормам академического сообщества, в том числе правилам, касающимся метода, и нормам, определяющим новизну результатов и плодотворность исследования.

Никто не требует от физика, чтобы его научные выводы по определенным проблемам оставались истинными через 100, 50 или даже 10 лет. Несмотря на это, мало кто станет утверждать, что физики — плохие ученые, или что в мире физики все неясно. Никто не считает, что нужно верить тому физика, который представит нам наиболее убедительную картину составных частиц материи (или любого другого объекта физических исследований), потому что физики не могут поклясться в том, что нашли «истину». Они не представляют нам случайные догадки или фантазии для удовлетворения аудитории, однако их утверждения валидны, так как сделаны на основе наблюдений (измерений при помощи инструментов) при помощи методов, принятых академическим сообществом. Если это не так, их заклеят как фальсификаторов. Так работал Ньютон, хотя сегодня никто не назовет ньютонovu физику истинной. Тем не менее, можно признать, что ранее она была валидной. Когда Ньютон издал свои *Principia*, его работа, пожалуй, была в авангарде научного метода, а также и научной теории. Лишь спустя некоторое время многие исследователи осознали необходимость принять как его методы, так и теорию. В свою очередь, Эйнштейн на собственном опыте убедился в том, что должно было пройти время, прежде

---

<sup>5</sup> *Popper K. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. L., 1963. P. 233-237; Björk R. Den historiska argumenteringen. Uppsala, 1983. P. 26 (прим. 30-31).*

чем его теория относительности стала валидной для его коллег<sup>6</sup>. История многих научных дисциплин может предоставить подобные примеры. Представляются новые результаты, и если они оказываются эпохальными, обычно проходит некоторое время, прежде чем они получают всеобщее признание. Не все результаты получают санкции от академического сообщества. Если сомнения сохраняются, тому могут быть две причины. Одна из них в том, что существуют другие теории, основанные на иных идеях, и они дают другие перспективы. Здесь проявляется научный спор о том, что плодотворнее. Другая причина — в сомнениях относительно того, что наблюдения были сделаны не по правилам. Это — вопрос валидности. Если результаты отвергнуты как не валидные, причиной тому могут быть небрежность, плохая изначальная подготовка, неточные инструменты или обман. Какова бы ни была причина, тот, кто обнаруживает ошибки, оказывает большую услугу академическому сообществу. Сообщество может простить ошибку, не связанную с обманом, но обычно серьезная небрежность портит репутацию ученого навсегда.

Все эти рассуждения о нормах историописания, которые я называю минимальными требованиями, имеют одну цель. Они призваны показать, что нормой для научных утверждений является валидность, а не истина. Эта временная валидность должна избавить историков от беспокойства относительно исторической правды. Вместо этого им стоит приложить усилия к определению условий валидности в их дисциплине, ведь отказ от истинности в пользу валидности не отменяет этих условий.

### 3

Позвольте мне теперь обратиться ко второму типу норм — к оптимальным нормам. Я здесь опять использую аналогию с футболом и шахматами. В футболе судья наблюдает за тем, что происходит на поле, но лишь с точки зрения минимальных требований. Он не только не оценивает, играет ли команда «хорошо» или «плохо», более того, он обязан пренебрегать качеством их игры во всех ос-

---

<sup>6</sup> Об Эйнштейне см.: *Hentschel K.* Interpretationen und Fehlinterpretationen der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie durch Zeitgenossen Albert Einsteins. Basel, 1990.

тальных отношениях, кроме одного — следуют ли они своду правил, т. е. минимальным требованиям. Таким образом, судья не оценивает качество игры, по крайней мере не в рамках своих профессиональных обязанностей, хотя как частное лицо он может высказывать весомые суждения об искусности и опытности команд и отдельных игроков. Высокое качество игры — это то, на что обращают внимание журналисты и обозреватели, а также болельщики на стадионе и зрители у экранов телевизоров.

Шахматные турниры устроены несколько иначе. Зрители в зале, а также те, что смотрят игру по телевизору, оценивают искусство игроков. Разница заключается в том, что результаты матчей точнее отражают его, если в игре всего два участника, а не команды из одиннадцати человек. Тем не менее, и шахматы, и футбол дают основания для анализа таланта игроков. Их тактические ходы, стратегические планы, техника, способность работать в команде (футбол) в соотношении с индивидуальной игрой, атаки и защита — все это качества, которые зрители рассматривают, оценивая качество игроков и их действий. Разные зрители оценивают игру по-разному. То, что для одного является наиболее важным аспектом командной или индивидуальной игры, другому кажется менее важным. Зрители по-разному воспринимают отдельные элементы игры и то, как она разворачивалась. Но необходимо иметь в виду, что все эти оценки вторичны по сравнению с тем фактом, что в этих играх есть победитель и побежденный, если, конечно, матч не закончился вничью, что тоже является недвусмысленным результатом своего рода. В конце концов, анализирующий не может прийти к выводу о том, что проигравший играл лучше. Порой такой довод кажется убедительным, но не после серии проигранных матчей.

Что касается игр, наблюдатели, вполне согласные между собой относительно соблюдения игроками минимальных требований, по-разному оценивают способности игроков, измеряемые при помощи оптимальных качеств. Нам, конечно, интересно, можно ли сравнить науку с играми в данном отношении.

Основная разница, очевидная при сравнении науки с играми, заключается в том, что ученые не имеют шкалы, при помощи которой можно было бы определить, насколько успешными являются их результаты. Ученые не играют друг против друга, и нельзя стать

лучшим ученым, разбив другого. Каждый из ученых представляет результаты в рамках своей специальности, и в определенном отношении их могут оценить только специалисты в той же или смежных областях; ведь наука не столь эксклюзивна, как порой утверждают некоторые ученые. Только эксперты могут определить, достигли ли эти результаты прогресса по сравнению с уже имеющимися достижениями науки, и только специалисты могут понять, насколько революционными или ограниченными они являются, и насколько они надежны. Все это верно по отношению к новому методу лечения определенной формы рака, новой теории кварков, новой теории государства или же к открытию, касающемуся того, как в течение нескольких столетий происходила бюрократизация.

В то же самое время широкая аудитория при помощи средств массовой информации стремится определить, что же интересно в науке. Ее внимание порой привлекает пересадка сердца, лунная поверхность и то, что она может рассказать о Большом Взрыве; порой интерес вызывает жизнь французских крестьян и других рядовых людей из Монтайю в определенный период прошлого, иногда — вопрос о том, чем действительно определяется качество жизни. Ученые вполне осознают впечатление, которое они и их коллеги производят на широкую публику. Существует обратная связь, порождающая новые вопросы и создающая новые устремления.

Отношение науки к своей «аудитории», т. е. к публике, политикам и партиям, не столь просто, как в футболе или шахматах. Чем известнее команда, тем более футбол превращается в игру для публики, готовой заплатить за возможность посмотреть матч. Практически то же самое верно и в отношении шахмат. Обе игры предполагают, что в простейшем виде в них играют ради самой игры. Это означает, что в них играют ради удовольствия самих игроков, и только когда речь заходит об игре элитных команд, идет игра на публику.

В науке верно обратное. Ученый, еще проходящий курс подготовки, должен принять как данность, что его действия будут оцениваться другими учеными, а также людьми, не принадлежащими к их кругу. Принято считать, что обеспечение хорошего образования в области естественных или общественных наук служит общественному интересу. Поэтому политики и участники культурных дебатов считают себя столь же хорошими судьями, как и ученые, в

отношении того, что составляет «хорошее образование в естественных или общественных науках». Если рассматривать проблемы с данной точки зрения, вопрос о научной политике превращается в вопрос о том, «что есть интересная наука». Четкой границы тут нет, и одна точка зрения легко перетекает в другую.

Когда внешний эксперт оценивает уровень научной подготовки, он обычно использует результаты, представленные молодыми учеными, в особенности те, что являются продуктами образовательного процесса — диссертации и т.п. Что же касается научной элиты, она предпочитает отдать право оценки своих исследований с точки зрения их актуальности и плодотворности для дальнейшей работы коллегам-ученым. Их результаты обычно напрямую связаны с развитием теории и объяснительных систем, а эти области рассматриваются как удел высокообразованных специалистов в данной области. Подобные попытки поместить за занавес святилище науки не всегда оказываются успешными. Хорошим примером тут будут споры о биологии развития и психологии. Теоретический подход Скиннера был оспорен с точек зрения, не имеющих отношения к науке. Итак, случается, что мнения широкой публики влияют на некоторых или даже на всех ученых, но реакция аудитории обретает вес при оценке результатов только тогда, когда сами ученые принимают ее. Зачастую ученые, особенно в естественных науках и медицинских исследованиях, отвергают предложения публики. Они часто говорят, что подобные предложения и комментарии уходят корнями в ложные представления и недостаток знаний. При помощи подобных аргументов невозможно отвергнуть мнение публики о футбольном матче.

В данном отношении историческая наука оказалась гораздо более чувствительной к реакциям публики, чем большинство других дисциплин, и не только естественных наук или медицины. Социологи, политологи, антропологи и этнологи занимаются научной деятельностью, более или менее тесно связанной с культурной сферой, однако лишь иногда аспекты этих дисциплин подвергаются влиянию общественных дебатов<sup>7</sup>. Их участники редко стремятся

---

<sup>7</sup> Все эти дисциплины испытали воздействие основных течений общественной мысли — «марксизма» в 1960-е и 1970-е гг., «структурализма» в 1950-е и 1960-е гг., «постмодернизма» в 1980-е и 1990-е гг. Во всех этих случаях

исправить и изменить ученых. Тем не менее в ряде стран участники общественных дебатов и журналисты желали реформировать историческую дисциплину. Зачастую они хотят вернуть ее назад (поскольку существует отклик ученых на эти дебаты), к системе правил, формирующих «интересную» или «хорошую» историю, которая, как они считают, будет лучше, чем та, которой специалисты руководствуются сейчас. Отношения между публикой, находящейся вне академического сообщества, и историописанием вообще и академической историей, конечно, определяются тем фактом, что обычная социальная среда является объектом истории. Однако эти отношения ярко контрастируют с другими научными дисциплинами (например, астрономией), которые часто становятся объектом внимания журналистов и средств массовой информации, но никогда не ставятся под вопрос. Даже историей литературы можно заниматься, практически не сталкиваясь с попытками средств массовой информации повлиять на ее систему ценностей, несмотря на все внимание, уделяемое данной дисциплине. Здесь чаще встречается уважительное внимание. Различие в отношении к литературному и историческому анализу, возможно, основывается на том, что публику увлекает сама литература, а не ее история или анализ. История, при своей двойственности, привлекает и как «реальность» прошлого, и как повествования о событиях и процессах; эти повествования часто воспринимаются как тождественные «прошлому». Так, историки, оказывается, производят именно тот вид знания, который интересуется публику. У последней возникает ощущение, что она тоже имеет об этом представление, конкурирующее с представлениями историков. Неудивительно, что публика считает себя способной судить о том, что такое хорошая история, или интересные вопросы, точно так же, как и сами историки.

Чем больше мы анализируем «исследовательскую игру», тем чаще обнаруживаем, что эта игра не совсем обычна. Хотя минимальные требования признаются и соблюдаются почти так же, как и правила многих игр, это неверно по отношению к оптимальным нормам. Некоторые оптимальные нормы науки в большей степени присущи именно этим дисциплинам, нежели оптимальные нормы

---

наука взаимодействовала с общественными дебатами, и влияние было взаимным. Невозможно представить себе эти течения без научного импульса.

футбола характерны именно для него. Но это справедливо только по отношению к некоторым из оптимальных норм. Другие нормы в науке имеют отношение к более широкому полю, нежели оптимальные нормы обычных игр. Нормы, определяющие «хорошего ученого», относятся не только к внутренним решениям академического сообщества, но также и к тому, что, по мнению большинства людей, важно в их жизни. Именно поэтому публика стремится понять смысл академических дисциплин, а история в этом отношении — весьма интересная дисциплина для многих людей. Как и ряд других гуманитарных дисциплин, история имеет отношение к обществу и его основополагающим принципам; она затрагивает то, что формирует идентичность человека. Оптимальные нормы исторического исследования, следовательно, тесно связаны с интересами, которые определяют отношение к жизни, а не построение логических цепочек.

#### 4

Далее следует сказать несколько слов о профессионализме и его отношении к нормам. Если считать принятие/исключение основополагающей характеристикой профессионализма<sup>8</sup>, то очевидно, что академические сообщества, формирующиеся вокруг каждой дисциплины, по крайней мере в данном отношении подпадают под критерий профессионализма. Я бы хотел подчеркнуть, что существуют важные различия между академическими дисциплинами и объединениями по роду занятий, которые обычно называют профессиями, например, адвокаты (и прочие юристы), врачи и инженеры (две последние группы имеют внутренние подгруппы). В этих случаях формальное членство в профессиональной группе обычно считается жизненно необходимым, а частная практика — парадигмой профессионала. Все эти критерии порождают сложные про-

---

<sup>8</sup> Эта идея была впервые применена к профессионализму Фрэнком Паркином (*Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique*. L., 1974); она также присутствует и в: *Sarfatti Larson M. The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis*. Berkeley, 1977; *Collins R. The Credential Society* (New York, 1979). О дальнейшем развитии теории исключения см. R. Murphy, *Social Closure. The Theory of Monopolization and Exclusion* (Oxford, 1988).



блемы дефиниций<sup>9</sup>, которые не могут быть рассмотрены здесь, однако очевидно, что академические сообщества внутри отдельных дисциплин не обладают такими характеристиками. Тем не менее, их членов часто называют «профессиональными учеными», «профессиональными физиками, социологами или историками».

Если человека называют «профессиональным историком», подразумевается, что его признает академическое сообщество внутри его сферы интересов. Дело не только в том, что этот человек не является любителем-самоучкой, но скорее в том, что члены сообщества не имеют причин исключить его и склонны принимать его труды. Как я уже отметил, члены сообщества обязаны реагировать на нарушения минимальных требований сообщества, и их молчание или прямо выраженная похвала должны означать признание независимого ученого. Продемонстрированные способности, а не образование — вот что важно для данного типа профессионализма. В принципе, каждый может принять нормы сообщества и благодаря этому стать его признанным членом. На деле это может оказаться сложным для тех, кто не имеет формальной университетской подготовки.

Итак, в каждой дисциплине нормативная система функционирует, принимая исследователей в профессиональное сообщество, или же исключая их оттуда. Даже те, кто протестует против норм сообщества, стремятся быть признанным. Это достигается через публикацию статей в уважаемых изданиях, или через положительные отзывы известных ученых. Таким образом, профессиональное сообщество распространяется и дает свою санкцию новым поколениям, которые постепенно меняют нормативную систему профессии.

В этом и заключается причина, по которой одни виды историописания считаются профессиональным производством знания, а другие рассматриваются как развлечение, вымысел и т.п. Это не значит, что последний тип не может распространять знания; это значит, что он не может его производить. Он, однако, может порождать новые идеи, и это порой ошибочно принимается за новое знание. Когда критика доказывает, что подобная работа не отвечает минимальным

---

<sup>9</sup> Обсуждение проблемы дефиниций см. в: *Current Sociology*, 2005 (статья Шиулли, Малатеста и Торстендаля).

требованиям, ее новые идеи также отбрасываются, хотя сами идеи могут быть признаны интересными. Для того чтобы эти новые идеи закрепились в науке, необходимы новые исследования.

Итак, минимальные требования, по сути, формируют минимум, на основе которого осуществляется признание внутри дисциплины, а также и производство нового валидного знания. Поскольку минимальные требования со временем постепенно меняются, внутри академического сообщества могут возникать разногласия относительно признанного набора правил. Их не следует смешивать с другими источниками серьезных разногласий. Томас Кун назвал один из типов фундаментальных столкновений взглядов «сменой парадигмы» в естественных науках<sup>10</sup>. Существуют причины сомневаться в том, что в гуманитарных и общественных науках возникают смены парадигм такого же рода, поскольку в этих отраслях знания в одно и то же время в наличии несколько «парадигм». В любом случае парадигмы в данном случае соотносятся не с особыми минимальными требованиями, а скорее с оптимальными нормами. Таким образом, когда оспариваются минимальные требования, возникает еще один тип разрыва в производстве знания внутри сообщества. Некоторые ученые хотят отвергнуть то, что делают другие, и объявляют, что взгляды последних (утверждения, касающиеся фактов или теоретические установки) неприемлемы согласно правилам науки.

Это периодически случалось с историей, и тогда это означало, что некоторые историки, использовавшие новые или более тонкие методы, предлагали новый взгляд на национальную историю, порывавший с традицией. Подобное имело место во многих национальных контекстах. Последствия были всегда одинаковыми: новые методы включались в число минимальных требований, хотя это не всегда случалось с представлениями об историческом развитии, выдвигавшимися их сторонниками. То, что изначально грозило национальному сообществу историков расколом, постепенно выравнивалось.

Нынешнее положение академического сообщества историков несколько иное. Многие ученые предлагают минимальные требо-

---

<sup>10</sup> *Kuhn T. The Structure of Scientific Revolution. 2<sup>nd</sup> ed. Chicago, 1970.*

вания, которые сильно отличаются от принятых предыдущим поколением, и они получают поддержку от ведущих теоретиков и журналов. Их нормы воображения и эмпатии идут гораздо дальше, нежели нормы предыдущего поколения, поскольку они сочетаются с нормами художественной репрезентации. В то же время другие историки работают в русле традиционных норм, признанных общественными науками. Оба направления отклоняются от основного течения историописания, свойственного предыдущему поколению.

Если это толкование верно, как я думаю, сообщество профессиональных историков находится перед угрозой раскола на несколько сообществ с различными минимальными требованиями. Этот раскол будет сильно отличаться от предыдущего деления на политическую и экономическую историю и выделения субдисциплин — истории ментальностей, культуры, науки, военного дела, политических идей и т.п. Эти деления относятся к предмету исследования, и хотя представители разных субдисциплин могут не интересоваться другими направлениями, они не опираются на конфликтующие нормы. Расхождение во взглядах на минимальные требования вызовет гораздо более серьезный раскол внутри дисциплины.

## 5

Наконец, необходимо сказать несколько слов о причинах, по которым некий свод правил признается определенным научным сообществом. Может показаться, что главный довод здесь — отношения между валидными научными результатами и «миром вокруг нас». Это обычно используют применительно к естественным наукам, когда речь заходит об их «полезности». Если наука может доказать свою полезность для повседневной жизни через многочисленные «приложения», то она не может быть совершенно неверна. Ее валидность также подтверждается тем, что она находится в согласии с тем, что можно наблюдать в обычной жизни. Даже те, кто не имеет теоретических знаний об электрических импульсах на микроуровне, может использовать микрочипы своего компьютера. Они признают, что наука, выдвинувшая теории, которые объясняют данные феномены, валидна не только для физиков, но и для обычных людей.

В истории валидность нормативной системы отчасти подтверждается общественными науками и журналистикой. Это происходит двумя способами. Когда мы понимаем, что современные новости анализируются журналистами и социологами по тем же правилам, что приняты историческим сообществом, это один из доводов в пользу данных норм. Другой довод опирается на нашу возможность прийти к тем же выводам, что и пресса, опираясь на собственные наблюдения. Например, если мы присутствовали на политическом митинге, приятно увидеть, что журналисты изобразили происшедшее примерно так же, как мы это себе представили. Если мы обнаружим упоминание об этом митинге в статье, написанной политологом или историком, и в ней выражается согласие с нашими выводами, появляется еще один довод в пользу того, что нормы научного сообщества не являются произвольным набором правил игры, в которую играют одни ученые. Те, кто считают, что средства массовой информации неверно освещают события, а историки следуют за ними, порой спорят о системе правил. Если же их изначальные жалобы нашли отражение во взглядах профессиональных журналистов или историков, они, скорее, будут искать ошибки не в правилах, а в том, как их применили. Тем не менее, если мы принимаем новости и считаем их непротиворечивыми, особенно если они соотносятся с нашими наблюдениями и историей, представленной сообществом профессиональных историков, то мы находим подтверждение «полезности» правил академического сообщества. Это означает, что они не создают «исследовательскую игру» как развлечение, а имеют прямое отношение к производству такого знания, которое полезно в нашем мире.

*Перевод А. Ю. Сергиной*

*А. С. УСАЧЕВ*

## МЕТОДЫ РАБОТЫ ДРЕВНЕРУССКОГО КНИЖНИКА И ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА СТЕПЕННОЙ КНИГИ

### ЧАСТЬ I\*

Книга Степенная царского родословия (далее СК) представляет собой одно из наиболее масштабных произведений книжности времени Ивана IV и является совершенно новой для России формой историографической рефлексии, коренным образом отличающейся от памятников летописного и хронографического жанров. Это, в частности, проявилось в оригинальности структуры СК, в которой русская история с древнейших времен до начала правления первого царя представлена в виде жизнеописаний русских правителей начиная с Владимира Святославича — 17 степеней / граней. Своего рода введением к СК служит помещенное перед ее основным текстом Житие Ольги. Степени делятся на главы, крупнейшие из которых в свою очередь подразделяются на титла. Обращаясь к памятнику, исследователь неизбежно сталкивается с противоречием: с одной стороны, своеобразие композиции СК, а также специфика интерпретации представленного в ней материала, предполагают наличие одного автора, с другой, огромный объем представленного в произведении материала побуждает усомниться в возможности его написания одним лицом. Существует ли здесь противоречие, и каким образом его можно разрешить?

В посвященной СК литературе бытует несколько различных гипотез относительно авторства<sup>1</sup> памятника. Охарактеризуем их.

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 06–04–00497а).

<sup>1</sup> Здесь и далее мы будем использовать понятие «автор», понимая всю его условность по отношению к средневековью. Неотъемлемой частью творчества русских средневековых книжников (как и их западных коллег) были заимствования из произведений своих предшественников и Св. Писания. Ниже нами также будет использоваться понятие «авторский текст» применительно к тем разделам СК (весь текст которой, строго говоря, является авторским), которые создавались книжником без специального привлечения данных источников, т. е. не представляли собой изложение материала источников СК.

Еще в середине XIX в. М. Я. Диев высказал предположение о том, что автором СК мог быть протопоп московского Благовещенского собора духовник Ивана IV Андрей (впоследствии — митрополит Афанасий)<sup>2</sup>. Наиболее последовательным сторонником этой точки зрения стал в 1904 г. П. Г. Васенко<sup>3</sup>, аргументы которого в самых общих чертах сводятся к следующему:

- один из древнейших списков СК — Чудовский — содержит запись XVI века о «собрании» СК митрополитом Афанасием (под «собранием» исследователи понимали указание на авторство);

- в СК включено нехарактерное для нее Житие — Житие Даниила Переяславского — наставника Андрея-Афанасия (в памятнике помещены полные тексты житий лишь представителей великокняжеского рода и митрополитов);

- в 21 гл. 15 ст. СК содержится выполненное от первого лица повествование о чудесном исцелении автора во время посещения Владимира-на-Клязьме. Чудо произошло во Владимирском Рождественском монастыре у мощей благоверного князя Александра Невского; Шумиловский том Лицевого летописного свода в соответствующем месте упоминает имя исцеленного лица — им был Андрей-Афанасий;

- П. Г. Васенко, впрочем, не всегда последовательно, отмечал признаки единства текста и замысла автора СК (например, он обращал внимание на внутритекстовые ссылки в разных разделах памятника).

Этим, по сути, исчерпываются представленные в науке в настоящее время аргументы в пользу авторства Андрея-Афанасия<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Подробнее см.: Усачев А. С. Забытое суждение о Степенной книге (Из неопубликованного наследия М. Я. Диева) // АЕ за 2004 год. М., 2005. С. 77-84.

<sup>3</sup> Васенко П. Г. «Книга Степенная царского родословия» и ее значение в древнерусской исторической письменности. Ч. 1. СПб., 1904. С. 168-213.

<sup>4</sup> А. В. Сиренов высказал предположение о возможности принадлежности редакторского почерка древнейших списков СК Андрею-Афанасию (см.: Сиренов А. В. Житие князя Владимира и составление Степенной книги // АЕ за 2001 год. М., 2002. С. 83-94; *Он же*. Митрополит Афанасий и проблема авторства Степенной книги // Отечественные архивы. 2007. № 4. С. 47-53). Однако, учитывая отсутствие палеографических оснований для этой гипотезы (кроме двух стандартных подписей Афанасия в настоящее время неизвестны его автографы, которые можно было бы привлечь для сравнения с почерками писцов древней-

Наряду с версией о единоличном создателе СК М. Я. Диева — П. Г. Васенко в историографии в XX в. высказывался и иной взгляд относительно авторства СК. Ряд исследователей, принимая во внимание значительный объем памятника, сочли невозможным его создание в течении трех лет одним лицом (в историко-филологической науке этого столетия было принято авторитетное мнение П. Г. Васенко о создании СК в 1560–1563 гг.<sup>5</sup>). Это побудило некоторых ученых выдвинуть гипотезу о создании СК коллективом авторов<sup>6</sup>. Было также высказано несколько предположений о том, кто именно мог быть причастен к написанию СК.

Развивая наблюдения И. Н. Жданова относительно близости текстов помещенных в СК Житий Ольги и Владимира, А. И. Соболевский и И. В. Курукин поддержали и мнение этого историка литературы о возможности создания данных разделов памятника Сильвестром<sup>7</sup>. Предположение об авторстве Сильвестра включенной в СК полностью пространной редакции Жития Ольги основывалось на тексте записи на списке этого памятника конца XVI в.<sup>8</sup> — «списано любомудрецом Селивестром прозвутером царствующего

---

ших списков СК), предположение историка на данном этапе изучения памятника можно рассматривать лишь как догадку, которая не противоречит имеющимся в науке данным. Нами ранее было высказано предположение о принадлежности редакторского почерка руководителю группы писцов, создававших и правивших древнейшие списки рассматриваемого памятника, — вопрос же о том, был ли это Андрей-Афанасий или какое-либо иное лицо, остается открытым (см.: *Усачев А. С.* Древняя Русь в исторической мысли 60-х гг. XVI в. (Степенная книга): дис. ... канд. ист. наук. М., 2004. С. 20).

<sup>5</sup> *Васенко П. Г.* «Книга степенная царского родословия». С. 214-217.

<sup>6</sup> Историографию проблемы см.: [*Неберекутина Е. В.*] Митрополит Афанасий и проблема авторства Степенной книги // От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. М., 1994. С. 126-153.

<sup>7</sup> *Жданов И. Н.* Повести о Вавилоне и «Сказание о князьях Владимирских». СПб., 1891. С. 120. Прим. 1; *Васенко П. Г.* «Книга Степенная царского родословия» и ее значение в древнерусской исторической письменности. Ч. 1. СПб., 1904: отзыв академика А. И. Соболевского // СОРЯС. 1907. Т. 82. № 6: Отчет о присуждении премий имени графа Д. А. Толстого в 1906 году. С. 11-14; *Соболевский А. И.* Поп Сильвестр и Домострой // ИОРЯС. 1929. Т. 2. Кн. 1. С. 202; *Курукин И. В.* Сильвестр: политическая и культурная деятельность (источники и историография): дис. ... канд. ист. наук. М., 1983. С. 115.

<sup>8</sup> ОР РНБ. Погод. № 744.

града Москвы»<sup>9</sup>. Данная запись рассматривалась как указание на авторство этого книжника. Учитывая ряд случаев близости в тексте Жития Владимира в СК к Житию Ольги пространной редакции, перу этого автора исследователи отнесли и написание 1 ст. (А. И. Соболевский не исключил возможности и создания всей первой части СК Сильвестром на основании того, что лишь в 15-17 ст. содержатся указания на авторство Андрея-Афанасия).

Попытку пересмотреть взгляд как М. Я. Диева и П. Г. Васенко, так и А. И. Соболевского и И. В. Курукина на авторство Андрея-Афанасия предприняла Е. В. Неберекутина. Сравнивая фрагменты сочинений книжников макарьевского времени на основе математических методов (в расчет принималось число употреблений тех или иных лексических единиц в отрывках привлекаемых к сравнению памятников), исследовательница установила, что наибольшую близость к ряду крупных разделов СК (Житие Ольги, Похвала Василию III в 16 ст., Сказание о Данииле Переяславском в 16 ст., чудеса связанные со взятием Казани в 17 ст.) среди привлеченных ею к сравнению произведений обнаруживают труды псковского агиографа Василия-Варлаама<sup>10</sup>. На этом основании исследовательница, не отрицая возможного участия Андрея-Афанасия в составлении СК, высказала предположение о написании соответствующих разделов памятника Василием-Варлаамом во Пскове, тем самым «признав верной точку зрения тех исследователей, которые считали, что над созданием Степенной книги работала целая группа сотрудников»<sup>11</sup>. Гипотеза Е. В. Неберекутиной встретила как противников<sup>12</sup>,

<sup>9</sup> Изображение записи опубликовано, см.: *Голохвастов Д. П.*, Леонид (Кавелин). Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // ЧОИДР. 1874. Кн. 1.

<sup>10</sup> [Неберекутина Е. В.] Поиски автора Степенной книги // От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. М., 1994. С. 154-224. Согласно мнению Е. В. Неберекутиной, Житие Ольги обнаруживает наименьшую близость к трудам Василия-Варлаама среди прочих рассмотренных ею разделов СК. На этом основании исследовательница, не согласившись с распространенным в литературе мнением об авторстве Сильвестра, предположила, что Василий-Варлаам являлся если не автором, то редактором помещенного в СК жизнеописания Ольги (Там же. С. 211).

<sup>11</sup> Там же. С. 211.

<sup>12</sup> Например, см.: *Охотникова В. И.* Житие Всеволода-Гавриила в составе Степенной книги // Русская агиография. Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 484-503; Сиренов А.В. Митрополит Афанасий. С. 49-50.



так и сторонников<sup>13</sup>, которые, правда, не привели никаких дополнительных аргументов.

Как видим, в историографии памятника представлены две основные точки зрения на проблему авторства СК: условно их можно было бы назвать «единоличная» и «коллективная». И так, писался ли такой, с одной стороны, нетрадиционный для древнерусской литературы, с другой, столь объемный памятник как СК одним лицом или кругом книжников? В почти двухвековой историографии СК накоплен значительный материал, который дает возможность ответить на этот вопрос. Исследователями был рассмотрен ряд случаев редакторской правки источников при их включении в текст СК, в целом реконструирован круг привлеченных к ее созданию произведений<sup>14</sup>, а также выявлены основные особенности представленных в ней историко-политических взглядов<sup>15</sup>. В трудах

<sup>13</sup> Например, см.: Макарий (Веретенников). Василий // ПЭ. Т. 7. М., 2004. С. 73. В комментариях к последнему изданию «Истории русской церкви» митрополита Макария (Булгакова) (см.: Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. 4. Ч. 1. М., 1996. С. 582. Коммент. [182\*]) этот исследователь счел убедительной атрибуцию Е.В. Неберекутиной Жития Ольги Василию-Варлааму. Поддержал мнение Е.В. Неберекутиной арх. Макарий и в других работах (например, см.: Макарий (Веретенников). Макарьевская проблематика в диссертациях выпускников Московской духовной академии (кон. XIX — нач. XX в.) // Макарьевские чтения. Можайск, 2002. Вып. 9. С. 67). Также см.: Калиганов В.И. Веков связующая нить (вопросы истории и поэтики славянских литератур и культур). М., 2006. С. 80.

<sup>14</sup> Околович Н.Ф. Жития святых, помещенные в Степенной книге / вступ. ст., публ., коммент. А.С. Усачева. М.; СПб., 2007; Кусков В.В. Степенная книга как литературный памятник XVI века: дис. ... канд. филолог. наук. М., 1951; Barnette W. *Stepennaja kniga: Sources, Their Adaptation and Development*: Ph.D. diss. Nashville, 1979 (пользуясь случаем, автор настоящей работы выражает признательность Г. Ленхофф за предоставление копии этой диссертации); Lenhoff G. *Unofficial Veneration of the Danilovichi in Muscovite Rus'* // *Московская Русь (1359-1584): культура и историческое самосознание*. М., 1997. С. 391-416; Idem. *How the Bones of Plato and Two Kievan Princes were baptised: Notes on the Political Theology of the "Stepennaja Kniga"* // *Die Welt der Slaven*. XLVI. 2001. S. 313-330; Усачев А.С. Источники Степенной книги по истории домонгольской Руси // *Средневековая Русь*. М., 2006. Вып. 6. С. 210-340.

<sup>15</sup> Покровский Н.Н. Исторические постулаты Степенной книги царского родословия // *Исторические источники и литературные памятники XVI–XX вв.: Развитие традиций*. Новосибирск, 2004. С. 3-36; Он же. *Исторические концеп-*

А. В. Сиренова и Н. Н. Покровского<sup>16</sup> было установлено, что процесс создания СК по сути сводился к написанию и редактированию трех ее древнейших списков — Волковского и восходящих к нему Томского и Чудовского (далее Волк., Томск., Чуд.)<sup>17</sup>.

Учитывая накопленный в литературе материал, мы сосредоточим здесь свое внимание на рассмотрении методов создания СК, что позволит, на наш взгляд, дать новое обоснование решению вопроса об авторстве. Наше внимание будет сосредоточено на способах оформления текста СК, включая некоторые особенности композиции, основные тенденции правки источников, важнейшие методы создания помещенных в памятник рассказов. Представленные в СК исторические и политические взгляды заслуживают отдельного исследования и в настоящей работе специально рассматриваться не будут.

Есть основания полагать, что определяемый как традицией, так и личностью автора набор приемов работы с текстом различных книжников различен — если отдельные приемы у разных писателей могут совпадать, то вероятность совпадения всей совокуп-

---

ции Степенной книги царского родословия // Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Т. 1. М., 2007. С. 89-119; *Ленхофф Г. Д.* Степенная книга: замысел идеология, адресация // Там же. С. 120-144; *Усачев А. С.* История домонгольской Руси в Степенной книге // Раннее средневековье глазами Позднего средневековья и Раннего Нового времени (Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа): материалы конференции. М., 2006. С. 83-89; Он же. Древнейший период русской истории в исторической памяти эпохи Московского царства (на материале «Книги степенной царского родословия») // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006. С. 609-634.

<sup>16</sup> *Покровский Н. Н.* Томский список Степенной книги царского родословия и некоторые вопросы ранней текстологии памятника // Общественное сознание и литература XVI–XX вв. Новосибирск, 2001. С. 3-43; *Он же.* Неоконченный манускрипт: Степенная книга царского родословия // Вестник истории, литературы и искусства. Т. 1. М., 2005. С. 280-293; *Сиренова А. В.* О Волковском списке Степенной книги // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 246-303; *Он же.* Житие князя Владимира и составление Степенной книги // АЕ за 2001 год. М., 2002. С. 83-94.

<sup>17</sup> РГАДА. Ф. 181. № 185; Томский областной краеведческий музей. № 7903/2; ОР ГИМ. Собрание Чудова монастыря. № 56/358 (далее при цитировании Волк., Томск. и Чуд. шифры рукописей указываться не будут).

ности методов у различных лиц ничтожно мала. А это значит, что в том случае, если СК создавалась коллективом авторов, неизбежно в ее тексте должны фиксироваться разделы, для которых характерны разные наборы методов (хотя некоторые из приемов могут встречаться в разделах написанных разными лицами). Если же автор один, то следует ожидать, что и набор методов на протяжении всего текста будет един. Сказанное выше позволяет сформулировать вопрос, поиску ответа на который и будет посвящена настоящая работа: можно ли говорить о различии набора методов, которые использовались при написании различных разделов СК? Ответ на этот вопрос позволит выяснить, характерны ли они для одного книжника или есть основания говорить об участии в работе над памятником коллектива авторов.

Прежде чем приступить к анализу инструментария автора СК<sup>18</sup>, необходимо сделать ряд общих замечаний относительно ее источников. Кроме целого ряда произведений, использование которых ограничивалось какой-либо одной степенью (вне летописная статья «А се князи русьтии», Поучение на память Владимира (далее «Поучение»), «Память и похвала» Иакова Мниха, Жития Всеволода Псковского, Евфросинии Полоцкой, Александра Невского, митрополита Петра и т.д.), фиксируется ряд источников, влияние которых прослеживается в различных разделах СК. Обратимся к ним.

Прежде всего, следует выделить основные летописные источники СК — Никоновскую и Воскресенскую летописи (далее Ник., Воскр.), заимствования из которых прослеживаются во всех степенях. Также следует отметить, что в целом ряде разделов памятника фиксируются случаи использования дополнительных летописных источников. Так, Софийская I летопись младшего извода (далее СI мл.) использовалась в 5, 8, 10-12, а также вероятно в 9 и 15 гл. Новгородский источник (по-видимому, Новгородская IV летопись) был привлечен к созданию 6-7 и 13 ст. Источник близкий к Летописцу от 72-х язык использовался, по крайней мере, в 1, 4-6 и 9 ст.

В различных разделах памятника использовались и другие (не летописные) произведения. Так, «Слово о законе и благодати» по-

---

<sup>18</sup> Здесь и далее для удобства будут использоваться понятия «автор», «книжник» и «создатель» безотносительно к тому, было ли это одно лицо, или речь идет о коллективном авторстве.

служило источником 1-2 ст., Житие Ольги пространной редакции — Жития Ольги и 1 ст., Киево-Печерский патерик — 2-3 ст., Житие митрополита Ионы — 13-14 ст., Чудеса Никиты Переяславского — 6 и 17 ст., Житие Даниила Переяславского — 16-17 ст.

Таким образом, автор СК при создании памятника опирался на один круг источников, часть которых прослеживается во всех его разделах, часть — в ряде разделов. Разумеется, это не является прямым свидетельством в пользу гипотезы о едином создателе СК. Вместе с тем, приведенный выше материал дает веские основания полагать, что вне зависимости от того, был автор один или их было несколько, СК создавалась, по всей видимости, либо в одном скриптории, либо с опорой на «фонды» одной библиотеки. Это в свою очередь побуждает с сомнением отнестись к самой возможности написания различных разделов памятника в разных книгописных центрах, тем более удаленных друг от друга (в частности, к гипотезе об участии в создании СК жившего и работавшего во Пскове Василия-Варлаама). Итак, на данном этапе исследования можно полагать, что разделы СК, скорее всего, писались в одном месте. С помощью каких методов книжник работал с этими и другими источниками, создавая текст СК?

#### **Главные герои степеней**

Жизнеописания главных героев степеней, служащие своего рода стержнем композиции памятника (состоящего из степеней/граней, повествующих о непосредственных предках первого русского царя), несомненно, представляют собой ядро разделов СК и, соответственно, произведения в целом (даже, несмотря на то, что сопутствующие им жития, повести и сказания по своему объему иногда превышают рассказы о непосредственных предках Ивана IV). Именно поэтому рассмотрение биографий важнейших персонажей степеней имеет особое значение для изучения методов работы автора СК. Обратимся к ним.

Как нетрудно заметить, жизнеописания прямых предков первого русского царя создавались по определенному плану. При этом ключевое значение приобретал текст первой главы степени, в которой помещалась общая характеристика персонажа (в 7 ст. первой главой рассказ о главном герое степени, Ярославе Всеволодовиче, и ограничивается). Рассмотрим первые главы степеней / граней СК.

В первых главах наряду с перечнем добродетелей главного героя степени давалась его родословная, в которой специально отмечалось место («степень») этого князя в ряду потомков Владимира (исключением из этого правила являются 2 гл. 1 ст., содержащая пространный рассказ о происхождении прадеда Владимира Рюрика от Пруса, и 1 гл. 7 ст.) — как правило, в тексте указывается, что соответствующий персонаж «от Владимира бысть ... степень». При этом важно отметить, что в ряде степеней наряду с указанием на «степень» того или иного князя от Владимира, указывается и «степень» от Рюрика. Эти пояснения характерны для первых глав 2, 5, 6, 8-17 степеней, повествующих о Ярославе Владимировиче, Юрии Владимировиче, Всеволоде Юрьевиче и великих князьях владимирских (а позднее московских) от Александра Ярославича до Ивана IV. Любопытно, что пропуски указания на степень родства от Рюрика фиксируются в начальной части памятника — в 3-4 и 7 ст.: в жизнеописаниях Всеволода Ярославича, Владимира Мономаха и Ярослава Всеволодовича. Как уже было отмечено, в 1 гл. 7 ст. нет и указания на «степень» Ярослава Всеволодовича от Владимира, то есть для нее характерен пропуск обоих элементов обычной родословной. Это дает основания полагать, что 7 ст. по данному признаку отличается от 3-4 ст., в которых указывается на «степени» Всеволода Ярославича и Владимира Мономаха от Владимира. Вероятно, отсутствие указания на «степень» Ярослава Всеволодовича от Рюрика было связано с пропуском всей родословной главного героя 7 ст. Необходимо отметить, что уже в 1 гл. 1 ст. указано, что Иван IV «бысть отъ сѣмени сего блаженнаго Владимира седминадесятъ степень, отъ Рюрика же двадесятый степень»<sup>19</sup>. Это дает основания полагать, что уже при написании 1 ст., осознавая необходимость включения родословной русских князей не только от Владимира, но и от Рюрика, книжник, тем не менее, пропустил в ряде степеней соответствующие указания. На данном этапе исследования можно отметить три возможные причины таких пропус-

---

<sup>19</sup> Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам. Т. 1. М., 2007. С. 219. Здесь и далее ссылки на текст СК даются по 10 ст. включительно по новому изданию (см.: Степенная книга. Т. 1); поскольку второй том нового издания СК еще не опубликован, ссылки на текст 11-17 ст. даются по 2-й половине тома издания 1908–1913 гг. (см.: ПСРЛ. Т. 21. 2-я половина. СПб., 1913).

ков: 1) происхождение от Рюрика обозначалось лишь по отношению к определенным князьям — героям названных выше степеней; 2) разделы, содержащие упоминания о степени от Рюрика, писались иным автором; 3) окончательное решение об указании «степеней» не только от Владимира, но и от Рюрика всех главных героев степеней было принято не сразу и поэтому не было проведено последовательно во всех степенях.

Наряду с генеалогическими пояснениями первые главы степеней содержат и перечни добродетелей своих персонажей. Есть основания говорить о ряде их возможных источников. Важным источником являлись памятники летописания. Так, 1 гл. 3 ст. выполнена на основе записи Ник. под 6602 г., содержащей описание добродетелей Всеволода Ярославича. Влияние летописного материала прослеживается и в первых главах 4-6, 9-11, 13-14 ст. Другим источником служили тексты, специально посвященные главным действующим лицам степеней/граней: фрагменты «Памяти и похвалы» Иакова Мниха и «Поучения» на память Владимира (1 ст.); помещенная в «Слове о законе и благодати» похвала Ярославу Владимировичу (2 ст.); «Слово о гибели Русской земли» (7 ст.); Владимирская редакция Жития Александра Невского (8 ст.); «Слово о житии и преставлении» Дмитрия Ивановича (12 ст.); помещенное в Житии Михаила Клопского пророчество о покорении Иваном III Новгорода (15 ст.); «Похвальное слово» Василию III (16 ст.); пророчество инока Галактиона о рождении Ивана IV (17 ст.). Нередко материал указанных произведений дополнялся летописными сведениями.

Как представляется, для нашей цели важно попытаться проанализировать источники жизнеописаний предков первого русского царя в составе СК в самой тесной связи со структурными элементами композиционных схем соответствующих рассказов. Начнем с рассказа о жизни Владимира в 1 ст. Кратко источники основных разделов биографии Владимира в СК можно представить следующим образом<sup>20</sup>:

---

<sup>20</sup> При разборе жизнеописаний главных героев степеней обращается внимание лишь на рассказы, непосредственно посвященные им; прямо не относящиеся к ним разделы здесь рассматриваться не будут.

Гл.	Источники <sup>21</sup>
1	«Поучение», «Память и похвала», лексикографический источник
2	Воскр. (запись под 6367 г.), «Слово о законе и благодати»
12 <sup>22</sup>	«Авторский текст»
13	Житие Ольги пространной редакции
19 <sup>23</sup>	Воскр. (6483, 6488), Ник. (6485, 6488)
20	«Память и похвала», Ник. (6488)
21	Воскр. (6488), Ник. (6488, 6491)
22	«Память и похвала»
24 <sup>24</sup>	Житие Ольги пространной редакции
25	Воскр., Ник. (6494)
26	«Слово о законе и благодати», Воскр. (6494)
27	Воскр., Ник. (6495)
28	Проложное Житие Владимира, «Память и похвала», Ник. (6496)
29	«Поучение», Житие Константина и Елены, Воскр., Ник. (6496)
30	«Память и похвала», Ник. (6496)
31	Ник. (6496)
32	Ник. (6496)
33	Ник. (6496)
34	Ник. (6496)
35	Житие Климента Римского, Ник. (6496)
36	Воскр. (6496), Ник. (6497)
37	Ник. (6497)
38	Проложное Житие Владимира, «Память и похвала», Ник. (6497), Воскр. (6496)
39	Ник. (6497)
40	Ник. (6497)
41	Ник. (6498)
42	«Поучение», Ник. (6498)
43	Ник. (6498, 6499), Воскр. (6497)
44	Ник. (6498, 6499)
45	Ник. (6499)
46	Ник. (6498)
47	Ник. (6498)
48	Ник. (6499)
49	Ник. (6500)

<sup>21</sup> Данная и последующая таблицы основаны на обобщении результатов изучения источников СК нашими предшественниками и нами.

<sup>22</sup> 3-11 гл. 1 ст. повествуют о древнейшем периоде русской истории и прямого отношения к жизнеописанию Владимира не имеют.

<sup>23</sup> 14-18 гл. 1 ст., прямо не относящиеся к биографии крестителя Руси, содержат сентенции автора СК, осуждающие охоту.

<sup>24</sup> 23 гл. 1 ст., повествующая о приходе на Русь апостола Андрея, прямого отношения к жизнеописанию Владимира также не имеет.

50	«Поучение», Воскр. (6496)
51	Ник. (6500)
52	«Память и похвала», Ник. (6501)
53	Житие Леонтия Ростовского, Ник. (6670), Воскр. (6499)
54	Ник. (6500, 6504)
55	Ник. (6502)
56	Ник. (6503), Воскр. (6501)
57	«Память и похвала», Ник. (6501, 6506)
58	Устав Владимира синодальной редакции, «Правило о церковных людях»
59	Ник. (6506)
60	«Память и похвала», «Слово о законе и благодати», Житие Ольги пространной редакции, Воскр. (6504), Ник. (6506)
61	Ник. (6506), Воскр. (6504)
62	Ник. (6506)
63	Ник. (6512), списки митрополитов
64	Ник. (6516)
65	Ник. (6508-6510, 6512)
66	Ник. (6507), Воскр. (6505)
67	Ник. (6509)
68	Ник. (6511, 6519)
69	Ник. (6522), «Поучение», «Память и похвала»
70	Ник. (6523), Воскр. (6523), «Поучение», Проложное Житие Владимира, «Память и похвала», «Слово о законе и благодати»
71	«Поучение», «Слово о законе и благодати»
72	«Поучение», Проложное Житие Владимира, «Слово о законе и благодати», Житие Ольги пространной редакции

Ряд фрагментов<sup>25</sup> 1 ст. сходным образом читается в «Поучении» и «Слове о законе и благодати».

Таким образом, к написанию Жития Владимира в составе СК был привлечен весьма значительный круг памятников. В связи с рассмотрением структуры и источников жизнеописания крестителя Руси в 1 ст. необходимо отметить следующее. По числу случаев заимствований, несомненно, первое место занимает Ник. (ее материал фиксируется, по крайней мере, в 46 главах 1 ст. из 57 рассматриваемых). Но, во-первых, материал Ник. по своему объему достаточно краток (в сравнении с пространными цитатами из ряда других произведений), а во-вторых, как отмечает сам автор памят-

<sup>25</sup> Следующие фрагменты: «Окрестныя страны покори под ся ...» (21 гл.), «Прииде на нь пошещение Вышняго...», описание благочестия греков (25 гл.), «Хвалить Римская страна ...» (72 гл.).



ника в 1 ст., в основу СК были положены не летописные источники: в 1 гл. книжник специально подчеркивает, что креститель Руси «довольно украшен» «похвалами», в которых «писана ... **многая**» (здесь и далее выделено нами. — *А. У.*) (там же указано на «летописания» и то, что «прочая же **вкратцѣ** писана в житии его»<sup>26</sup>). Сам характер упоминания похвал дает некоторые основания полагать, что в них содержался больший материал о Владимире, чем в прочих памятниках (относительно Жития прямо сказано, что там «вкратцѣ писана»). Следовательно, основным источником жизнеописания Владимира в 1 ст. послужили «похвалы». Как установили Н.Ф. Околович и автор настоящей работы, под этими «похвалами» имелись в виду «Память и похвала» Иакова Мниха, «Поучение» на память Владимира<sup>27</sup> и похвала, помещенная в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона.

При анализе влияния данных произведений на текст СК следует учесть следующие обстоятельства. Во-первых, из этих трех памятников лишь «Поучение» содержит связное жизнеописание Владимира — в «Слове» Илариона помещена лишь похвала крестителю Руси, в «Памяти и похвале» Иакова Мниха также похвала и небольшой отрывок биографического характера. Во-вторых, фрагменты «Поучения» в 1 ст. как по своему объему, так и по числу превосходят случаи заимствований из двух других «похвал»: отрывки «Поучения» фиксируются в 8 главах, «Слова о законе и благодати» в 4<sup>28</sup>, «Памяти и похвалы» в 10. Однако, из «Памяти и похвалы» заимствованы фрагменты лишь в 6 главах; в 4 главах (20, 30, 52, 57 гл.) заимствования из сочинения Иакова Мниха ограничиваются приведением дат (сами известия даются по тексту Ник.)<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Степенная книга. С. 219.

<sup>27</sup> Полное название: «Поучение на память иже в святых равного апостолом благоверного великаго князя Владимира, в святем крещении нареченнаго Василиа, крестившаго всю Рускую землю. Житие и Похвала вкратце». Публикацию текста см.: *Усачев А. С.* Из истории русской средневековой агиографии: два произведения о равноапостольном князе Владимире Святославиче (исследование и тексты) // Вестник церковной истории. 2006. Вып. 2. С. 39-44.

<sup>28</sup> Как было отмечено выше, ряд фрагментов СК может быть возведен как к «Слову о законе и благодати», так и к «Поучению». Принимая во внимание то, что точный источник данных фрагментов не известен, при подсчетах случаев заимствований из «Поучения» и «Слова» в СК эти отрывки не учитываются.

<sup>29</sup> Подробнее см.: *Усачев А. С.* Источники. С. 252-254.

Следует также учесть, что вошедшее в 1 ст. почти полностью<sup>30</sup> «Поучение» послужило источником не только перечня добродетелей Владимира и похвал ему (как «Слово о законе и благодати» и «Память и похвала»), но и ряда важных сообщений о его жизни — упоминание о сошествии руки с неба во время крещения киевского князя (29 гл.), рассказ о крещении Суздальской земли и основании Владимира-на-Клязьме (42 гл.), поучение Владимира сыновьям при наделении их городами (50 гл.), описание предсмертных речей Владимира и плача по нему (69-70 гл.). Кроме того, «Поучение» и вслед за ним СК фиксируют целый ряд деталей, которые отсутствуют в летописях. Необходимо также отметить, что отрывки из «Поучения» в СК представлены именно в той последовательности, в которой они помещены в источнике 1 ст. Таким образом, можно констатировать, что 1) «Поучение» в 1 ст. вошло почти полностью (по объему вошедшего в 1 ст. материала «Поучение» превосходит все прочие источники); 2) его структура в СК была сохранена; 3) между отдельными фрагментами «Поучения» в 1 ст. помещен материал памятников летописания и ряда других произведений.

Отмеченные выше особенности использования текста «Поучения» в 1 ст. дают основание высказать следующее предположение. Как сетует книжник в 1 гл. 1 ст., Владимир «довольно украшен» данными различных источников, однако «не в едином месте». В соответствии с этим он и формулирует свою цель — «отъ всѣхъ сихъ [повествующих о Владимире памятников. — А. У.], яко отъ многоразличныхъ цвѣтець ... събрати въ едину словесную плѣницу»<sup>31</sup>. Приступая к написанию жизнеописания крестителя Руси автор 1 ст. столкнулся с серьезной проблемой — обилием материала об этом персонаже, который необходимо было не только свести, но и структурировать. Данную проблему нельзя было решить с помощью летописи, которая содержала лишь отрывочные сведения о князе, сгруппированные исключительно по хронологическому принципу. Последовательное рассмотрение случаев заимствований из «Поучения» в жизнеописании Владимира в составе

---

<sup>30</sup> В СК вошли все фрагменты «Поучения», повествующие о Владимире. Определенно нельзя лишь сказать об источнике ряда фрагментов, которые сходным образом читаются в «Поучении», «Слове о законе и благодати» и 1 ст.

<sup>31</sup> Степенная книга. С. 219.

СК позволяет частично реконструировать сам процесс создания текста 1 ст. Есть основания полагать, что не только важнейшие сведения о жизни крестителя Руси, но и порядок их следования в тексте были заимствованы из «Поучения», структура которого, таким образом, оказалась сохранена в СК. При этом данные «Поучения» дополнялись в СК сведениями других источников: при описании добродетелей Владимира и похвал ему — «Слова о законе и благодати», «Памятью и похвалой», а также Житием этого князя и его бабки княгини Ольги; при упоминании конкретных событий (рассказы о крещении Суздальской земли и наделении киевским князем сыновей городами) — летописными известиями (прежде всего, Ник.). При этом «стыки» между различными фрагментами «Поучения» заполнялись рассказами других источников, данные которых, как правило, восполняли недостаток сведений о конкретных событиях времени Владимира Святославича: войн этого князя с соседями, строительства им церквей и т. д.

Характерен ли этот прием составления жизнеописания главного героя лишь для 1 ст., или подобные примеры встречаются и в других разделах СК? В поисках ответа на этот вопрос, обратимся к последующим степеням / граням.

Вопрос об источниках 2 ст. был специально разобран В. В. Кусковым и У. Барнеттом<sup>32</sup>. Исследователи пришли к заключению, что 2 ст. была основана на данных «Слова о законе и благодати» (помещенной в этот памятник похвале Ярославу Владимировичу), Ник.; также во 2 ст. фиксируется небольшой фрагмент из Киево-Печерского патерика. Основным летописным источником 2 ст. являлась Ник., материал которой дополнялся материалом «Слова о законе и благодати» и ряда других памятников. Главным источником 2 ст., несомненно, являлась Ник.

Особенно значимым в свете наших изысканий представляется тот факт, что в тексте 1 гл. — важнейшей в описании главных героев степеней — фиксируется фрагмент из единственного известного памятника, прославляющего Ярослава Владимировича, — из похвалы этому князю помещенной в «Слове о законе и благодати». Также пространный фрагмент из сочинения митрополита Илариона

---

<sup>32</sup> Кусков В. В. Степенная книга. С. 111-114; Barnette W. Stepenная kniga. P. 155.

помещен в 5 гл. («Всякой святыни исполнение»), повествующей о распространении христианства на Руси после его принятия Владимиром («Идольский мракъ отъ насъ до конца отгнася ...»). При этом необходимо отметить, что этот рассказ помещен после сообщения 4 гл. о поставлении «советом» Ярослава с русскими епископами на русскую кафедру Илариона и краткой выдержкой из Киево-Печерского патерика, повествующей об основателе Печерской обители Антонии. Вслед за этим книжник в 5 гл. указывает на то, что «многотруднымъ ихъ [т. е. Ярослава, русских епископов, Илариона и Антония. — А. У.] къ Богу преспѣяниемъ идольский мракъ отъ насъ до конца отгнася ...»<sup>33</sup>. Источником фактических сведений о Ярославе послужила Ник.

Сказанное выше дает основания сделать вывод, что к написанию 2 ст. был привлечен единственный известный памятник, прославляющий Ярослава Владимировича, причем заимствования из него фиксируются в ключевой главе степени, содержащей общую характеристику этого князя, а также в 5 гл. Учитывая незначительное число фрагментов «Слова» Илариона во 2 ст. вряд ли можно с уверенностью полагать, что это произведение было положено в основу жизнеописания Ярослава в СК. Вместе с тем, должны быть отмечены значимые общие черты в «технологии» создания жизнеописаний Ярослава и Владимира в составе СК: в обоих случаях источниками первых глав послужили известные памятники, прославляющие этих правителей; в обоих случаях отсутствующие в них фактические данные были почерпнуты из летописных источников (прежде всего, Ник.). Прослеживается ли эта тенденция в жизнеописаниях прочих потомков Владимира в последующих степенях?

Попробуем рассмотреть биографии предков первого русского царя не в порядке их следования в тексте памятника, а в зависимости от способов их конструирования. Обратимся в первую очередь к тем образам, которые, как представляется, создавались с помощью тех же приемов и методов, которые отмечены нами для главных героев 1-2 ст.

Жизнеописание Ярослава Всеволодовича в 7 ст.<sup>34</sup> было написано, как неоднократно отмечалось в историографии, с привлече-

---

<sup>33</sup> Степенная книга. С. 383.

<sup>34</sup> На особенностях жизнеописаний русских князей — предков Ивана IV — в 3-6 и др. степенях мы остановимся ниже.

нием текста «Слова о погибели Русской земли»<sup>35</sup>, а также летописного материала. При этом повествующая о времени Ярослава Всеволодовича 7 ст. является единственной степенью, в которой ее главному герою уделена лишь 1 (одна!) глава: прочие главы степени повествуют о Константине Всеволодовиче, Василько Константиновиче и других современниках Ярослава. В связи с нашими изысканиями необходимо подчеркнуть, что центральный раздел 1 гл. 7 ст. — глава «Самодержец Ярослав» — почти целиком основан на данных «Слова о погибели»<sup>36</sup>. Подчеркивая могущество этого потомка Владимира, как указал М. Горлин<sup>37</sup>, книжник помещает упоминаемых в этом произведении соседей Руси в число данников русских князей (фрагмент «... вси страны трепетаху именъ ихъ не токмо ближнии, но и далние земли и царства и самии гречестии царие ... татары же тогда ни слухомъ не именовавхуся»)<sup>38</sup>. Как представляется, наличие в 7 ст. всего лишь одной главы, повествующей о Ярославе, может быть связано с лаконизмом «Слова о погибели», которое упоминает о нем вскользь («... в ты дни болѣзнь крестияном от великаго Ярослава и до Володимера, и до ныняшняго Ярослава, и до брата его Юрья»<sup>39</sup>). Конечно, вряд ли можно утверждать наверняка, что «Слово о погибели» послужило главным источником жизнеописания Ярослава. Для нас тем не менее важен сам факт того, что к созданию его биографии в СК был привлечен единственный повествующий о нем памятник. Вероятно, книжник, соби-

<sup>35</sup> Жданов И. Н. Русский былевой эпос (Исследования и материалы). СПб., 1895. С. 95-96; Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. С. 163-166; Gorlin M. Le Dit de la Ruine de la terre russe et de la mort du grand-prince Jaroslav // Revue des études slaves. 1947. Т. 23. Fas. 1-4. P. 13-22; Гудзий Н. К. О «Слове о погибели Русская земля» // ТОДРЛ. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 537-539; Бегунов Ю. К. Следы «Слова о погибели Русская земля» в Степенной книге // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 116-130; Он же. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М.; Л., 1965. С. 145-152.

<sup>36</sup> Как отмечалось в историографии, текст 1 гл. 7 ст. сохранил следы недошедшего полного текста «Слова о погибели Русской земли». Например, см.: Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века. С. 152.

<sup>37</sup> Gorlin M. Le Dit de la Ruine de la terre russe et de la mort du grand-prince Jaroslav. P. 18.

<sup>38</sup> Степенная книга. С. 487.

<sup>39</sup> Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века. С. 155.

рая материал об этом князе, положил в основу описания его могущества «Слово о погибели», дополнив рассказ о жизни князя летописными известиями. Сказанное выше приводит нас к выводу, что в жизнеописании Ярослава Всеволодовича читатель СК встречается с тем же инструментарием, который использовался в 1-2 ст.: к созданию рассказа о главном герое степени был привлечен один (а в данном случае и единственный) повествующий о нем памятник, материал которого был дополнен сведениями из летописи.

Рассмотренный выше прием создания биографии главного героя степени в наиболее наглядном виде проявился в 8 ст., повествующей о сыне Ярослава Александре Невском. В 12 гл. этой грани автор степенной редакции Жития Александра Ярославича указывает на свой источник — некое «торжественное слово», которое содержало подробный рассказ об этом князе<sup>40</sup>. Круг источников жизнеописания Александра Невского в СК в своей специальной работе прояснил В. П. Мансикка<sup>41</sup>. Этот исследователь установил, что в основу 8 ст. положена т.н. Владимирская редакция Жития Александра — «Слово похвальное», с которым он и соотнес «торжественное слово»<sup>42</sup>. Как отметил В. П. Мансикка, материал Жития в СК дополнен данными летописного источника, близкого к Ник., Воскр. и особенно к СІ мл. Из него черпались фактические подробности жизни Александра — описания битв со шведами, немцами и литвой, поездки в Орду и т. д. Некоторые итоги рассмотрения композиции и источников Жития Александра в СК могут быть представлены в виде таблицы:

Гл.	Источники
1	Житие Александра Невского редакций Владимирской и Василия-Варлаама, СІ мл. (6754), Воскр. (6748, 6749, 6752)
2	Житие Александра Невского Владимирской редакции, СІ мл. (6752), Воскр. (6747, 6749-6751)

<sup>40</sup> Степенная книга. С. 533.

<sup>41</sup> Мансикка В. П. Житие Александра Невского (Разбор редакций и текст). М., 1913. С. 143-165. О характере переработки Жития Александра в СК также см.: Isoaho M. The Image of Aleksandr Nevskiy in Medieval Russia: Warrior and Saint. Brill; Leiden; Boston, 2006. P. 320-347; Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263-2000). М., 2007. С. 105-108.

<sup>42</sup> Мансикка В. П. Житие Александра Невского. Прил. С. 15-31.

3	Житие Александра Невского Владимирской редакции, СІ мл. (6754)
4	Воскр. (6755, 6758, 6788)
5	Житие Александра Невского Владимирской редакции, Воскр. (6760)
6	Житие Александра Невского Владимирской редакции, СІ мл. (6759)
7	Воскр. (6763)
8	Житие Александра Невского редакции Василия-Варлаама, Воскр. (6764)
9	Воскр. (6765, 6767, 6769-6770), Ник. (6769-6770)
10	Воскр. (6770)
11	Житие Александра Невского редакций Владимирской и Василия-Варлаама, Воскр. (6771)
12	Житие Александра Невского Владимирской редакции
13	Житие Александра Невского Владимирской редакции

Как видим, оснований для сомнений в справедливости предположения В. П. Мансикка о том, что в основу 8 ст. была положена Владимирская редакция Жития Александра Невского, нет — фрагменты этого произведения фиксируются в 8 главах степени из 13 и по своему объему значительно превосходят отрывки всех прочих источников 8 ст. Характеризуя особенности включения Владимирской редакции в 8 ст. в целом, В. П. Мансикка указал на то, что автор СК «все больше и больше склоняется на сторону летописных подробностей, не удовлетворяясь бедным историческим содержанием Владимирской редакции» Жития Александра Невского<sup>43</sup>. Также как и в случае с «Поучением» на память Владимира Житие Александра Владимирской редакции в СК послужило источником описания добродетелей князя, его смерти и похвал ему. Также Владимирская редакция использовалась при описании двух посмертных чудес Александра (12 гл.). Таким образом, приемы, с помощью которых создавалось жизнеописание Александра, обнаруживают ряд общих черт с приемами, которые характерны для автора 1-2 и 7 ст. При этом есть и некоторое отличие: жизнеописание главного героя 8 ст. выполнено с добавлением чудес, которых нет в предыдущих описаниях главных героев степеней (очевидно, в виду отсутствия соответствующего материала); также текст Жития Александра в СК более четко выстроен — для него характерна

<sup>43</sup> Там же. С. 147.

распространенная в житиях макарьевского времени трехчастная структура (Житие — Похвала — Чудеса)<sup>44</sup>.

Со сходными в основном принципами оформления рассказа о главном герое степени читатель СК сталкивается в 9 ст., повествующей о Данииле Александровиче (жизнеописание этого князя помещено в 1-8 гл. этой грани). Крайне скудно, в соответствии с летописными источниками, сообщая о важнейших событиях времени правления Даниила в 1-2 гл., книжник в основной части его жизнеописания сосредотачивает свое внимание на строительстве московским князем Данилова монастыря, его пострижении и погребении в этой обители, а также сообщает о посмертных чудесах первого московского князя. Ранее нами было высказано предположение о том, что в основу жизнеописания Даниила Александровича в СК было положено недошедшее до настоящего времени Сказание об этом князе, сложившееся, вероятно, в 40-е — первой половине 50-х гг. XVI в. Фрагменты этого памятника фиксируются, по крайней мере, в 6-8 гл. 9 ст., в которых описаны посмертные чудеса московского князя<sup>45</sup>. Таким образом, как и в Житии Александра Невского книжник строит жизнеописание главного героя степени на данных особого произведения о нем (в случае с Даниилом, по-видимому, единственного). При этом есть основания говорить и о попытке следования книжником трехчастной структуре в жизнеописании: 1-3 гл. сообщают о жизни, смерти и погребении князя; 6-8 гл. фиксируют его посмертные чудеса; несмотря на отсутствие развернутой похвалы московскому князю (если, конечно, не считать перечня добродетелей этого персонажа в 1 гл. степени), книжник в текст 8 гл. вводит характерный для похвал элемент — просьбу о молитве Даниила о восстановлении созданной им обители (см.: «... еже и бысть благодатию Христовою и молитвами святаго и блаженнаго великаго князя Даниила, его же ради, Христе Боже, нашъ помилуй насъ нынѣ и присно и въ вѣки вѣкомъ, аминь»<sup>46</sup>).

<sup>44</sup> Трехчастная структура характерна для целого ряда житий, созданных в 1540–60-е гг. — митрополита Ионы первой и третьей редакций, Козьмы Яхромского, Александра Невского редакций Владимирской и Василия-Варлаама и др.

<sup>45</sup> Усачев А. С. Степенная книга и Пискаревский летописец (в печати).

<sup>46</sup> См.: Степенная книга. С. 541.



Жизнеописанию Ивана Калиты посвящены две первые главы 10 грани. В значительной своей части они основаны на летописном материале, из которого были заимствованы известия о важнейших событиях времени жизни этого князя. Центральная часть жизнеописания (2 гл.) повествует о взаимоотношениях Ивана Даниловича с митрополитом Петром. Вполне закономерно, что данный раздел восходит к памятникам агиографии, посвященным Петру. Кратко сообщая об архипастырской деятельности святителя, книжник особое внимание обращает на отношения московского князя с этим владыкой. Так, опираясь на Житие святителя 2 гл. сообщает о пророчестве Петра о благополучном будущем потомства («семени») Ивана Калиты, а также управляемой им Москвы после строительства Успенского собора<sup>47</sup>. В этот раздел также помещен пространный рассказ о видении Ивану Даниловичу снежной горы<sup>48</sup>. Как установила Р. А. Седова, наибольшую близость последний фрагмент обнаруживает к Сказанию о митрополите Петре «любоумудреца» Кифы. Таким образом, к составлению жизнеописания Ивана Калиты в 10 ст. наряду с летописным материалом были привлечены агиографические памятники, сообщавшие об этом князе.

Повествуя о Дмитрие Ивановиче в 12 ст., книжник ссылается на некое «житие», фрагменты которого он и представляет читателю. Как выяснили С. К. Шамбинаго<sup>49</sup> и уточнивший его наблюдения В. В. Кусков, в основу рассказа об этом московском князе было положено «Слово о житии и преставлении Димитрия Ивановича, царя русского». В. В. Кусков отметил, что по числу фрагментов и их объему «Слово о житии» превышает заимствования из ряда прочих источников 12 ст. Как указал этот исследователь, материал «Слова о житии», композиционная структура которого, судя по заимствованным в 12 ст. отрывкам, в СК была сохранена, дополнялся рядом других источников — прежде всего, летописных (Ник., Воскр.). Представим данные об источниках жизнеописания Дмитрия Ивановича в виде таблицы:

---

<sup>47</sup> Там же. С. 562.

<sup>48</sup> Там же.

<sup>49</sup> Шамбинаго С. К. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906. (СОРЯС. Т. LXXXI. № 7). С. 352-358; Кусков В. В. Степенная книга. С. 185-193.

лл.	Источники
	«Слово о житии»
	Воскр., Ник. (6868-6869)
	Воскр. (6872), Ник. (6873)
	«Слово о житии», Ник., Воскр. (6874)
	Ник., Воскр. (6875), Ник. (6886), Воскр. (6885), Жития Сергия Радонежского и Димитрия Прилуцкого
	«Слово о житии»
	«Слово о житии», Воскр. (6888)
	Воскр. (6888, 6890, 6903, 6906, 6908-6909, 6914), Ник. (6889-6890, 6903)
	Воскр. (6890)
10	«Слово о житии», «Сказание о Тихвинской иконе Богоматери»
11	«Слово о житии»
12	«Слово о житии»
13	«Слово о житии», Чудо о свече

Приведенный перечень глав и источников жизнеописания Дмитрия в СК не оставляет сомнений в том, какое произведение было положено в его основу — фрагменты «Слова о житии», превышающие по своему объему заимствования из прочих источников 12 ст., фиксируются в 8 ее главах (из 13), в том числе и в важнейшей главе степени — первой. Необходимо отметить, что рассказ о Дмитрие Ивановиче в СК выстроен по плану, сходному с житиями макарьевского времени (в т. ч. и помещенными в СК) — основной объем 12 ст. составляет повествование о жизни московского князя, затем следуют похвала и чудо о свече, возгоревшейся у его гроба. Причем непосредственно перед описанием чуда книжник, в полном соответствии с агиографическим каноном, сообщает, что «и яко же он [Дмитрий. — А. У.] в жизни своей прослави Бога и угодная пред ним сотвори, сице и Преплагий Бог щедротами Своими наипаче сугубо прослави его, раба Своего, не токмо в животѣ, но и по преставлении»<sup>50</sup>. Очевидно, это замечание было сделано, с одной стороны, для того, чтобы соотнести еще неканонизированного Дмитрия Ивановича с уже причтенными к лику святых персонажами; с другой, придать жизнеописанию московского князя в 12 ст. законченность, в полной мере обеспечив его следование трехчастной схеме жизнеописания, которая получает распространение в русской агиографии времени митрополита Макария.

<sup>50</sup> ПСРЛ. Т. 21. 2-я половина. С. 406.

Как отметили М. А. Дьяконов и уточнивший его наблюдения Н. Н. Розов, к написанию повествующей о Василии III 16 ст. книжник привлек «Похвальное слово» этому князю, которое было создано в первые годы правления Ивана IV<sup>51</sup>. Характер заимствований из этого произведения, почти не содержащего биографических сведений о Василии Ивановиче, не позволяет говорить о том, что 16 ст. была основана на нем — вне всякого сомнения, важнейшим источником 16 ст. была летопись. Вместе с тем нельзя не отметить, что включение фрагментов «Похвального слова» в жизнеописание отца первого русского царя лежало в русле тенденции, которая характерна для рассмотренных выше описаний главных героев степеней в СК. Так, «Похвальное слово» было положено в основу заключающей рассказ о Василии III 24 гл. («Вкратце похвала самодержьцу Василию, и о пострижении его и о чудесном отшествии его к Богу»), т.е. включение фрагментов «Похвального слова» обуславливалось стремлением книжника поместить в жизнеописание московского князя похвалу, которая традиционно включалась в рассказы о русских святых в агиографических памятниках макарьевской поры. Очевидно, стремясь создать объемный рассказ о Василии III, книжник включил в него почерпнутое из чудес Сергия Радонежского повествование о его чудесном рождении; также на основе «Похвального слова» Василию создается рассказ о чудесном рождении его сына Ивана IV (22 гл.). Как показывает даже первоначальное знакомство с памятниками русской агиографии, рассказ о чудесном зачатии и рождении был характерен для целого ряда житий<sup>52</sup>. Таким обра-

<sup>51</sup> Дьяконов М. А. Власть московских государей: очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889. С. 105; Розов Н. Н. Похвальное слово великому князю Василию III // АЕ за 1964 год. М., 1965. С. 278-289.

<sup>52</sup> Например, Житие Сергия Радонежского содержит упоминание чудесного крика младенца Варфоломея в утробе матери (см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 1. М., 1998. С. 294, 344); в Житии митрополита Петра помещено указание на чудесный сон матери святого, возвестивший ей о рождении будущего первосвященника (см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. М., 2000. С. 36). О рассказах, посвященных чудесному рождению в княжеских жизнеописаниях см.: Thyret I. «Blessed Is the Tsaritsa's Womb»: The Myth of Miraculous Birth and Royal Motherhood Woomanhood in Muscovite Russia // Russian Review. 1994. Vol. 53. N. 4. P. 479-496; Idem. Between God and Tsar: Religious Symbolism and the Royal Women of Muscovite Russia. DeKalb, 2001. P. 27-28.

зом, несмотря на то, что жизнеописание главного героя 16 ст. было построено почти исключительно на материале «Похвального слова», ряд сходных черт, роднящих эту грань с прочими, можно усмотреть и здесь: помещая Василия III в ряд потомков Владимира в 1 гл., книжник на основе летописных данных сообщает о важнейших событиях времени его правления, заключая рассказ о нем похвалой, выполненной с привлечением единственного известного произведения, прославляющего этого князя.

Как видим, по крайней мере, 8 из 16 жизнеописаний предков первого русского царя создавалось по сходной схеме — привлечение крупнейшего (а в ряде случаев единственного) памятника, прославляющего того или иного персонажа, а также дополнение его данных летописным материалом, которым заполнялись «швы» между фрагментами основного источника; первые главы степеней неизменно содержали указание на место соответствующего князя в ряду потомков Владимира. В то же время, необходимо отметить, что выполненные с использованием рассмотренных выше приемов жизнеописания главных героев степеней несколько отличаются друг от друга. Так, в наиболее рельефном виде данная методика представлена в жизнеописаниях Владимира Святославича, Александра Ярославича, Даниила Александровича и Дмитрия Ивановича. Это, по-видимому, было вызвано тем, что в распоряжении книжника были достаточно пространные тексты, повествующие об этих князьях. При этом нельзя не отметить, что структура 1 ст. из этого ряда выделяется некоторой «размытостью» — целый ряд разделов Жития Владимира в СК к биографии этого князя прямого отношения не имеют. Это, по-видимому, объясняется тем, что в текст 1 ст. был включен ряд экскурсов в древнейший период истории Руси, которые разрывали последовательный рассказ о Владимире и его времени (экскурсы в славянскую историю — 6-11 гл.; рассказы о первых русских князьях — 3-5 гл.; повесть о посещении Русской земли апостолом Андреем — 23 гл.). Несколько менее рельефно описанная выше методика проявилась в жизнеописаниях тех персонажей, специальные жизнеописания которых, по всей видимости, отсутствовали (Всеволод Ярославич, Владимир Мономах, Юрий Владимирович, Всеволод Юрьевич, Иван I Красный, Василий I, Василий II, Иван III). Судя по всему, создавая их жизнеописания, книжник выявлял памятник (в случае с Иваном Калитой та-

ких памятников было два — Житие Петра и Сказание о нем), который, хотя и не был специально посвящен тому или иному предку Ивана IV, но содержал более или менее пространный рассказ о нем, и дополнял его летописным материалом. При этом важно отметить, что, если в распоряжении книжника имелся надлежащий материал источников (рассказы об Александре Невском, Данииле Александровиче, Дмитрие Ивановиче), он стремился представить биографию своего героя с соблюдением распространенных в макарьевское время правил, выделяя жизнеописание, похвалу и чудеса. Однако не все повествования о главных героях степеней были выстроены на основании одного памятника, прославляющего соответствующего персонажа.

Жизнеописания главных героев 3-6, 11, 13-15 и 17 ст. были написаны почти исключительно на основе летописных данных. Но алгоритм создания рассказа аналогичен: в первой главе книжник через генеалогическую справку помещает главное действующее лицо грани в ряд потомков Владимира; в последующих главах сообщает о важнейших событиях времени его правления, подчеркивая отношения с церковью, представленной фигурой митрополита. При этом по возможности привлекаются дополнительные источники, повествующие о времени правления главного героя степени: как установил О.В. Панченко, к созданию рассказа о царских дарах Владимиру Мономаху из Константинополя в 8 гл. 4 ст. был привлечен фрагмент «Слова похвального» Михаилу Черниговскому Льва Филолога<sup>53</sup>; нами было отмечено, что в рассказе о браке дочери Василия I с Мануилом Палеологом в 19 гл. 13 ст. был использован материал Хронографа редакции 1512 г. (далее Хр. 1512). В случае отсутствия надлежащего летописного материала, краткий перечень добродетелей соответствующего князя, по-видимому, выполнялся автором СК. При этом какие-либо новые фактические подробности не вносились. В виду отсутствия или недостатка материала широко использовался пересказ данных источников, тексты которых им уже приводились ранее. Например, в описании Ивана Красного в 1 гл. 11 ст. книжник после упоминания его дале-

---

<sup>53</sup> Панченко О. В. Две редакции Слова Льва Филолога Михаилу и Феодору Черниговскому // Проблемы развития русской литературы XI–XX веков: тезисы научной конференции молодых ученых и специалистов 18–19 апреля 1990 года. Л., 1990. С. 7–8.

ких предков, обращает внимание читателя на его «благородных родителей» (Ивана Калиту и Елену), упоминая о смерти и погребении матери (это известие читается в 2 гл. 10 ст.). Затем книжник сообщает о пострижении и смерти Калиты (об этом также сообщала 2 гл. 10 ст.), а также передает летописное известие о первом браке Ивана Красного<sup>54</sup>.

Для наглядности представим обобщенные результаты изучения основных источников жизнеописаний главных героев граней в виде таблицы:

Раздел СК	Главное действующее лицо степени	Основной источник жизнеописания соответствующего предка Ивана IV <sup>55</sup>
1 ст.	Владимир Святославич	«Поучение»
2 ст.	Ярослав Владимирович	«Слово о законе и благодати»
3 ст.	Всеволод Ярославич	Летопись
4 ст.	Владимир Мономах	Летопись
5 ст.	Юрий Владимирович	Летопись
6 ст.	Всеволод Юрьевич	Летопись
7 ст.	Ярослав Всеволодович	«Слово о погибели Русской земли»
8 ст.	Александр Ярославич	Владимирская редакция Жития Александра Невского
9 ст.	Даниил Александрович	Сказание о Данииле
10 ст.	Иван I Калита	Житие митрополита Петра, Сказание о Петре Кифы
11 ст.	Иван II Красный	Летопись
12 ст.	Дмитрий Иванович	«Слово о житии»
13 ст.	Василий I	Летопись
14 ст.	Василий II	Летопись
15 ст.	Иван III	Летопись
16 ст.	Василий III	«Похвальное слово» Василию III
17 ст.	Иван IV	Летопись

Вряд ли можно сомневаться в том, что построенные почти исключительно на летописном материале биографии предков Ивана IV несколько отличаются от жизнеописаний, выполненных на основе (или, во всяком случае, с привлечением) иных источников: в первых отсутствуют специальные похвалы, а также рассказы о чудесах; беднее описания добродетелей. Может ли это говорить о том, что две данные группы жизнеописаний писались разными лицами?

<sup>54</sup> ПСРЛ. Т. 21. 2-я половина. С 343.

<sup>55</sup> Ниже приводятся памятники, которые были, согласно итогам нашего исследования, положены в основу либо всего жизнеописания соответствующего персонажа, либо его значительных фрагментов; в обоих случаях сведения данных произведений дополнялись летописным материалом.

В поисках ответа на этот вопрос, необходимо отметить ряд моментов. Во-первых, два рассмотренных выше вида жизнеописаний расположены в памятнике неравномерно — 1-2, 7-10, 12, 16 и 3-6, 11, 13-15, 17 ст. соответственно (см. представленную выше таблицу). В том случае, если бы какие-либо крупные разделы СК писались разными лицами, следовало бы ожидать, что и эти группы описаний были бы более компактно расположены в тексте памятника, а не «чересполосно», как это фиксируется в СК. Во-вторых, как уже отмечалось выше, сам алгоритм работы с источниками в обеих группах жизнеописаний сходен, что дает веские основания утверждать, что по способу создания текстов и структуре все биографии главных героев степеней представляют удивительное для столь объемного и сложного памятника единство: все бросающиеся в глаза различия оказываются вполне объяснимы разницей судеб персонажей и набором повествующих о них источников. В-третьих, если говорить о тех предках Ивана IV, рассказы о которых в СК основаны на летописном материале, нельзя не отметить, что в настоящее время неизвестно ни одного (!) памятника, датированного временем не позднее рубежа 50-60-х гг. XVI в., который бы содержал особый рассказ о Всеволоде Ярославиче, Владимире Мономахе, Юрии Владимировиче, Всеволоде Юрьевиче, Иване I Красном, Василии I, Василии II, Иване III<sup>56</sup>. Это заставляет нас сделать предположение, что причиной того, что книжник в соответствующих степенях следовал почти исключительно за летописными источниками, являлось отнюдь не его стремление использовать иной инструментальный конструирования текста — есть веские основания полагать, что это было вынужденной мерой: специально посвященные главным героям нелетописные рассказы либо отсутствовали, либо не были известны (или доступны) создателю СК. Вышесказанное на данном этапе приводит нас к предварительному выводу о том, что, по крайней мере, жизнеописания главных героев степеней создавались, по-видимому, одним лицом (или под руководством одного лица).

---

<sup>56</sup> Исключением в этом ряду является автобиографическое Поучение Владимира Мономаха детям, которое сохранилось только в Лаврентьевском списке Повести временных лет и стало известно исследователям лишь в Новое время.

И. Е. РУДКОВСКАЯ

## XVI СТОЛЕТИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ В. РОБЕРТСОНА И Н. М. КАРАМЗИНА

«История государства Российского» Н. М. Карамзина явилась итоговым трудом отечественного Просвещения. Понимание работ В. Робертсона, долгое время остававшихся в тени исследований других представителей «Исторического триумvirата Британии» — Д. Юма и Э. Гиббона, по мнению современных исследователей, «необходимо для любого опыта воссоздания культуры и историографии эпохи Просвещения»<sup>1</sup>. Предлагаемый в данной статье опыт сравнительного анализа реконструкций XVI века, созданных Карамзиным и его шотландским предшественником Робертсоном, основывается на той особой роли, которую этот век занял в творчестве двух великих историков.

Проблема специфики XVI века была сформулирована в ходе анализа текста первого исторического труда великого шотландца, в котором он выступил, как и позднее Карамзин, в качестве исследователя отечественной истории<sup>2</sup>. Специальный интерес автора данной статьи к характеристике этого периода первоначально был обусловлен не столько даже его особым статусом в хронотопе и Н. М. Карамзина, и В. Робертсона, сколько чрезвычайной частотой употребления в «Истории Шотландии» словосочетания «*тот век*»<sup>3</sup>, ставшего своего рода лейтмотивом исследования. Историк, без сомнения, стремился отразить специфику центрального для его работы столетия в наиболее значимых характеристиках<sup>4</sup>. Было очевид-

---

<sup>1</sup> Francesconi D. Review of Brown, S. J., ed., William Robertson and the Expansion of Europe, Cambridge, Cambridge Un. Press 1997 // Cromohs 3 (1998): [http://www.unifi.it/riviste/cromohs/3\\_98/francesconi.html](http://www.unifi.it/riviste/cromohs/3_98/francesconi.html) (июнь, 2008).

<sup>2</sup> Robertson W. The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI // Robertson W. The works of W. Robertson in twelve volumes. V. I–III. Edinburgh – L., 1819.

<sup>3</sup> Здесь и далее выделено мною. — И. Р.

<sup>4</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. I. P. 195; V. II. P. 77, 98, 103, 108, 123, 129, 145, 163, 181, 188, 191, 309, 315, 367, 392, 406-407, 410, 423; V. III. P. 7, 22, 25, 39, 85, 100, 115, 116, 121, 139, 159, 160.



но, что данное словосочетание может выступать в качестве ориентира при сопоставлении как минимум трех крупных текстов, имевших, каждый в свое время, очень значительный общественный и научный резонанс<sup>5</sup>: уже упомянутых «Истории Шотландии» и «Истории государства Российского», а также еще одной, наиболее известной, работы Робертсона, посвященной эпохе Карла V<sup>6</sup>. В «Истории государственного императора Карла V» словосочетание «*тот век*» встречалось значительно реже, но и здесь автор акцентировал внимание на том, что свойственно лишь этому периоду. В «Истории государства Российского» столь узнаваемый элемент текста Робертсона Карамзиным не использовался, однако XVI век ощутимо превалировал в общем сценарии его работы.

Анализ характерных для историков «способов игры со временем», как отмечает В. Н. Сыров, входит сегодня в число тех задач, которые стоят перед историографами<sup>7</sup>. Сравнительный анализ временных координат и пересечения времен в исследуемых текстах позволяет дать принципиально иное, более объемное видение того историографического феномена, который является центральным для исследователя. Историографическая компаративистика обнаруживает свойственные конкретному тексту сочетания традиционных и инновационных элементов, большую или меньшую преемственность моделей осмысления и репрезентации прошлого. И, что наиболее важно, она провоцирует выдвижение новых проблем, сама постановка которых становится возможной именно как результат компаративного исследования.

Изучение творчества Н. М. Карамзина средствами историографической компаративистики не может быть ограничено сопоставлением лишь отечественных вариантов историописания. Несмотря на сохранение погодной записи событий, присущей летописной традиции, текст «Истории государства Российского»

---

<sup>5</sup> The life of Dr. Robertson // The works of W. Robertson... V. I. P. XXXVII–XXXVIII, XLIX–LII; Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983. С. 94–100.

<sup>6</sup> Робертсон В. История государственного императора Карла V. Т. I–IV. М., 1839.

<sup>7</sup> Сыров В. Н. Введение в философию истории: Своеобразие исторической мысли. М., 2006. С. 7.

предопределен параметрами европейского научного пространства, вероятно, в большей степени, нежели отечественного, только начинавшего складываться. Это ставит исследователя перед необходимостью проанализировать тексты западноевропейских историков эпохи Просвещения, тем более что и соотечественников Карамзина, занимавшихся русской историей до него, вовсе нельзя считать «выпавшими» из пространства европейской науки. Речь в данном случае идет не о традиционном для отечественной историографии анализе усвоения нашими первыми историками новых веяний в философии истории, предполагающем сопоставление работ отечественных *историков* преимущественно с работами западных *филологов*. Необходим масштабный сравнительный анализ трудов российских историков и их западных предшественников, последовательное вычленение «памяти текста»<sup>8</sup>, составлявшегося на основе восприятия европейской историографической культуры, творческой переработки культурных образцов, апробирования их на ином историческом материале. То внимание «к распространению и бытованию идей, а не только к их рождению»<sup>9</sup>, которое сегодня рассматривается как позитивная тенденция современной науки, настраивает на выявление волн влияния, расходившихся от крупнейших исторических произведений, пересекавших государственные границы, создававших интеллектуальную атмосферу эпохи.

Текстологический анализ уже на уровне простого сопоставления значимых фрагментов текста (посвящений, адресованных монархам, оглавлений, отражающих структуру текста, обобщающих глав, примечаний и т. д.) позволяет сделать выбор в пользу тех или иных вариантов влияния<sup>10</sup>. Необходимость этого уровня анализа текста очевидна, но достигаемые здесь результаты, позволяя установить или опровергнуть генетическую связь, не обеспечивают должного объема информации о степени и специфике влияния.

---

<sup>8</sup> Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: человек — текст — семиосфера — история. М., 1999. С. 21.

<sup>9</sup> Репина Л. П. Интеллектуальная история в человеческом измерении // Человек второго плана в истории. Вып. 3. Ростов-на-Дону, 2006. С. 12.

<sup>10</sup> Рудковская И. Е. Н. М. Карамзин и англо-шотландская историографическая традиция второй половины XVIII в. // Вестник ТГУ. № 281. Серия «История. Краеведение. Этнология. Археология». Томск. Март 2004. С. 142-148.

Проанализировать и сопоставить многослойную память двух и более масштабных текстов, вероятно, невозможно без выделения неких компонентов, композиционное единство и взаимосвязь которых обеспечивает восприятие текста как системы. Значимые проблемы, поставленные в соответствии с проблематикой изучаемых трудов, могут рассматриваться, как представляется, в качестве таких компонентов.

Предполагая, что историографическая компаративистика позволит за литературной изысканностью блестящих нарративов разглядеть проблемное видение истории, автор счел возможным выделить несколько параметров, которые хотя и не закрывают собою весь комплекс проблем, возникающих при сопоставлении столь крупных трудов, но позволяют рассмотреть важнейшие из них. Прежде всего, значимым представляется отведенное XVI столетию место в структуре работ двух историков, акцентация начальной и конечной грани столетия, выбор его ключевых дат. В связи с тем, что исторические труды Робертсона и Карамзина, в силу специфики источников и историографической традиции века Просвещения, уделяли особенное внимание политической сфере, выделены также и те критерии, которые позволяют сопоставить трактовку политических реалий XVI века, учитывая взаимодействие в текстах прошлого, настоящего и будущего:

- представление о взаимосвязи между формой правления и социальной, политической стабильностью;
- презентация проблемы престолонаследия;
- воспроизведение взаимоотношений монарха и политической элиты;
- предлагаемые варианты трактовки личностной предопределенности политической истории столетия;
- отражение борьбы за новую формулу взаимоотношений государства и церкви как итога самоопределения гражданского общества.

#### **Грани веков, ключевые даты и процессы столетия**

В эпоху Постмодерна, на фоне трансформаций в политической системе Европы, неизбежно повышается интерес к предыдущей переломной эпохе, когда в XVI–XVII вв., с появлением независи-

мых, суверенных государств, начиналась эпоха Модерна<sup>11</sup>. Ввиду отчетливо обозначившегося финала<sup>12</sup> возрастает и актуальность осмысления образов XVI столетия, предложенных исследователями разных стран и эпох.

И Робертсон, и Карамзин начинали исследование отечественной истории с древнейших времен и оба закончили началом XVII века. В «Истории Шотландии» XVI век занял центральное место в соответствии с названием труда. В «Истории государства Российского» ему и первым годам предопределенного им следующего века посвящены последние главы шестого тома и шесть завершающих томов (тт. VII–XII). В труде Робертсона финал XV века и начало XVI-го — относительно тривиальный временной отрезок длительного периода, начавшегося в 1286 г., после смерти Александра III, и закончившегося гибелью Якова V (James V) в 1542 г.<sup>13</sup> Наиболее значимой вехой, позволившей выделить столь масштабный период, по Робертсону, было начало знаменитого спора, касающегося независимости Шотландии. Решающим в его работе выступает рубеж XVI и XVII вв, когда внук Якова V, Яков VI, встанет во главе Англии и Шотландии, объединив их под властью одного монарха, что, по мнению историка, позволит Великобритании подняться до такого высокого положения и авторитета в Европе, которого эти королевства, будучи разделенными, никогда бы не достигли<sup>14</sup>. В итоговой части работы Робертсон связал последующие революционные потрясения XVII века с событийной канвой «Истории Шотландии», акцентируя внимание на трагическом финале разворачивавшихся в XVI в. процессов<sup>15</sup>.

В работе о Карле V, в отличие от «Истории Шотландии», максимально акцентирован именно рубеж XV–XVI вв., завершавший предысторию его работы и начинавший ее основную часть. Последний раздел (Отделение III) первого тома, озаглавленный «Уст-

---

<sup>11</sup> Toulmin S. *Cosmopolis. The Hidden Agenda of Modernity*. Chicago, 1990. P. 7.

<sup>12</sup> О финале как неотъемлемой черте любой истории см.: Сыров В. Н. Введение в философию истории... С. 75-87.

<sup>13</sup> Robertson W. *The history of Scotland...* V. I. P. 7.

<sup>14</sup> Ibid. V. VIII. P. 188.

<sup>15</sup> Ibid. P. 188-203.

роение гражданских обществ в Европе от разрушения Римской империи до начала шестнадцатого столетия», на деле обрисовывал ситуацию конца XV – начала XVI в.<sup>16</sup> Рубежной была и дата рождения главного героя исследования, зафиксированная в первом же предложении второго тома: «Карл V родился в Генте двадцать четвертого февраля тысяча пятисотого года»<sup>17</sup>. Это событие пришлось на эпоху правления Фердинанда II, сумевшего «мудростию внутреннего правления, благоразумием внешних мер и властью над умами народа» поддерживать в своих владениях «такую тишину, какая была даже несвойственна их государственному устройству, обильному в поводах к смутам и беспорядкам»<sup>18</sup>. Цепь событий в этой работе Робертсона не достигала конца столетия, ограничиваясь финальной датой жизненного пути главного героя (1558 г.). Но, по сути, Робертсон оставил свой труд в хронологическом смысле открытым, отметив: «Описывая этот век, я старался начертать введение в следующую за ним историю Европы»<sup>19</sup>.

Между тем, в труде Робертсона собственно истории правления Карла V предшествовало Введение настолько обширное, что его перевод был издан в России в 70-е гг. XVIII в. в двух томах, причем без публикации основной части, но с сохранением авторского названия<sup>20</sup>. Отчасти, вероятно, именно этот библиографический курьез дал основание Карамзину заметить в Предисловии к «Истории государства Российского», что «кто читал единственно Робертсоново Введение в Историю Карла V, тот еще не имеет основательно-го, истинного понятия о Европе средних времен»<sup>21</sup>. В столь своеобразном «Введении во введение» шотландский историк представил и общую характеристику развития средневековой Европы (Отделе-

<sup>16</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. I. С. 117-347.

<sup>17</sup> Там же. Т. II. С. 1.

<sup>18</sup> Там же. С. 25.

<sup>19</sup> Там же. Т. I. С. X.

<sup>20</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. I-II. СПб., 1775–1778.

<sup>21</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I. М., 1989. С. 17. В то же время здесь нельзя не видеть и признания Карамзиным, подобно Робертсону, самодовлеющей значимости особенного в истории, которого не заменяют ни теоретические выкладки, ни обзоры знатоков.

ние I и II первого тома), и обзор политического устройства отдельных европейских государств (Отделение III). Робертсон подчеркнул непреходящую значимость изучения их специфики рубежа XV–XVI вв., поскольку «без точного понятия об особенном образе и духе гражданского их управления дела их большею частью покажутся загадочными, таинственными»<sup>22</sup>.

В труде Карамзина начало XVI столетия также выделяется как значимая грань: в седьмой главе VI-го тома историк подвел итоги эпохе Иоанна III, которая уже в Предисловии к I тому представлена началом «Средней», «от Иоанна до Петра» истории<sup>23</sup>. В первой главе VII-го тома он охарактеризовал начало царствования Василия III, следовавшего «тем же правилам в Политике внешней и внутренней... не унижил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным Самодержавия»<sup>24</sup>. Рубеж XV и XVI вв. оказался, таким образом, своего рода медианой «Истории государства Российского».

Последующие четыре тома своей «Истории» Карамзин полностью посвятил реалиям XVI века, завершив их характеристику лишь в начале XI-го, уже после заключительной главы X-го тома, озаглавленной «Состояние России в конце XVI века». Приступая в ней к «обозрению тогдашнего состояния России в государственном и гражданском смысле», Карамзин подчеркнул, что включает тем самым «Историю семисот тридцати шести лет» под «наследственным скиптром Монархов Варяжского племени»<sup>25</sup>. Итоговый рубеж века был, таким образом, не менее важен для «Истории государства Российского», нежели для «Истории Шотландии». Для России он станет эпохой великих испытаний, причем завершить летопись этого времени Карамзину не было суждено: последней фразой великого труда станет афористичный тезис: «Орешек не сдавался»<sup>26</sup>. Такой финал, думается, не был совершенно случайным. Еще в 1815 г., посвящая свой труд императору Александру I, Карамзин начнет

<sup>22</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. I. С. 117-118.

<sup>23</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I. С. 21.

<sup>24</sup> Там же. Т. VII. СПб., 1817. С. 7.

<sup>25</sup> Там же. Т. X. СПб., 1831. С. 262.

<sup>26</sup> Там же. Т. XII. СПб., 1831. С. 382.

третий абзац этого небольшого текста словами: «Новая эпоха наступила»<sup>27</sup>. В контексте последующей истории государства Российского, завершения не только Смуты, но и потрясений наполеоновской эпохи, Орешек выступал своеобразным символом России, что вряд ли мог не заметить, не оценить Карамзин. Историк вполне допускал, судя по письмам, что последний том ему закончить не суждено, и, возможно, искал и нашел наиболее приемлемый финал даже незаконченной рукописи.

Помимо рубежных дат несомненный интерес представляют и те точки в истории XVI столетия, которые в силу их значимости как для прошлого той и другой страны, так и для историков, тщательно выстраивавших свои труды, могут рассматриваться в качестве центральных. В нарративе Карамзина своеобразным эпицентром является 1565 год, отмеченный началом опричнины в России<sup>28</sup>. Этот год и для Шотландии, по определению Робертсона, был «буйным годом» (*turbulent year*), хотя критической точки развитие событий на родине последнего достигло два года спустя, в 1567 г., когда в течение трех месяцев свершится «быстрый непрерывный ряд событий, столь необычайных и столь отвратительных, ...что подобных невозможно найти в любой другой истории»<sup>29</sup>.

С точки зрения выстраивания взаимоотношений между монархом и обществом особенно значимы 1587 год в шотландской истории и 1598 год — в российской. Для Шотландии 1587 год был отмечен казнью Марии Стюарт, заставившей подданных Якова VI ощутить бесчестье, нанесенное королю и нации в целом<sup>30</sup>, а для России 1598 год был прежде всего годом трудного обретения нового монарха после смерти Федора Иоанновича. Выявление подлинных смысловых доминант оценок, даваемых историками под этими датами, заставляет выходить далеко за рамки указанных точек в истории, так как происходившие тогда события вынуждали и Робертсона, и Карамзина делать значительные экскурсы в историю. И Яков VI, и Борис Годунов, уже являвшиеся к тому моменту правителями (пусть и на разных основаниях), оказывались тогда в не-

<sup>27</sup> Там же. Т. I. С. 11.

<sup>28</sup> Там же. Т. IX. СПб., 1831. С. 4.

<sup>29</sup> *Robertson W.* The history of Scotland... V. II. P. 137, 221.

<sup>30</sup> *Ibid.* V. III. P. 72.

стандартной ситуации, созданной минувшим, которое в силу происходивших событий оказывалось включенным в современность. Историческое время представало здесь действительно «формой организации нашего опыта», воспринималось как «растяжение, а не поток мгновений»<sup>31</sup>. Новые политические реалии заставили и монарха, и претендента на трон, и политическую элиту, наряду с другими слоями общества, попытаться внести свой вклад в выработку ответов на задававшиеся временем вопросы, формируя и настоящее, и будущее.

В «Истории государственования императора Карла V» событие, «по своим следствиям достопамятное более всех происшествий в течение нескольких веков» — это смерть императора Максимилиана (12 января 1519 г.). Кончина того, кто не отличался «ни добродетелями, ни способностями», возбудила, по словам Робертсона, «соперничество в двух Государях, которое привело всю Европу в волнение и воспламенило войны, каких прежде не было в новейшие времена по продолжительности и числу участников»<sup>32</sup>. Именно противоборство Карла V и Франциска I, завершившееся лишь со смертью последнего в 1547 г., привело к тому, что «Европейские державы, прежде разобщенные, вошли в тесные связи между собою, составили одну великую систему политическую», причем они «до сих пор удерживают в ней места, в то время занятые ими», даже по прошествии «двух деятельных столетий»<sup>33</sup>. Выбор ключевой даты в данном случае определялся с учетом контекста следующих веков, значимости в свете финала, обеспечивавшего поддержание столь необходимого, по мнению Робертсона, баланса сил в Европе.

Ф. Мейнеке полагал, что причины интенсивного интереса Робертсона к XVI веку имели «исключительно просветительскую природу», что читатели получили «чудесное повествование о том, как Европе становилось все лучше и лучше», как был достигнут прогресс человечества, неведомый прежде»<sup>34</sup>. Представленный Робертсоном вариант историописания, рассматриваемый сегодня в

<sup>31</sup> Сыров В. Н. Введение в философию истории... С. 40.

<sup>32</sup> Робертсон В. История государственования императора Карла V. Т. II. С. 50.

<sup>33</sup> Там же. Т. IV. С. 235-236.

<sup>34</sup> Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 184.



качестве философской истории<sup>35</sup>, оценивался, таким образом, с точки зрения высот, достигнутых в понимании прошлого позднее, а не в сопоставлении с предшествующей, чисто нарративной историей. Отступления от историзма нельзя не видеть и в той критике, которая была уготована труду Карамзина, хотя в ее основе прева-лировала не оценка уровня достигнутого прогресса в сфере межго-сударственных отношений, а расхождения по поводу приемлемых для России форм правления.

#### **Реестр форм правления: в поисках стабильности**

В «Истории Шотландии» Робертсон дал негативную оценку той форме правления, которая исторически сложилась в его отечестве. Король, обладавший незначительным доходом и ограниченными пол-номочиями, не опиравшийся на постоянную армию, не мог иметь большого влияния на своих могущественных подданных<sup>36</sup>. В «Исто-рии государствения императора Карла V» главными причинами «неустройств и беспорядков», свойственных средним векам, Роберт-сон признавал слабость правления, а также недостаток «надлежащей подчиненности между различными званиями людей»<sup>37</sup>. Проблема поддержания социальной иерархии как гаранта стабильности была для него, таким образом, не менее значимой, нежели собственно про-блема предпочтения той или иной формы правления.

К началу XVI в. многоликий политический мир Европы был представлен как монархиями, так и республиками, и историк не ограничивался формальным их разграничением, полагая, что «Рес-публики, подобно Монархиям, соблазняются духом властолюбия». Для него важнее были нюансы. Распределение судебной, законода-тельной и исполнительной власти в Венецианской республике представлялось ему совершенным, однако оно, «в отношении к многочисленному народу покажется нам строгою и пристрастною аристократиею». В государственном устройстве Флоренции, не-смотря на «демократическое своеволие», Республиканское правле-

---

<sup>35</sup> *Francesconi D.* Op. cit. // [http://www.unifi.it/riviste/cromohs/3\\_98/francesconi.html](http://www.unifi.it/riviste/cromohs/3_98/francesconi.html) (июнь, 2008).

<sup>36</sup> *Robertson W.* The history of Scotland... V. III. P. 189.

<sup>37</sup> *Робертсон В.* История государствения императора Карла V. Т. I. С. 315-316.

ние существовало, по его мнению, «только по наружности», так как народ «допускал одному Дому управлять своими делами так же неограниченно, как если бы он торжественно получил власть державную». В Арагонии «образ правления был монархический с республиканским духом и правилами», так как короли, «долгое время избирательные, имели одну тень власти». В Германии, огромной, многосложной Державе, «влияние и сила Князей и Чинов Имперских более, нежели перевешивали мнимое самодержавие Императора»<sup>38</sup>.

Этот пристальный интерес к особенному, к фактам, к подлинному содержанию того или иного варианта правления, а не к внешней форме, находим и у Карамзина. Та система ценностей, которой придерживался Карамзин, вполне допускала перспективу политического прогресса, что осознавалось его современниками, неслучайно в марте 1816 г. С. С. Уваров отметил, что «История его послужит нам краеугольным камнем для Православия, Народного воспитания, Монархического управления и Бог даст — русской возможной конституции»<sup>39</sup>. Обращаясь к судьбе Пскова, рисуя трагедию «издыхающей свободы» Пскова, Карамзин отмечал, что пережившая новгородскую псковская Республика имела лишь «вид народного правления», хвалилась «тению свободы», не имея перспективы выжить «в системе общего Самодержавия», сохранить вольность, «несогласную с государственным уставом России». Поскольку псковитяне, чрезвычайно дорожившие своими «древними уставами свободы», «подобно всем Республикам, имели внутренние раздоры», им была уготована судьба Новгорода, «где внутренние несогласия и раздоры заставили граждан искать Великокняжеского правосудия», что стало для великого князя московского «одним из способов к уничтожению их вольности». Василию, который «уничтожением Веча искоренял все старое древо самобытного гражданства Псковского, хотя и поврежденное, однакож еще не мертвое, еще лиственное и плодоносное», удалось, «страхом оружия, без побед, но не без славы умирив Россию», доказать «наследственное могущество ея Государей», непререкаемую волю их

---

<sup>38</sup> Там же. С. 127-129, 130-131, 143, 162, 170.

<sup>39</sup> РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 2907. Л. 1.

«быть внутри Самодержавными»<sup>40</sup>. Карамзин видел определенный позитивный потенциал в самодержавном устройстве, полагая, что только в одних Самодержавных Государствах, в силу того, что «все зависит от воли Самодержца», видим «легкие, быстрые переходы от зла к добру»<sup>41</sup>. Однако история России со всей очевидностью доказывала вероятность перехода и в противоположном направлении, в сторону деспотизма.

Согласно Робертсону, также уделявшему внимание этой проблеме, деспотическим может быть признано то правление, где «Государь полновластно начальствует сильным войском и располагает большими доходами, где «народ лишен всех прав и не имеет ни непосредственного, ни отдаленного участия в законодательстве, где нет родовитого дворянства, которое, сберегая собственные права и отличия, составляет посредствующее сословие между Государем и народом»<sup>42</sup>. Карамзин отвел характеристике деспотического правления Ивана Грозного в постреформаторский период отдельный том, о чем сообщил 25 мая 1818 г в письме В. Н. Каразину: «Теперь занимаюсь девятым томом, т.е. ужасами тиранства»<sup>43</sup>. Карамзин ясно давал понять, что тирания — феномен, порождаемый обществом, а не только личностью властителя. Воссоздав события января 1565 г., он не мог не признать, что «безначалие казалось всем еще страшнее тиранства», подданные «со слезами благодарности славили» согласившегося вернуться на трон государя, названного здесь Карамзиным Владыкою. Молчали «знаменитые Россияне, лишаемые свободного доступа к Государю», т.е. переставшие быть тем «посредствующим сословием», о значимости которого писал Робертсон. Молчало, за единичными исключениями, Духовенство, сложившейся иерархии которого царь противопоставил иерархию опричного двора, выступая в нем в роли Игумена, позволяя себе самые жестокие повеления давать «во время заутрени или обедни»<sup>44</sup>.

<sup>40</sup> Карамзин Н. М. Истории государства Российского. Т. VII. С. 30-31, 33, 37-38, 45.

<sup>41</sup> Там же. Т. VIII. СПб., 1817. С. 104.

<sup>42</sup> Робертсон В. История государственного императора Карла V. Т. I. С. 343.

<sup>43</sup> РО ИРЛИ. Ф. 61. Д. 14. Л. 3.

<sup>44</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. С. 82-83, 99, 102.

Завершая IX-й том, историк предельно ясно сформулировал свою позицию в отношении деспотизма Ивана IV: «Напрасно некоторые чужеземные Историки, извиняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме Царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных»<sup>45</sup>. Как отмечал Ю. М. Лотман, Карамзин «не пытался найти государственный смысл в терроре Грозного», в отличие от тех последующих историков, «которые прямолинейно признавали усиление государственности основной исторически прогрессивной чертой эпохи»<sup>46</sup>. Для него, как и для Робертсона, было совершенно очевидно, что тирания несовместима со стабильностью, что она не укрепляет, а разрушает устои государственные.

### **Проблема престолонаследия как символ столетия**

Проблемой, определявшей стабильность или дисбаланс государственного устройства, в работах Робертсона выступает проблема престолонаследия. Традиционно значимая в монархическом государстве, она приобрела в Шотландии практически перманентный характер, и в период с 1390 по 1542 гг. длительные малолетства («minority») наследников в связи с насильственной гибелью их отцов стали печальной традицией. «Из шести наследных принцев от Роберта III до Якова VI, — писал об этом времени Робертсон, — ни один не умер естественной смертью и minority в течение этого времени были дольше и чаще, нежели когда-либо случались в любом другом королевстве»<sup>47</sup>. В тот век, согласно Робертсону, право и порядок наследования не были определены с той точностью, как в его эпоху, а потому решение возникавшей проблемы зависело от каприза юристов, руководствовавшихся неясной, часто воображаемой аналогией<sup>48</sup>. Особый интерес политической элиты Европы вызывали междинастические браки. Робертсон не без иронии писал, что «не было в тот век события, возбуждавшего сильнее политические опа-

---

<sup>45</sup> Там же. С. 504.

<sup>46</sup> Лотман Ю. М. Колумб русской истории // Его же. Карамзин. СПб., 1997. С. 580-581.

<sup>47</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. I. P. 33-34.

<sup>48</sup> Ibid. V. II. P. 103.

сения и ревность, ... дававшего рост более противоречивым интригам, нежели замужество шотландской королевы». Примечательным фактом, показывающим неустойчивое положение правительства в тот век, с точки зрения историка, была в период длительного отсутствия королевы та безнаказанность, с которой подданные могли захватить считающиеся ныне священными права короны<sup>49</sup>.

В Англии в тот период, когда, по словам Робертсона, «нация начала терять надежду на замужество Елизаветы»<sup>50</sup>, еще свежа была память о гражданских войнах, которые более столетия опустошали страну в период соперничества Ланкастеров и Йорков. Здесь, таким образом, историк подчеркивал взаимосвязь описываемых им переживаний англичан по поводу перспектив неизбежных и неясных перемен на престоле с историческим опытом, а события XV столетия оказывались частью современности.

Воспроизводя ситуацию встречи шотландцами молодого короля Якова VI в 1579 г., Робертсон отметит, что жители Эдинбурга встретили его, в соответствии с обычаем *того века*, шумным выражением радости, пышными зрелищами. Претерпевшая бедствия гражданской войны, оскорбительное высокомерие иностранных армий, нация была рада снова видеть скипетр в руках короля, обольщаясь надеждой, что «единение, порядок и спокойствие будет теперь восстановлено в королевстве». Позитивное отношение горожан историк связал здесь, таким образом, не с личностными достоинствами молодого короля, а с действием устойчивой традиции и завершением длительного, тридцать семь лет продолжавшегося периода, «в течение которого Шотландия была вынуждена делегировать власть регентам или слабому правлению женщин»<sup>51</sup>.

Для просвещенных современников Робертсона, из которых только старшее поколение могло помнить правление королевы Анны, последней представительницы династии Стюартов, женские правления стали отдаленным прошлым: короли Георги из Ганноверской династии надолго заняли королевский престол, символически представляя эпоху не только при отцах, но и при внуках и правнуках первых читателей «Истории Шотландии». Но европейцы описывае-

---

<sup>49</sup> Ibid. P. 89, 98.

<sup>50</sup> Ibid. P. 302.

<sup>51</sup> Ibid. P. 392.

мого им столетия наблюдали и пытались осмыслить иные реалии, причем не только в Англии и Шотландии. Как отмечает Л. П. Репина, «историческая ситуация и события XVI века, и в том числе появление в результате династических инцидентов во многих странах Европы государей женского пола и регенствующих матерей при несовершеннолетних монархах (Изабелла в Кастилии, Мария и Елизавета Тюдор — в Англии, Мария Стюарт — в Шотландии, Екатерина Медичи и Анна Австрийская — во Франции и др.) оставили яркий след в политической мысли этого времени». Резко негативно-му восприятию женского правления английскими пуританами и шотландскими кальвинистами будет противостоять позиция придворных авторов елизаветинского времени, предлагавших различать королеву как персону и как воплощение власти (своеобразная концепция «расщепленной идентичности» Джона Эйлмера)<sup>52</sup>.

Перечисляя рассматривавшиеся Елизаветой различные варианты решения судьбы Марии Стюарт, Робертсон обращал внимание на несколько факторов, которые, помимо происхождения от их общего предка, Генриха VII, могли, как опасалась Елизавета, склонить англичан поддержать претензии Марии на английский престол. Им выделялись ее личное обаяние, ее красота, ее манеры, ее страдания, вызывавшие восхищение и сострадание<sup>53</sup>. Легитимация, таким образом, могла иметь место при наличии признаков традиционной легитимности, дополняемой харизмой претендентки. Текст «Истории Шотландии» не дает оснований полагать, что для Робертсона существовали какие-либо различия в основаниях для легитимации власти короля и королевы, мужского и женского правления. Характеризуя Марию Гиз, Queen Regent, правившую в период малолетства (minority) Марии Стюарт (1542–1560), он писал, что ни одна принцесса не обладала когда-либо достоинствами, более способными сделать ее управление знаменитым, а королевство счастливым<sup>54</sup>. Это замечание, без сомнения, можно рассматривать как признание правомерности и возможной эффективности

---

<sup>52</sup> Репина Л. П. От «домашних дел» к «делам государства»: гендер и власть в историческом контексте // Диалог со временем. Вып. 19. М., 2007. С. 21-23.

<sup>53</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 260-262.

<sup>54</sup> Ibid. V. II. P. 20-21.

женских правлений, причем им отнюдь не придается характер некой исключительности.

С одной стороны, в подходе Робертсона нельзя не видеть отражения сложившейся в изучавшейся им Европе XVI века практики престолонаследия, расхолодившейся с преобладавшими негативистскими теориями относительно женского правления. В то же время, отсутствие следов гендерной дифференциации в трактовке специфики европейского престолонаследия являлось позицией, предопределенной системой ценностей человека эпохи Просвещения. «История Шотландии» помогала читателям осмыслить проблему родственных связей как представителей, так и представительниц европейских династий в качестве в равной мере неисчерпаемого источника внешних и внутренних конфликтов.

В «Истории государственного императора Карла V» проблемы наследования отдельных престолов оказались в тени решения судьбы императорского престола в Германии. «Совместничество» Карла и Франциска, двух главных претендентов на императорскую корону, разрешилось, по Робертсону, не вполне целесообразно. Общая польза для других европейских государей, полагал он, заключалась в том, чтобы, объединившись, предотвратить чрезмерное усиление этих и без того могущественных королей. Но тогда, отмечал Робертсон, не обращали должного внимания на те понятия «о надлежащем распределении и равновесии могущества», которые «недавно вошли в систему Политики», однако состоявшееся избрание Карла являлось одновременно и «грубым нарушением древнего благотворного обычая», согласно которому у князей-электоров «главный закон любви к отечеству состоял в том, чтобы ослаблять и ограничивать власть Императора»<sup>55</sup>.

В «Истории» Карамзина обостренное внимание к проблеме престолонаследия определялось самой спецификой российского XVI-го столетия. Приступая к рассмотрению перемен на престоле после длительных правлений Ивана III и Василия III, Карамзин отмечает, что никогда «Россия не имела столь малолетнего Властителя; никогда — если исключим древнюю, почти баснословную Оль-

---

<sup>55</sup> Робертсон В. История государственного императора Карла V. Т. II. С. 55-59.

гу — не видела своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки, литовского, ненавистного рода»<sup>56</sup>. Читатели, знакомые с «Историей Шотландии» Робертсона, не могли не увидеть сходства в характере преступлений, ознаменовавших начало правления Елены Глинской и Марии Стюарт. Смерть дяди Елены, Михаила Глинского, «смело и твердо» обличавшего «нескромную слабость Елены к Князю Ивану Телепневу-Оболенскому», утверждавшего, что на троне «народ ищет добродетели, оправдывающей власть Самодержавную», «помилованного Василием для Елены и замученного Еленою»<sup>57</sup>, вероятно, вызвали в памяти события 1567 года, убийство лорда Дарнлея, второго мужа Марии Стюарт<sup>58</sup>.

При характеристике последнего десятилетия XVI века, когда россияне, как и англичане, жили в преддверии угасания династии, Карамзину пришлось особенно часто обращаться к проблеме престолонаследия. Историк отметил и «счастливые надежды», которые появились у всех, «от Монарха до земледельца», при известии о том, что царица Ирина ждет ребенка, и сомнения по поводу вероятности передачи престола по смерти Федора Иоанновича новорожденной Феодосии, и рассуждения о том, что предпочесть: «установить новый закон», открывающий перспективу появления на российском престоле «венценосной жены», или дать со временем «осиротеть престолу»?<sup>59</sup> Смерть Федора Иоанновича создала прецедент женского правления, так как «Феодор вручал державу Ирине», и Борис Годунов «напомнил Боярам, что они, уже не имея Царя, должны присягнуть Царице». Если Елена Глинская «властвовала только именем сына-младенца», то Ирине «отдавали скипетр Мономахов со всеми правами самобытной, неограниченной власти». У Карамзина вызывала большие сомнения добровольность последовавшего вскоре отречения вдовы Федора Иоанновича. С его точки зрения, «Годунов вручил Царство Ирине, чтобы взять его себе», наследуя тем самым Годуновой, а не монарху «Мономахова Венценосного племени»<sup>60</sup>.

<sup>56</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VIII. С. 6.

<sup>57</sup> Там же. С. 11-12.

<sup>58</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 194-196.

<sup>59</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. С. 175-177.

<sup>60</sup> Там же. С. 240-241, 244-245.



Особую актуальность этим деталям процесса передачи престола, аргументации в пользу того или иного его варианта придавала затянущаяся в России XVIII — начала XIX в. эпоха дворцовых переворотов. Карамзин знакомился с работами Робертсона в тот период, когда в Великобритании ситуация с престолонаследием стабилизировалась, а потому факты, свидетельствовавшие о существовании сложнейшего клубка аналогичных проблем в прошлом Англии, Шотландии, других европейских государств, позволяли, вплоть до ситуации междуцарствия 1825 года, с определенным оптимизмом смотреть в будущее.

#### **Монарх и политическая элита: дилемма столетия**

Заметное место в своих трудах и Робертсон, и Карамзин отведут борьбе знати с властью монарха, выработке более приемлемых путей взаимодействия последнего с собственной политической элитой. Исследователи отмечают, что для нарративов Робертсона в целом характерна «стратегия гармонизации конфликта»<sup>61</sup>, возможно, предопределившая его переход от изучения локальной истории к истории европейской, поскольку история Шотландии убеждала со всей очевидностью, что баланс сил возможен лишь на общеевропейском уровне ввиду взаимосвязанности политических и социальных процессов. Историк, по словам О. Д. Эдвардса, дал романтическую интерпретацию столь влиятельной тенденции в истории, как вытеснение естественного местного патриотизма в Британии на заре ее истории<sup>62</sup>, который, пусть и не вполне последовательно, поддерживался мятежной шотландской знатью.

Робертсон характеризовал Шотландию как государство, где «королевская власть так чрезвычайно ограничена, а власть знати так трудно преодолима»<sup>63</sup>, где, в отличие от других европейских стран, знать усилила свои позиции даже в период Реформации. В *тот век*, полагал историк, для представителя знати участвовать в заговоре против шотландского короля не означало делать нечто

---

<sup>61</sup> Francesconi D. Op. cit. // [http://www.unifi.it/riviste/cromohs/3\\_98/francesconi.htm](http://www.unifi.it/riviste/cromohs/3_98/francesconi.htm) (июнь, 2008).

<sup>62</sup> См. <http://www.ed.ac.uk/explore/av/enlightenment2006/williamrobertson.html> (июнь, 2008).

<sup>63</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 207.

необыкновенное: заговорщики не допускали самой возможности обвинения их в измене своему суверену. Вполне ординарным явлением представлено Робертсоном и покровительство, оказываемое шотландским заговорщикам английской королевой Елизаветой<sup>64</sup>, чье долгое правление позволяло воспринимать это если и не в качестве «доброе старого английского обычая», то, по меньшей мере, как устойчивую традицию. Анализируя итоги объединения двух королевств под властью Стюартов в заключительной части книги, Робертсон отметит, что, если в остальной Европе влияние феодальной аристократии либо было ниспровергнуто благодаря политике правителей, либо подорвано успехами коммерции, то в Шотландии оно по-прежнему пребывало в полной силе. Поэтому в XVII в., вплоть до революции 1688 года, политическая ситуация для шотландцев была наиболее неблагоприятной, так как короли были деспотичны, а представители знати были слугами и тиранами одновременно<sup>65</sup>.

В «Истории государственного императора Карла V» взаимоотношения монарха и элиты рассматриваются преимущественно в контексте активности народа. Подводя итоги правлению Фердинанда II, он подчеркнет, что тот «искусно обуздывал своеволие дворян и укрощал негодование городов»; историк полагал, что именно в этом проявились «превосходные державные способности» Фердинанда<sup>66</sup>. Характеризуя тот всплеск «духа мятежа», который стал реакцией испанцев «всякого звания» на получение Карлом титула императора Германии и привел к избранию народом своих представителей, историк отметит, что «к счастью, эти представители прибыли ко Двору, когда Карл был в высокой степени раздражен на дворянство» и потому с досады оправдал народ. В то же время, Робертсон признал опрометчивым решение Карла оставить в этой ситуации народ вооруженным, так как чернь выгнала всех дворян из города, поручила правление чиновникам своего выбора и вступила в союз, бывший для Валенсии источником не только ужаснейших беспорядков, но и самых губительных бедствий<sup>67</sup>. Робертсон, таким образом, не рассматривал здесь противо-

---

<sup>64</sup> Ibid. P. 421, 423.

<sup>65</sup> Ibid. V. III. P. 189, 191.

<sup>66</sup> Робертсон В. История государственного императора Карла V. Т. II. С. 25.

<sup>67</sup> Там же. Т. II. С. 64-67.

стояние короля и знати в качестве изолированного процесса; он в равной мере признавал и право народа, и право элиты на отстаивание своих интересов, а полномочия короля для него — прежде всего инструмент для поддержания стабильности.

В труде Карамзина определяющей эпохой противостояния власти царя и знати предстал период опричнины. В девятом томе Карамзину удалось так расставить акценты, что непредубежденный читатель не мог не увидеть в событиях 5 января 1565 г. трагедии заключения российского варианта «общественного договора», надолго предопределившего последующие события и процессы, уничтожившего все сдерживающие начала, способные защитить общество, «земщину», от произвола. Пришедшие в Александровскую слободу представители разных слоев московского общества приняли условия Ивана Грозного. Боярство как политическая элита России оказалось не способным к противостоянию, к консолидации даже в ситуации, когда «Иоанн изрек гибель многим Боярам», из которых, казалось, никто не думал о своей жизни, а «хотели единственно возвратить Царя Царству»<sup>68</sup>.

Роль представительных органов, которые столь значительно влияли на политические процессы в Шотландии, едва намечена в труде Карамзина. В работе Робертсона деятельность парламента — постоянный сюжет, значимая рубрика, неотъемлемый элемент структуры текста<sup>69</sup>. Историк подчеркивал, что Парламент мог влиять на решение династических проблем, что *в тот век* право Марии Стюарт избрать себе мужа без согласия Парламента было весьма спорным<sup>70</sup>. Вопросы безопасности протестантской религии также были в ведении Парламента, причем, по словам Робертсона, они были «первой заботой Парламента», заседавшего в 1587 г.: особую значимость ему придала ратификация всех законов, принятых в пользу протестантизма со времен Реформации<sup>71</sup>. Робертсон останавливался и на тех проблемах, которые возникали в работе Парламента с течением времени, под влиянием социальных изменений в стране, свя-

<sup>68</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. С. 87.

<sup>69</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 28-35, 94-95, 249-250, 273-274, 384, 404, 428-429; V. III. P. 5-6, 28, 99-101, 134-135.

<sup>70</sup> Ibid. V. II. P. 129.

<sup>71</sup> Ibid. P. 76.

занных, например, с ростом числа фригольдеров, имевших право представительства в нем<sup>72</sup>. Но, безусловно, чаще всего им воспроизводилась борьба различных группировок знати, чье преобладание в Парламенте определяло его решения. В то же время Робертсон делал вывод о чрезвычайном, несмотря на эту борьбу, влиянии шотландских королей на принимаемые Парламентом решения<sup>73</sup>.

В «Истории государствования императора Карла V» мы видим однозначно негативное отношение исследователя к изменениям в полномочиях Кортеса под впечатлением от сильной личности Карла, когда «прежний осторожный обряд — исправлять злоупотребления, вредившие общему благосостоянию до приступления к денежному пособию, был заменен обычаем, более учтивым», т.е. более приемлемым для Государя<sup>74</sup>. И в той, и в другой работе Робертсон стремился объективно оценить сильные и слабые стороны в деятельности представительных органов, не ставя под сомнение их необходимость и значимость.

У Карамзина земский собор при Иване Грозном едва упомянут, и единственным действительно *представительным* органом выведен Великий Собор 1598 года, поставивший на царство Бориса Годунова, названный в тексте карамзинской истории также Великой Думой, Думой Земской, Государственным Собором, Сеймом Кремлевским, созданным «для дела великого, не бывалого со времен Рюрика». Присутствие на нем «всего знатнейшего Духовенства, Синклита, Двора, не менее пятисот чиновников и людей выборных из всех областей»<sup>75</sup> придавали ему совершенно особенное значение. Избрание же Василия Шуйского, по мнению Карамзина, не заслуживало особенного внимания уже потому, что было проведено «так скоро и спешно, что не только Россияне иных областей, но и многие именитые Москвитяне не участвовали в сем избрании», что признавалось историком «обстоятельством несчастным», служившим «предлогом для измен и смятений». Негативной была и

---

<sup>72</sup> Ibid. V. III. P. 79.

<sup>73</sup> Ibid. V. I. P. 80.

<sup>74</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. II. С. 186.

<sup>75</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. С. 250-253. Т. XI. СПб., 1831. С. 8, 20.

оценка Карамзиным принесенной Василием клятвы, поскольку «не Государь народу, а только народ Государю дает клятву»<sup>76</sup>. Карамзин, таким образом, увидел опасный прецедент как в пренебрежении правом народа санкционировать власть нового, не по наследству получившего власть царя, так и в выдвижении новой модели взаимоотношений государя и народа, способной обострить ситуацию в период Смуты.

### **Номо politicus: время в личностях**

В «Истории» Карамзина, как и в работах Робертсона, индивидуальным качествам героев был придан статус структурных элементов текста. Заботливость Изабеллы или фанатизм Лойолы в работе Робертсона так же значимы, как строгость и милость Василия III, наглость Шуйских, добродетели Анастасии, пороки Иоанновы, доблесть кн. Курбского или милосердие Годунова в труде Карамзина.

«Известные характеры людей и неистовый *дух века*» определяли, по Робертсону, череду событий в шотландской истории XVI столетия<sup>77</sup>. Подробные портретные характеристики главных героев, «канонических фигур» труда великого шотландца, замечания, сделанные по поводу персонажей «второго и третьего плана»<sup>78</sup>, свидетельствуют о пристальном внимании исследователя к проблеме личности в истории. Центральной сюжетной линией в «Истории Шотландии» нельзя не признать противостояние, соперничество и взаимозависимость двух женщин, Елизаветы Тюдор и Марии Стюарт, которым он дал обстоятельные портретные характеристики, поскольку и их сила, и их слабость едва ли не в равной степени предопределяли конкретику совершавшегося политического процесса<sup>79</sup>. Взаимообусловленность их судьбы подтверждается структурой работы: пути Марии и Елизаветы пересекаются в пяти из восьми книг «Истории Шотландии» (книги III-VII). Елизавета

<sup>76</sup> Там же. Т. XI. С. 307. Т. XII. С. 5-6.

<sup>77</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 77.

<sup>78</sup> Ренина Л. П. Интеллектуальная история в человеческом измерении. С. 12.

<sup>79</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 14, 20-21, 54, 88, 260-262; V. III. С. 62-68, 180-186.

раньше, нежели Мария Стюарт, появляется на страницах исследования Робертсона и позже покидает его, будучи политическим должителем и, бесспорно, центральной фигурой европейской политики второй половины XVI столетия. Сочетание осторожности и решительности, тщательного продумывания и быстрого, решительного, энергичного исполнения наложенных резолюций сделало, по Робертсону, правление Елизаветы замечательным<sup>80</sup>. В Марии Стюарт Робертсон предлагал видеть прежде всего «приятную женщину скорее, нежели королеву»<sup>81</sup>, хотя она и проявляла в экстремальных ситуациях поистине мужское самообладание, утрачивая его в периоды относительного спокойствия. Ее сыну, Якову VI посвящено немало страниц «Истории Шотландии», однако его индивидуальные особенности, личностный вклад оказались в тени тех событий, которые вели его по жизни, к тому же хронологически работа завершалась восхождением Якова на английский престол, что не давало оснований подытожить его вклад в историю в целом. Наиболее позитивно Робертсон оценивал его цивилизаторскую роль в качестве шотландского короля, поддерживавшего спокойствие, позволявшее жителям забывать об использовании оружия и со вниманием относиться к мирным искусствам<sup>82</sup>.

Среди характеристик, данных историком героям «второго плана», примечательны его отзывы о Марии Гиз, которую он признавал скорее инструментом, нежели причиной бедствий, которые постигли Шотландию в те годы. Наделенная и проницательностью, и тактом, неустрашимая и равно благоразумная, мягкая и гуманная, но без слабости, усердная в вере без фанатизма, поклонница справедливости, но без суровости, Queen Regent, руководствуясь интересами родной ей Франции, пришла к печальному финалу: ее правление оказалось несчастным, а имя — ненавистным<sup>83</sup>.

В «Истории государственного императора Карла V» именно обилие ярких личностей представлено Робертсоном особенностью века, обусловившей специфику формирования европейской политической системы. Как отмечал историк, целое «созвездие Государей

---

<sup>80</sup> Ibid. V. II. P. 14.

<sup>81</sup> Ibid. V. III. P. 67.

<sup>82</sup> Ibid. V. III. P. 176-177.

<sup>83</sup> Ibid. V. II. P. 21.

озарило необычным блеском шестнадцатое столетие». Робертсон подчеркивал, что «Леон, Карл, Франциск, Генрих и Солиман, даже порознь, прославили бы всякий век своими способностями»<sup>84</sup>. В «Истории государства Российского» Карамзин под рубрикой «Великие современники Василиевы» также отметил, что это время славно в летописях Европы таким «редким собранием венценосцев», что не многие веки «хвалятся такими государями *современными*»<sup>85</sup>.

С точки зрения Робертсона, именно «Карл был первым Государем своего века по сану и достоинству, и знаменитейшим по величине, разнообразию и успеху предприятий»<sup>86</sup>, но его величие в немалой степени определялось значительностью соперников на европейском политическом театре. Модели поведения, избравшиеся в отношениях между монархами, оказывали на общество влияние, порою отнюдь не заканчивавшееся по истечении их земного пути. Именно так, по Робертсону, после несостоявшегося поединка между Карлом V и французским королем Франциском I, распространился по Европе обычай, согласно которому «дворянин почитал себя в праве извлекать меч и требовать удовлетворения за каждую обиду, которая повидимому касалась до его чести»<sup>87</sup>.

Но XVI столетие определялось для историка не только фигурами государей. М. Лютер, лидер шотландской Реформации Д. Нокс — в числе значимых персонажей Робертсона. В работе о Карле V только под 1520 годом Лютеру, его деятельности на начальном этапе Реформации Робертсон отвел свыше 40 страниц<sup>88</sup>. Благочестие и ученость, бестрепетный дух, приобретающий «свежую бодрость от всякого препятствия», постепенность в мерах доставили реформатору, полагал Робертсон, все его успехи. Но

---

<sup>84</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. II. С. 82.

<sup>85</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VII. С. 192. Историк приводил далее имена Карла V, Франциска I, Солимана, Генриха VIII, Леона X, внеся в перечень, кроме того, «и врага нашего, Сигизмунда», Максимилиана, Людовика XII, Селима, Густава Вазу.

<sup>86</sup> Робертсон В. История государствования императора Карла V. Т. IV. С. 220.

<sup>87</sup> Там же. Т. III. С. 11-12.

<sup>88</sup> Там же. С. 82-126.

подвиг Лютера, подчеркивал он, был облегчен многими важными причинами, тогда как «все преждевременные покушения к реформации вышли бесплодными»<sup>89</sup>. Итоги жизненного пути Д. Нокса, распространившего в Шотландии идеи Кальвина, Робертсон подвел под рубрикой “Death and character”, уже этим обозначив особое место в шотландской истории человека отнюдь не королевской крови. Характеризуя Нокса, исследователь отметил не только отличавшие его рвение, неустранимость и бескорыстие, но и излишнюю суровость принципов, чрезмерную запальчивость, жесткость, непреклонность, неспособность прощать слабости других. Именно это сочетание личностных особенностей Нокса и позволило ему, по мнению Робертсона, стать в *тот век* инструментом Провидения для продвижения Реформации среди свирепого народа, противостоять опасностям и преодолевать противодействие, которое более кроткого человека вынудило бы отступить<sup>90</sup>.

Для Карамзина, чей труд, как и работы Робертсона, создавался как «история в лицах», проблема роли личности, ее нравственного самостояния была, без сомнения, определяющей. В самом начале IX тома, являющегося своего рода нравственным камертоном «Истории государства Российского», Карамзин писал: «История не решит вопроса о нравственной свободе человека; но предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие во-первых природными свойствами людей, во-вторых обстоятельствами или впечатлениями предметов, действующих на душу»<sup>91</sup>. «Впечатления предметов» здесь — все та же «форма организации нашего опыта», поскольку «действие на душу» предполагает не только некую временную протяженность, но и предопределенность минувшим этих «обстоятельств или впечатлений». Знаменитые карамзинские характеристики Ивана Грозного, пытавшегося в молодости под влиянием благоприятного окружения «стать Царем Правды», являвшего собой своеобразный идеал, образец царя-реформатора<sup>92</sup>, но не удержавшегося на достигнутой высоте, ставшего зверем «из вертепа Слободы Иоанновой», даны с точки зре-

<sup>89</sup> Там же. Т. II. С. 88, 99, 105-106.

<sup>90</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 359-361.

<sup>91</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. С. 4.

<sup>92</sup> Там же. Т. VIII. Гл. III.



ния этих двух выделенных им аспектов. Именно Иван IV стал главной фигурой «Истории» Карамзина<sup>93</sup>. Трагедия века — испытать «грозу Самодержца-мучителя» — была поставлена исследователем в один ряд с бедствиями Удельной Системы и игом Монголов<sup>94</sup>. Карамзин объясняет возможность резких перемен в поведении царей тем, что самодержец «подобно искусному Механику, движением перста дает ход громадам, вращает махину неизмеримую, и влечет ею миллионы ко благу или бедствию»<sup>95</sup>. Очевидно, что в данном случае историк, отталкиваясь от эпохи формирования всевластия государя, выходит за рамки XVI века, поскольку самодержавие в период создания его труда еще не стало прошлым, и реалии давнего столетия — часть современности с неясною перспективою финала.

Не менее сложной личностью представлен в «Истории государства Российского» Борис Годунов. Еще в начале XIX в., в 1803 г., этот крупнейший персонаж рубежной эпохи виделся Карамзину одним «из тех людей, которые сами творят блестящую судьбу свою и доказывают чудесную силу Натуры», по отношению к которому летописцы проявляют несправедливость. В то же время приговор Истории для Карамзина — неизбежное следствие не вызвавшего у историка сомнений обстоятельства, что Годунов «убийством очистил себе путь к престолу» и, кроме того, «отнял у богатых и сильных господ средство разорить бедных дворян, то есть переманивать их земледельцев себе»<sup>96</sup>. В «Истории государства Российского», подводя итог затянувшейся процедуре избрания его на царство, Карамзин заметит: «Державная власть осталась в руках того, кто уже давно имел оную и властвовал счастливо для целости Государства, для внутреннего устройства, для внешней чести и безопасности России». Но итоговый вывод историка не опровергал здесь выводы летописцев: «Казнь Небесная угрожала Царю-

---

<sup>93</sup> Карамзин не хотел печатать своей «Истории» без царствования Ивана Грозного, так как, по его словам, «тогда она будет, как павлин без хвоста». РО ИРЛИ. Архив Грота. № 15976. Л. 25.

<sup>94</sup> Там же. Т. IX. С. 503-504.

<sup>95</sup> Там же. Т. VIII. С. 104.

<sup>96</sup> Карамзин Н. М. Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице // Карамзин Н. М. Сочинения. Т. 1. СПб., 1848. С. 486-487, 498.

преступнику и Царству несчастному». Борис Годунов, «человеческою мудростию наделенный», стоявший «в глазах России и всех Держав, сносящихся с Москвой», на высшей ступени величия, но достигший престола злодейством<sup>97</sup>, ответственен за трагедию начала следующего века — трагедию Смуты. Нельзя не видеть, что Карамзин дал и Ивану IV, и Борису Годунову характеристики, несопоставимо более жесткие, нежели Робертсон — их западноевропейским современникам. Если после перечня имен европейских правителей Карамзин задавал риторический вопрос: «Но была ли счастлива Европа?»<sup>98</sup>, то правления российских царственных преступников не позволили ему сформулировать аналогичные вопросы относительно России.

В сложной композиции «Истории государства Российского» специфика XVI века определялась и персонажами «второго плана»: Сильвестром, Адашевым, Филиппом Колычевым. «Бессмертный Сильвестр», окончивший «дни свои в монастыре Соловецком, любимый, уважаемый Филиппом», беседами своими мог подготовить будущего митрополита, полагал Карамзин, «к великому его подвигу»<sup>99</sup>. Значимы не только личностные черты этих современников тирана; не менее важна та нравственная эстафета, которая позволяла их современникам не забывать о том, что добро есть добро, даже если никто не добр, согласно формуле И. Канта, чьи идеи, представляется, во многом определили творчество Карамзина<sup>100</sup>. Знакомая с трудами Робертсона и Карамзина, читатель видел предопределенность действий коронованных и некоронованных героев XVI столетия «духом века», т.е. сложившимися моделями поведения, страхами, иллюзиями, предрассудками общества той эпохи.

#### **Государство — церковь — гражданское общество**

*Тот век* для Робертсона — пресвитерианского священника — прежде всего век Реформации. В Шотландии религиозный разлом

<sup>97</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. С. 125, 261.

<sup>98</sup> Там же. Т. VII. С. 192.

<sup>99</sup> Там же. Т. IX. С. 105.

<sup>100</sup> Рудковская И. Е. Идеи И. Канта в историческом творчестве Н. М. Карамзина. // Историческая наука на рубеже веков. Материалы всероссийской научной конференции, посвященной 120-летию ТГУ. Томск, 1999. Т. I. С. 73-79.

вышел далеко за пределы противостояния государства и церкви, обусловив развертывание гражданской войны. По мнению Робертсона, невозможно на таком временном расстоянии, при столь отличающихся обстоятельствах представить себе силу того рвения против папизма, которое овладело нацией, как и тех воображаемых, лишенных всякого основания страхов и предосторожностей наиболее рьяных деятелей Реформации перед «вторгающимся и кровавым духом папства в тот век»<sup>101</sup>. Неслучайно в представленной Робертсоном во Введении к «Истории государственного императора Карла V» панораме европейских государств им в первую очередь была охарактеризована Папская область как уникальное политическое образование, где правили «Первосвященники могущественные», но «Государи мелкие», чье «участие в распрях Государей» привело к уменьшению «благоговения к священному их достоинству»<sup>102</sup>.

Реформация рассматривалась Робертсоном как «дивная переменная», вызванная «естественными и могущественными причинами», которая теперь, по отдаленности времени, кажется непонятной и странной<sup>103</sup>. Как и в исследовании по истории Шотландии, Робертсон подчеркивал совершенно иное отношение к религиозным вопросам в то время: «Сердца людей пылали такою ревностью к Вере, которая едва постижима в нашем веке»<sup>104</sup>. Особенностью того века, впрочем, естественной для религиозной страсти, была признана Робертсоном и совершенно неординарная быстрота распространения настроений<sup>105</sup>.

Историк стремился объективно отразить плюсы и минусы, высоту и слабости движения за реформирование церкви. В «Истории Шотландии», отмечая, что уничтожение Реформации в Европе было целью и желанием очень влиятельной партии, Робертсон признавал впечатляющим прогресс Папской Лиги, противостоявшей не слишком склонным к объединению протестантским правителям.

<sup>101</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 61-62.

<sup>102</sup> Робертсон В. История государственного императора Карла V. Т. I. С. 119-127.

<sup>103</sup> Там же. Т. IV. С. 246.

<sup>104</sup> Там же. Т. III. С. 38.

<sup>105</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. III. P. 2.

Робертсон признавал неизбежными и разного рода издержки при «важных переворотах в Вере», когда «великие предметы поражают душу и сильные страсти волнуют ее», и она способна выйти «из границ порядка и умеренности в своих действиях», что особенно часто происходит «в кругу людей непросвещенных, но страстных до невозможности»<sup>106</sup>. Робертсон подчеркивал многочисленность в *тот век* примеров неистовой и кровожадной воодушевленности, вдохновленной религией, как в стане католиков, так и среди их противников. Говоря об отказе Марии Стюарт слушать проповедников реформированной доктрины, историк делал вывод, что «дух этого суеверия, нерасположенного во *все времена* к веротерпимости, был в *тот век* неистовым и неослабевающим. Людям *того времени* в целом, по Робертсону, был незнаком дух веротерпимости и закон гуманности. Он отмечал, что те самые личности, которые только что вырвались из суровости церковной тирании, с непристойной поспешностью переходили к подражанию тем образцам строгости, против которой они сами столь справедливо выражали недовольство»<sup>107</sup>.

В этом отношении ситуация в России, по Карамзину, была принципиально иной. Историк отмечал, что иноземцы, «упрекая Россиян суеверием», хвалили их терпимость, неизменную, согласно летописям, «от времен Олеговых до Федоровых». По мнению Карамзина, даже если признать терпимость «единственно политической» добродетелью, среди ее следствий следует признать не только «земли разновременные и мир в землях», но и успехи в гражданском образовании<sup>108</sup>.

И в «Истории Шотландии» Робертсона, и в «Истории государства Российского» Карамзина сквозная рубрика “Church affairs” («Дела церковные») являлась значимым структурным элементом текста<sup>109</sup>. Правда, начиная с шестого тома «Истории государства

---

<sup>106</sup> Робертсон В. История государственного императора Карла V. Т. III. С. 57-67. Резко отрицательно им была охарактеризована здесь деятельность так называемых «перекрещенцев».

<sup>107</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. III. P. 39. V. II. P. 108, 32-33.

<sup>108</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. С. 312.

<sup>109</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. II. P. 137; V. III. P. 29, 16; Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. II. Гл. XIV, XVI; Т. III. Гл. VI; Т. IV. Гл. XI; Т. V. Гл. I-III.

Российского», эта рубрика вытесняется альтернативными формулировками, что вряд ли, однако, стоит связывать с преднамеренным стремлением «уделять поменьше внимания делам церковным»<sup>110</sup>. Триумф православной церкви монгольской эпохи как триумф института гражданского общества, обеспечивавшего населению большую защищенность, нежели та, которую могли предложить князья<sup>111</sup>, оказался в далеком прошлом: великие князья и цари московские брали реванш, что проявилось в ходе событий 5 января 1565 года, когда, по словам историка, Иван IV отнял у духовенства «святое право ходатайствовать не только за невинных, но и за виновных, еще достойных милосердия»<sup>112</sup>. Едиличное определение Иваном IV кандидатур на митрополичий престол в кровавые годы опричнины дополняли картину<sup>113</sup>.

На зависимое положение церкви Карамзин указывал и в связи с учреждением патриаршества в России, подчеркивая, что эта мера в исторической перспективе, в контексте событий при Никоне и Петре I — пусть и «важная церковная новость», но «бесполезная для Церкви и вредная для единовластия Государей»<sup>114</sup>. По мнению историка, «новая верховная степень в нашей Иерархии», степень Патриарха, была необходима прежде всего Борису Годунову в его честолюбивых замыслах: правитель «знал, что сей народ в случае важном обратит взор недоумения на Бояр и Духовенство». Поэтому, «свергнув Митрополита Дионисия за козни и дерзость», он возвысил «смиренного Иова, ему преданного», поставив во главе Патриаршества. Последующие события в полной мере оправдали ожидания Бориса Годунова: именно Иов сыграл главную роль в том политическом спектакле, который длился с января по август 1598 г.<sup>115</sup>.

В исследуемых текстах, таким образом, перемены внутри церкви и эволюция в государственной сфере представлены как

<sup>110</sup> Серман И. З. Литературное дело Карамзина. М., 2005. С. 275.

<sup>111</sup> Рудковская И. Е. Политический мир Древней Руси в главном труде Н. М. Карамзина // Диалог со временем. Вып. 17. 2006. С. 45.

<sup>112</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. С. 87.

<sup>113</sup> Там же. С. 104-107.

<sup>114</sup> Там же. Т. II. С. 126-137.

<sup>115</sup> Там же. Т. II. С. 248, 252, 255. Т. XI. СПб., 1824. С. 8, 20.

взаимосвязанные процессы. Робертсон акцентировал внимание на резком росте гражданской активности в деле переустройства церкви, в то же время подчеркивая значимость «стабильности системы религии и управления»<sup>116</sup>. Последний тезис, отражавший скорее современную шотландскому историку ситуацию, нежели реалии XVI века, был, без сомнения, созвучен размышлениям Карамзина, что сказалось и на его неоднозначной оценке последствий утверждения лютеранства<sup>117</sup>. В отличие от Робертсона, Карамзин анализировал взаимоотношения государства и церкви в эпоху еще не вполне проявившейся конфронтации, в стране, где политическая активность общества была несопоставимо ниже, нежели в странах, переживавших тогда Реформацию, где церковь оказалась один на один с государством. Тем не менее, в его труде презентация «дел церковных» близка работам шотландского историка и структурно, и с точки зрения ценностных суждений, что проявилось, в частности, в акцентированном внимании к проблеме толерантности, в неприятии использования церкви для достижения политических преимуществ.

Проведенный сравнительный анализ позволяет говорить о том, что историческое творчество Н. М. Карамзина несет в себе значительную печать влияния наследия В. Робертсона и в структурировании текста, и в решении важнейших проблем. Высокая степень совпадения хронологических координат трудов Робертсона и Карамзина, несмотря на различия в пространственных предпочтениях, предопределила очевидную сопоставимость изучавшихся ими политических процессов. Хотя исторические интересы и Робертсона, и Карамзина концентрировались преимущественно вокруг проблем XVI столетия, но в трудах Робертсона истории века предшествовали обстоятельные *обзоры* предшествующих столетий, а в «Истории государства Российского» изложение событий этого периода предварялось тщательным *исследованием* всего исторического пути Руси. Это в значительной мере было следствием субъективной готовности Карамзина посвятить многие годы созданию масштабной национальной истории, опирающейся на огромный

---

<sup>116</sup> Robertson W. The history of Scotland... V. I. P. 39.

<sup>117</sup> Карамзин Н. М. Истории государства Российского. Т. VII. С. 193.

пласт летописных источников, создаваемой с учетом богатого европейского опыта исторических исследований, ориентированной на широкую читательскую аудиторию.

Сопоставлявшиеся тексты позволяют говорить о высокой степени корреляции прошлого, настоящего и будущего, об использовании авторами экскурсов в предшествующие и последующие эпохи как необходимого при объяснении излагаемых событий структурного элемента. В работах В. Робертсона отчетливо выделены наиболее значимые финалы: казнь Карла I, события 1688 г. в Англии, поэтапное объединение Англии и Шотландии, современная ему система международных отношений в Европе. В труде Карамзина функцию финала выполняют события Смуты и церковные преобразования при Никоне и Петре I. Открыто ввести современность в итоговое заключение, как это сделал Робертсон в «Истории Шотландии», Карамзин не успел, но в предложенной им исторической реконструкции современные ему проблемы неизбежно анализировались на материале ушедшей эпохи, поскольку еще сохранялись основы той политической системы, которая складывалась в XVI веке.

Общий для двух исследователей интерес к особенному в истории обусловил богатство представленного читателям фактического материала, обилие рассуждений и ценностных характеристик, позволяющих судить о политических предпочтениях двух историков, о той аргументации, которая лежала в их основе. В качестве центральной в сопоставляемых текстах выступает проблема политической стабильности, которая определяет отношение историков к формам правления, проблеме престолонаследия, взаимоотношениям политического лидера и политической элиты, государства и церкви, к тому или иному герою их «Историй». Донесенная ими историческая память об исполненных кровопролития периодов преобладания аристократического элемента в политических системах разных стран склоняла чашу весов в пользу сильного монархического элемента, еще не исчерпавшего в Европе своего стабилизирующего потенциала.

## ИДЕИ ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА В РАКУРСЕ ПОНЯТИЯ «БИДЕРМАЙЕР»

Понятие «бидермайер» представляет собой культурно-исторический конструкт, возникший в 50-е гг. XIX в.<sup>1</sup> в Германии и спроецированный на эпоху между 1815–1848 гг. Оно обозначает, по мнению Ф. Зенгле, прежде всего «основное настроение» и «образ жизни», опосредованный материальными артефактами<sup>2</sup>. Историк В. Зиманн предлагает в качестве констант «бидермайера» такие характеристики как культурно-историческая окраска этого понятия, региональная специфика, равнодушие к вопросу национальности, конфессиональная составляющая, связь с народным просвещением и традициями XVIII века<sup>3</sup>. В статьях каталога выставки «Бидермайер. Изобретение простоты», наоборот, актуализируется связь понятия

---

<sup>1</sup> Термин «бидермайер» появился между 1855–1857 гг. на страницах еженедельника «Флигенде Блэттер» (Fliegende Blätter). Врач Адольф Куссмауль и юрист Людвиг Айхрод опубликовали на его страницах рассказ о вымышленном школьном учителе и поэте Вайланде Готтлибе Бидермайере и его ненаполненной событиями повседневной жизни. В российских исторических обобщающих работах это понятие упоминается крайне редко (см., напр.: *Патрушев А. И.* Германская история. М., 2003. С. 82). Но в последнее время российские искусствоведы пытаются нащупать параллели в развитии русской живописи с феноменом «бидермайера» (*Markina L.* “Kinder des Jahres 1821” Die russische Malerei der Romantik und des Biedermeier // *Russlands Seele. Ikonen, Gemaelde, Zeichnungen aus der Tretjakow-Galerie Moskau. Katalog einer Ausstellung 16.Mai bis 26.August. Bonn, 2007*). Обсуждаются междисциплинарные аспекты этого явления на международных конференциях (например, «Бидермайер и Vormaez: дискуссия об определении эпох». Июнь 2008, РГГУ, Москва).

<sup>2</sup> Подробнее об этом: *Sengle F.* Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution. 1815–1848. 3 Bde. Stuttgart, 1971–1980.

<sup>3</sup> *Siemann W.* Das "System Metternich" und die "Aera Metternich" zwei fragwürdige Epochenbegriffen? // *Deutsches Historisches Institut Moskau. Bulletin Nr. 3.*



«бидермайер» с процессом формирования нации<sup>4</sup>, импульсом которого, по мнению авторов, стали наполеоновские войны, что заставляет говорить о немецком и австрийском «бидермайере». Нельзя упускать из виду факт развития данного феномена на фоне крушения транснациональной Священной римской империи германской нации, а также необходимо учитывать существование транснациональной монархии Габсбургов и видеть роль Германского союза, ставшего полем для развития австро-прусского дуализма.

Содержанием эпохи «бидермайер» является, прежде всего, частная жизнь, актуализирующая историческую память поколений, традицию, культурные воспоминания, что находит легитимизацию в истории и является целью романтического историзма. Яркое воплощение «бидермайер» нашел в изобразительном искусстве, стиле мебели и одежды, отчасти в литературе и образе жизни, который ассоциируется как с приятным и уютным времяпрепровождением аристократии, так и с девизом «быстро и дешево», отражавшим ценности средних слоев<sup>5</sup>. Влияние культурной составляющей на общее понимание и определение периода 1815–1848 гг., который в немецкой исторической обобщающей литературе чаще всего обозначают в рамках линии политического развития Германии как периоды Реставрации и *Vormärz* («предмартовский период»)<sup>6</sup>, необходимо воспринимать также как серьезную методологическую проблему, отражающую связь «между историей идей или идейных систем, с одной стороны, и историей всего комплекса социальных условий интеллектуальной деятельности, с другой»<sup>7</sup>. Попытаемся выяснить, каким образом понятие «бидермайер» нашло отражение в творчестве выдающегося немецкого ученого, политика, дипломата, либерального мыслителя, основателя Берлинского университета Вильгельма фон Гумбольдта.

---

<sup>4</sup> Häusler W. Versuch über die Einfachheit oder: die Ordnung der Vielfalt in Politik, Bildung und Kunst der Buergerliche Gesellschaft // Biedermeier. Erfindung der Einfachheit / Hrsg. v. H. Ottomeyer, K. A. Schröder, L. Winters. Ostfildern, 2006. S. 103-105.

<sup>5</sup> Ottomeyer H. Der Erfindung der Einfachheit // Biedermeier. Erfindung der Einfachheit. S. 44-54.

<sup>6</sup> См., напр.: Deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart / Hg. v. M. Vogt. Frankfurt/Main, 2002.

<sup>7</sup> Ретина Л. П. Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи // Диалог со временем 22 (2008). С. 5.

Вся жизнь Вильгельма фон Гумбольдта, старшего брата великого ученого-естествоиспытателя Александра, была связана с Пруссией, где он родился и погребен и которой служил как государственный деятель. В конце XVIII – начале XIX в. в Пруссии утверждается новая философская парадигма, которая характеризуется отказом от рационализма и пробуждением интереса к традиции. Принципы рационализма были поставлены под сомнение уже Кантом и Гердером, а Ф. Шиллер, размышляя о значении изучения всеобщей истории, подчеркивал самоценность прошлого как преддверия настоящего. Интерес Вильгельма фон Гумбольдта к традиции мы можем обнаружить уже в его ранней работе «Идеи конституционного государственного устройства в связи с новой французской конституцией (из письма к другу, август 1791 г.)»<sup>8</sup>. В 1791 г. Гумбольдт женился на Каролине Дахерёден и погрузился в частную семейную жизнь. Но, уйдя с государственной службы, он продолжал размышлять о государстве и опубликовал анонимно эту статью.

Антирационалистический дискурс в данном сочинении проявился очень ярко: «Не сможет удасться ни одна государственная конституция, которая создает государство по заранее намеченному плану как бы с самого начала; может удасться только такая конституция, которая возникла в результате борьбы более мощного случая с противостоящим ему разумом», — писал Гумбольдт<sup>9</sup>. Автор распространял подобный подход на любые практические мероприятия. Он не утверждал, что принципы французской конституции 1791 г. являются спекулятивными, т. е. не предполагающими осуществления, но подчеркивал: «нельзя давать уроки анатомии на живом теле», а «государственные конституции нельзя навешивать на людей как побеги на деревья, там, где предварительно не поработали время и природа»<sup>10</sup>. Автор вопрошал, является ли французская нация достаточно подготовленной, чтобы принять новую государственную конституцию? «Никогда никакая нация не может быть достаточно зрелой для государственной конституции, систе-

---

<sup>8</sup> Гумбольдт В. фон. Идеи конституционного государственного устройства в связи с новой французской конституцией // О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М., 1995. С. 184-189.

<sup>9</sup> Там же. С. 184.

<sup>10</sup> Там же. С. 186.

матически разработанной только по принципам разума», — отвечал Гумбольдт и добавлял, что «венки в состоянии сплести лишь память, соединяющая прошлое с настоящим»<sup>11</sup>.

Поиск формулы взаимодействия традиции и разума заставил Гумбольдта задуматься об идеале государства, и основу такого идеала он увидел в сфере антропологии: в пробуждении чувства внутреннего достоинства человека, которое отождествлялось со свободой<sup>12</sup>.

В этом небольшом сочинении мы видим апелляцию автора к чувству внутреннего достоинства человека, обнаруживаем вектор поиска краеугольного камня будущей политической концепции автора именно в утверждении ценностей индивидуума. В немецкой историографии существует довольно любопытная интерпретация этого сочинения Гумбольдта: обращение к чувствам человека отождествляется С. Кэлером с образами из эротической сферы, так как они, по мнению историка, играли очень большую роль в становлении его характера и были своеобразным «мостом» к реальной жизни. Привлекаемый ими, мыслитель покидал абстрактный мир книг<sup>13</sup>. Но, размышляя о французской конституции 1791 г., он обращал внимание не только на значение индивидуальности, как утверждал Кэлер<sup>14</sup>, но также и на роль традиции, преемственности в ходе реформирования политического ландшафта и осуждал ярко выраженный рационалистический заряд французского основного закона, где нет места чувству.

Работа Гумбольдта «О пределах деятельности государства» (1792 г.), с одной стороны, резко диссонирует с предыдущим сочинением, поскольку умозрительность можно назвать ее основной особенностью, ведь автор заявлял, что «идеал всегда должен жить в душе творца как недостижимый образец»<sup>15</sup>. Но с другой стороны, Гумбольдт проявил потенциал глубокого мыслителя и поставил вопрос о применении изложенной теории к действительности, точ-

---

<sup>11</sup> Там же. С. 187.

<sup>12</sup> Там же. С. 188-189.

<sup>13</sup> *Kaehler S.* Wilhelm von Humboldt und die Staat. Göttingen, 1963. S. 67.

<sup>14</sup> *Ibid.* S. 69.

<sup>15</sup> *Гумбольдт В. фон.* О пределах деятельности государства. М., 2003 С. 171.

нее — о мере соответствия теоретических заготовок реальным политическим изменениям. Высшим мерилom он объявил индивидуальность, внутреннее «я» человека. В этих рассуждениях автор поднялся на уровень осмысления истории человеческого сообщества, показывая благотворное действие этой внутренней силы и, по сути, утверждая идею общественного прогресса. Но и за этими несколькими теоретическими рассуждениями просматривается другой Гумбольдт — четкий и прагматичный политик. Он вывел эту проблему на уровень взаимодействия рационализма и традиции в процессе реформаторской деятельности. Поэтому необходимо, как отмечал мыслитель, иметь «две вещи в виду: 1) чистую теорию, развитую до мельчайших подробностей; 2) современное положение вещей, которое ему надлежит переработать». Но чтобы начать преобразования, нужно «поскольку возможно начать реформу с образа мыслей людей»<sup>16</sup>. Таким образом, гумбольдтовский идеал образования и актуализация гуманности и индивидуальности, ставшие визитной карточкой великого реформатора, нашли воплощение в понимании феномена государства. Мы уже отмечали, что повышенное внимание к образованию — одна из важных характеристик «бидермайера».

В годы создания этих сочинений Гумбольдт отказался от карьеры чиновника, был счастлив в браке и наслаждался частной жизнью, которую, впрочем, нельзя назвать существованием обывателя, так как она была наполнена интенсивным общением с великими Гете и Шиллером. С 1802 по 1808 гг. он — посланник прусского двора в Риме, но эта служба не слишком напрягала его приватное времяпрепровождение. Только после катастрофы Пруссии под Йеной и Ауэрштедтом (1806 г.) Гумбольдт проявил себя на государственной службе. Ему поручили департамент просвещения, и он начал активную деятельность по реформированию школьного и университетского образования, а в 1810 г. основал Берлинский университет. Деятельность Гумбольдта на этом поприще также вполне вписывается в одну из характерных для понятия «бидермайер» констант — связь с народным просвещением. Этот ракурс можно обнаружить и в литературе периода 1815–1848 гг. Так, в

---

<sup>16</sup> Там же. С. 177, 175.

романе Е. Т. Гофманна «Мастер Иоханес Вахт» потребность обывателя в образовании показана очень ярко.

Краеугольным камнем гумбольдтианского университета стали принципы академической свободы и единства исследования и преподавания. Такой университет был свободен как от влияния церкви, так и от государственной опеки в сфере науки и образования и организован как привилегированная корпорация на основе самоуправления. Следует иметь в виду, что средневековый университет также придерживался корпоративного порядка, но его научная и педагогическая неэффективность привели к закрытию многих учебных заведений такого типа и созданию высших школ под патронажем государства (особое распространение этот процесс получил во Франции). В университете Гумбольдта академическая свобода понималась как право профессоров выбирать предметы для изучения без ограничения со стороны стандартных программ. Но, признавая индивидуальное стремление к познанию и свободу науки, Гумбольдт сформулировал главную преференцию университетского образования, утверждая, что «умственная деятельность в человеке развивается только как совместная деятельность»<sup>17</sup>. Поэтому необходимо наладить диалог между университетскими исследователями и преподавателями с одной стороны и студентами с другой. Студент в рамках обучения должен не столько овладеть готовым знанием, сколько развивать самостоятельность мышления и быть дополнительной инстанцией для проверки тезисов преподавателя-исследователя.

В. Гумбольдт четко указал, где пролегает граница между школой и университетом. Гумбольдтианская модель университета зиждется на единстве исследования и преподавания, поэтому он является исследовательским центром. Именно это станет главной особенностью «немецкого классического университета»: там отныне будут процветать академические дисциплины. Философия превращалась в своеобразного арбитра для остальных дисциплин, поскольку именно она способна была в методическом плане систематизировать научное познание в целом. Философский факультет в

---

<sup>17</sup> Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине // Неприкосновенный запас. 2002. № 2 (22). <http://magazines.russ.ru/nz/2002/22>

ходе реформ полностью сравнился по статусу и оплате профессуры с другими университетскими факультетами: он мог присваивать высшие университетские степени, т. е. стал выпускающим, а не подготовительным как прежде. Государство, должно было, по мнению Гумбольдта, оказывать университету финансовую поддержку, а также его прерогатива — назначение университетских преподавателей<sup>18</sup>. Безусловно, это нарушает принципы самоуправления, но защищает свободу, поскольку сохраняет столь важное для индивидуума стремление к разнообразию.

Образовательная концепция Гумбольдта и его реформа образования воплощают идеи неогуманизма. Именно в таком аспекте рассматривается творчество Гумбольдта в работах Э. Шпрангера<sup>19</sup>. В них автор большое внимание уделил анализу учебных планов гимназий и сделал вывод о приоритете для Гумбольдта классического образования, и прежде всего, изучения греческого языка и греческих классиков<sup>20</sup>. Шпрангер трактовал идею гуманности как момент связи между индивидуальным и всеобщим, что, по его мнению, и открывало путь к формированию личности<sup>21</sup>. Необходимо отметить, что дух неогуманизма фигурирует в качестве характеристики понятия «бидермайер» в статье В. Хейслера «Опыт простоты: или порядок многообразия в политике, образовании и искусстве гражданского общества»<sup>22</sup>. Дух неогуманизма также присутствовал в творчестве Вильгельма фон Гумбольдта в связи с его огромным интересом к античной Греции. Он считал, что принципы, поощряющие воспитание человека как целостного существа, были открыты греками, а затем унаследованы европейской системой образования. По мнению Гумбольдта, задача немцев — дальше развивать культурные достижения греков, а воодушевление греческим духом охраняло бы прогрессивное развитие немцев<sup>23</sup>. Именно с целью укоренения на не-

---

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> *Spranger E.* Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. Berlin, 1909; *Idem.* Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens. Berlin, 1911.

<sup>20</sup> *Ibid.* S. 250.

<sup>21</sup> *Spranger E.* Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee. S. 492.

<sup>22</sup> *Häusler W.* Op. cit. S. 110-111.

<sup>23</sup> *Humboldt W. v.* Über das Studium des Altertums, und des Griechischen insbesondere // *Sämtliche Werke. Schriften zur Altertumskunde. Übertragungen.*

мецкой почве греческого духа Гумбольдт много занимался переводами с греческого. Ему принадлежат переводы эхилловского «Агамемнона» и од Пиндара<sup>24</sup>. Тексты Пиндара признаются специалистами очень сложными, что является свидетельством неординарных лингвистических способностей немецкого ученого.

В 1813–1819 гг., когда Гумбольдт продолжал активно себя проявлять на государственном поприще, появились его важнейшие политические произведения, в которых нашли отражение взгляды на объединение Германии и формирование немецкой нации, а также отношение к главной политической составляющей нации — конституции. Вопрос о характере отношения понятия «бидермайер» к национальности связан, на наш взгляд, с существованием региональной специфики. Если в исследованиях В. Зиманна, которые проводились на австрийском материале и посвящены в значительной мере личности Меттерниха, просматривается равнодушие к этому вопросу, то в Пруссии наблюдалась иная ситуация. Это связано, прежде всего, с тем, что дальнейшее развитие национального (немецкого) вопроса пошло по малогерманскому пути, который не предполагал включение территорий Австрийской империи в единое немецкое государство. В. Гумбольдт проявлял огромный интерес к созданию единого государства. Именно на Венском конгрессе обсуждался представленный Гумбольдтом план немецкого единства.

В декабре 1813 г. он написал подробную докладную записку барону фон Штейну о Германской конституции, которую вполне можно назвать меморандумом, так как автор не просто радовался разрушению Рейнского союза, но предлагал хорошо продуманный проект объединения Германии<sup>25</sup>. Главным аргументом в пользу единства политик считал не только необходимость защититься от Франции, но полагал, что «...немецкая нация должна быть свобод-

---

7 Bde. Mundus Verlag, 1999. Bd. 2. S. 7-24; подробнее см.: Yavetz Z. Zeitgeist und deutsche Althistoriker in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sonderdruck des Instituts für Deutsche Geschichte, VII, 1978. Universität Tel-Aviv. S. 256-258.

<sup>24</sup> Humboldt W. v. Aeschylus Agamemnon // Ibid. S. 130-212; *Idem*. Übersetzte Pindarische Oden // Ibid. S. 213-283.

<sup>25</sup> Humboldt W. v. Denkschrift über die deutsche Verfassung an den Freiherrn vom Stein // Humboldt W. von. Sämtliche Werke. In 7 Bde. Berlin, 1999. Bd. 7. S. 7-25.

ной и сильной, ...так как только сильная в глазах других нация сохраняет в себе дух, из которого проистекают все ее внутренние действия; быть сильной и свободной, чтобы поддерживать чувство собственного достоинства, спокойно и без помех отстаивать свое национальное развитие и занять достойное место среди других европейских наций»<sup>26</sup>. Основы единства Гумбольдт видел не только в общих нравах, языке, литературе, но подчеркивал значение воспоминаний об общих правах и свободах, о совместной борьбе с опасностями, которые создавали связь между отцами и сохранились в памяти внуков. Мыслитель объяснял столь затянувшуюся раздробленность Германии страхом перед нарушением европейского равновесия, а также существованием австро-прусского дуализма, вредившего делу становления немецкой нации<sup>27</sup>.

В теоретическом плане индивидуум был исходным пунктом размышлений Гумбольдта о нации. Он рассматривал ее как момент связи между индивидуумом и человеческим родом в целом, поэтому объединение вело, по его мнению, к полному развитию всех сил личности, и он выдвинул лозунг: «Одна нация, один народ, одно государство»<sup>28</sup>.

Таким образом, мы видим, что Гумбольдт не подвергал сомнению необходимость объединения, он только задавался вопросом, как Германия это должна сделать. В его представлении, восстанавливать старое имперское устройство было бы очень нежелательно, но под старым именем нужно создать новое политическое единство. Достигнуть этого можно двумя путями: создать реальную конституцию (*wirkliche Verfassung*) или только один союз (*einen blossen Verein*). Различия между ними в том, что в конституции исключается улаживание противоречащих друг другу прав отдельных частей Германии, которые в рамках союза урегулировались выступлением всех против нарушителя. Бесспорно, конституция предпочтительнее союза: она торжественнее, носит ярко выраженный обязательный и постоянный характер, но конституции принадлежат к вещам, которые присутствуют в жизни, они видимы, но их происхождение вовсе не раскрывается. Каждая

---

<sup>26</sup> Ibid. S. 8.

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Ibid. S. 9.



конституция рассматривается как теоретическая материя, она должна черпать жизненные силы для своего роста во времени, обстоятельствах, национальном характере, который нуждается в развитии, а оно в свою очередь основано на принципах разума и опыта<sup>29</sup>. Мы можем заметить, что Гумбольдт, как и в своих ранних политических произведениях, настаивал на взаимодействии рационализма и традиции. Он писал: «Все конституции, отличавшиеся долговечностью, соответствовали форме своего времени, с которыми они объединялись и легко могли бы оказаться историческими. Но теперь в нашем времени не существует формы, которая бы могла стать основой для устройства Германии; более того, все так называемые конституции вследствие жалкого состояния и хрупкости, которые со времен Французской революции повторялись до отращения, попали в правовом плане в неблагоприятную ситуацию»<sup>30</sup>. Поэтому Гумбольдт полагал, что в данный момент прежде всего нужно стремиться к созданию Союза государств, а не к принятию конституции. Автор не просто голословно призывал к его созданию, он в данном меморандуме определил, на каких принципах Союз должен быть создан и как будет выстроена компетенция центральной власти. Так, поскольку в состав Союза должны войти отдельные государства, необходимо, чтобы среди них крупных насчитывалось не более четырех или пяти<sup>31</sup>.

Предлагаемый Гумбольдтом Союз предусматривал свободное и равное объединение суверенных правителей, его цель — обеспечение спокойствия, независимости Германии и безопасности, основанной на законах отдельных немецких государств. Гарантии существованию Союза обеспечиваются крупными государствами Европы — Россией и Англией, а гарантии взаимных прав отдельных немецких государств обеспечиваются Австрией, Пруссией, Баварией, Ганновером, которые обладают в этом вопросе абсолютно равными полномочиями<sup>32</sup>. Предусматривалось, что этот Союз «заключен на вечные времена, и каждая его часть отказывалась от права, когда-либо из него выйти»<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> Ibid. S. 10.

<sup>31</sup> Ibid. S. 12.

<sup>32</sup> Ibid. S. 13-14.

<sup>33</sup> Ibid. S. 14.

Условия существования данного образования касались таких важных предметов, как внешнее, внутреннее государственное право и законодательство. К внешнему праву относилась обязанность каждого правителя заботиться о безопасности их общего отечества и предоставлять в распоряжение Союза воинские контингенты, но правом объявления войны и заключения мира обладали только Австрия и Пруссия. Гумбольдт объяснял это тем, что только они были самостоятельными субъектами европейской политики<sup>34</sup>. Оговаривалось, что в результате заключения мирных конвенций не должны нарушаться права отдельных немецких государств<sup>35</sup>. В разделе «Внутреннее государственное право» данного меморандума речь шла о создании или возрождении сословных представительств в каждом государстве Союза. Отдельно отмечалось, что они не должны рассматриваться как противовес правительству против его вторжения в частные права, а призваны способствовать развитию чувства самостоятельности нации и поэтому теснее взаимодействовать с правительством<sup>36</sup>.

Мы видим, что присутствующий в теории и практике раннего либерализма немецкого Юго-Запада дуализм между правительством и представительством у Гумбольдта отсутствует. Он несколько иначе понимал назначение этого органа, что, на наш взгляд, определяется особенностями Пруссии, где традиционно сильным было государство именно в его бюрократическом, управляющем варианте. Но Гумбольдт не призывал к созданию единообразных представительств в каждом немецком государстве, он считал, что нужно лишь выработать общие принципы, а разнообразие, соответствующее традициям каждого региона, пусть сохранится, так как отрицание своеобразия «принадлежит к опаснейшим приемам, которые могут возникать из-за неправильного понимания соотношения теории и практики»<sup>37</sup>. Однако Гумбольдт осознавал, что вмешательство правительства в дела сословного представительства должно находиться под контролем четырех крупных немецких государств.

---

<sup>34</sup> Ibid. S. 15.

<sup>35</sup> Ibid. S. 16.

<sup>36</sup> Ibid. S. 18.

<sup>37</sup> Ibid. S. 18.

В документе также показаны особенности организации гражданского и уголовного процесса в немецких государствах, входящих в Союз, провозглашается свобода передвижения граждан, запрещается высылка преступников, бродяг и подозрительных лиц<sup>38</sup>. Особое внимание Гумбольдт обращал на право граждан обучаться в любом немецком университете, подчеркивая, что именно от этой свободы зависит прогресс гуманитарного образования во всей Германии, «также это необходимо и с политической точки зрения»<sup>39</sup>.

Созвучные идеи мыслитель высказывал в работе «Размышления о всемирной истории» (1814 г.). Одним из итогов его рассуждений стал тезис «нация также является индивидом», а «человек по своей природе интеллектуален», поэтому он назвал три силы, «определяющие судьбы человеческого рода — это рождение, воспитание и инерция», но особое значение отводил воспитанию<sup>40</sup>. Таким образом, мы видим, что и в столь официальном меморандуме Гумбольдт нашел место для утверждения своих антропологических идей. Конечно, он как дипломат был втянут в споры о компетенции четырех крупных государств Союза. В письме к Гентцу Гумбольдт размышлял, почему Ганноверу не может быть предоставлено право принимать участие в решении вопросов войны и мира, деликатно указав на его унию с Англией. Также ему пришлось отметить, что не стоит уделять много внимания противоречиям между средними и малыми немецкими государствами — членами Союза — и прежде всего необходимо отстаивать идею создания Союза без высшей власти, но основанного на соответствующем договоре<sup>41</sup>.

Акт об устройстве Германского союза обрел более совершенную юридическую форму в проекте, представленном Венскому конгрессу на французском языке<sup>42</sup>. В данном документе те идеи, которые волновали Гумбольдта прежде, нашли четкое юридиче-

---

<sup>38</sup> Ibid. S. 20-21.

<sup>39</sup> Ibid. S. 22.

<sup>40</sup> Гумбольдт В. фон. Размышление о всемирной истории // *Он же. Язык и культура* / Под ред. А. В. Гулыги и Г. В. Рамишвили. М., 1985. С. 284-286.

<sup>41</sup> Humboldt W. von. An Gents über die deutsche Verfassung // Ibid. S. 23-25.

<sup>42</sup> *Idem*. Constitution Germanique, 1814. Bases qui pourraient servir de norme au comité qui sera chargé de la rédaction de la constitution Germanique // Ibid. S. 26-32.

ское оформление. Цели Союза, его состав, особенности внешней политики совпадают с изложенными в меморандуме. Но здесь Гумбольдт показал, как будет организовано управление. В качестве дополнения к Акту Гумбольдт подготовил еще один документ «Изложение прав всех немецких подданных вообще, а также вассальных принцев и графов в частности», где речь шла о правах и свободах граждан, которые не просто декларировались, но и гарантировались. Но представленный им вместе с Гарденбергом план объединения Германии на Венском конгрессе благодаря активному противодействию Меттерниха потерпел фиаско, не увенчались успехом и переговоры по поводу уступки Германии Эльзаса. Вместо единого государства возникла рыхлая конфедерация — Германский союз, основы устройства которого были урегулированы Союзным актом.

Столь тщательная проработка вопроса создания единого немецкого государства при соблюдении важнейших принципов гражданского общества позволяет обозначить позицию В. Гумбольдта как компромисс «бидермайера», примиряющий импульс освободительных (антинаполеоновских) войн к единству нации с королем и отечеством<sup>43</sup>. Обращение мыслителя к вопросу национальности, связано и с его интересом к реформе образования, поскольку он хотел распространить образованность на всю массу нации.

Вопрос о политической суверенности нации заставил В. Гумбольдта рассуждать о цензуре, он высказался против очень жесткого контроля, однако признал целесообразным «подчинить писателей, издателей и типографии (так как все они принимают участие в процессе публикации) действительной цензуре (*wirkliche Censur*)<sup>44</sup>. Конечно, Гумбольдт призывал к контролю за государством с помощью общества, но понимал всю двойственность своих рассуждений и писал: «...невозможно, чтобы существовавшее до сих пор законодательство достаточно было бы приспособлено к новым целям, поэтому оно должно только приспособливаться»<sup>45</sup>. Об общественном мнении он практически в этой связи серьезно и не упоминал, что выглядит довольно странно, так как именно об-

<sup>43</sup> Häusler W. Op. cit. S. 109.

<sup>44</sup> Ibid. S. 40.

<sup>45</sup> Ibid. S. 37.

щественное мнение обычно является гарантом свободы печати<sup>46</sup>. Необходимо также отметить, что обнаруженная непоследовательность в решении вопроса о свободе печати, связана с кредо Гумбольдта, смысл которого — взаимодействие традиции и новации. Обстоятельства прусской реальности эпохи Реставрации, заставляли его обращаться к константам «бидермайера», поэтому он все сильнее акцентировал традиционное в политических идеях, что заслоняло ростки нового. Но новое, правда, в несколько иных ипостасях все же «прорастало».

Одна из последних политических работ мыслителя на эту тему — записка барону фон Штейну, тогдашнему государственному министру, от 4 февраля 1819 г. «Об учреждении земельных сословных конституций в прусских государствах»<sup>47</sup>. В ней Гумбольдт рассуждал о целях сословно-земельных учреждений, об их формировании и деятельности и о том, как их следует вводить. Сословно-земельное устройство в Пруссии должно в его представлении развиваться в рамках столь любимого им тандема «традиция — новация». Он писал: «есть старое и мудрое правило, что новые мероприятия и учреждения должны примыкать к существующим для того, чтобы укорениться в качестве родных и отечественных»<sup>48</sup>. Новейшие конституции, по его мнению, не годятся для прусского варианта, сущность английской невозможно копировать, Американская вообще не имела перед собой ничего традиционного, а Французская разрушила все традиции, и этот образец не следует использовать. «В Германии продолжает сохраняться много старого, что не нуждается в упразднении и что не может быть упразднено без значительной утраты при этом глубокого нравственного смысла»<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> См. об этом подробнее: *Ростиславлева Н. В.* Политическая пресса в немецком герцогстве Баден в 20-30-е годы XIX века // *Европейский альманах. История, традиции, культура.* М., 2003. С. 96.

<sup>47</sup> *Humboldt W. von.* Über die Einrichtungen landständischer Verfassungen in den preussischen Staaten // *Ibid.* S. 105-154. На русский язык переведены фрагменты этой работы. См.: *Гумбольдт В. фон.* Об учреждении земельных сословных конституций в прусских государствах // *О свободе.* Антология. С. 190-197.

<sup>48</sup> *Ibid.* S. 112.

<sup>49</sup> *Ibidem.*

В 1819 г. в знак протеста против принятия Союзным сеймом Карлсбадских решений, вводивших в Германском союзе ограничения свободы, В. Гумбольдт покинул государственную службу. Хаген Шульце в статье «Гумбольдт и парадоксы свободы» увидел в постигшей его неудаче в политике парадигмальные черты, которые могут быть объяснены лишь с позиций сегодняшнего дня. Гумбольдт стоит, по мнению Шульце, «у истоков современной просвещенной Европы, где индивидуальная свобода, как и свобода наций, является предвосхищением нового столетия...»<sup>50</sup>. Арнольд Ибинг предложил интерпретацию политических взглядов Гумбольдта в контексте идей одного из создателей вальдорфской педагогики Рудольфа Штайнера, обращая внимание, прежде всего, на связь в государственной концепции создателя Берлинского университета внешней деятельности с непосредственным участием души. Подчеркивая глубокое противоречие государственного интереса с внутренним участием, автор утверждает, что Гумбольдт видел возможность его преодоления только в сфере образования<sup>51</sup>.

После отставки В. фон Гумбольдт посвятил себя изучению философии языка и большую часть времени проводил в своем имении в Тегеле, что рядом с Берлином. Интерьеры этого дома соответствовали стилистике «бидермайера»<sup>52</sup>, а интерес к науке, образованию, принципам формирования традиции, проснувшаяся религиозность<sup>53</sup> позволяют утверждать, что дискурсы культурно-исторической категории «бидермайер» встроены в интеллектуальную биографию выдающегося немецкого мыслителя первой половины XIX в. Вильгельма фон Гумбольдта.

---

<sup>50</sup> *Schulze H.* Humboldt oder das Paradox der Freiheit // Wilhelm von Humboldt Vortragzyklus zum 150. Todestag. Berlin; N.Y., 1986. S. 167.

<sup>51</sup> *Ibing A.* Neuorientierung des Staatsbewusstseines. Die Staatsauffassung Wilhelm von Humboldts und die Erweiterung ihrer Anregungen durch Rudolph Steiner. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien Universitaet Berlin, 1979. S. 192-194.

<sup>52</sup> См об этом подробнее: *Berglar P.* Wilhelm von Humboldt. Hamburg, 1996; *Hempel H.* Wilhelm von Humboldt und die Berliner Gesellschaft. Berlin, 1968.

<sup>53</sup> См. об этом подробнее: *Bruford W. H.* The German Tradition of self Cultivation. "Bildung" from Humboldt to Thomas Mann. Cambridge, 1975.

# SUMMARIES

---

*I. M. Savelyeva, A. V. Poletaev*

## **'Elevation of history to the rang of science'**

The authors celebrate the 200<sup>th</sup> anniversary of I.G. Droysen by describing his life and relationships with other German historians of the 19<sup>th</sup> c. (in particular, with L. von Ranke). They analyze Droysen's role in developing a number of fields of historical knowledge and theory of history. The study is focused on his 'Grundriss der Historik' and 'Encyclopedia and methodology of history'. It is shown that Droysen's views are close to contemporary ideas of correlation between historical experience and the present, between historical knowledge and the reality of the past, of the role of historical sources, of scientific character of historical knowledge and its influence over one's self-identification.

*I. I. Kolesnik*

## **Intellectual community: network analysis**

The article shows numerous approaches to studying intellectual communities that are being used by Russian, Ukrainian and Western scholars. The author analyses terminology and offer a number of suggestions on how these approaches could be used to study intellectual communities in modern Ukraine. A good deal of attention is paid to network analysis.

*N. N. Alevras, N. V. Grishina*

## **A Historian at crossroads: academic community in 1917**

The authors study the impact of the events of 1917 on the professional community of Russian historians. The article demonstrates a range of historians' reactions to changes that had been taking place as well as numerous ways of adjusting to new historical reality.

*A. V. Stogova*

## **Friendly letters in French letter-writing manuals of the late 16<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> cc.**

The article is a study of rarely used sources of the history of French culture of the late 16<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> cc., namely, the letter writing manuals of the time. The author presents a new view on the developments of these manuals during the period, as well as on the changes in writing models which were offered by these texts.

*I. N. Ionov*

## **Imperial / Colonial component of civilization theories in 16<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> cc.**

The author analyses views of a well-known German scholar J. Osterhammel on chronological limits of the domination of 'orientalism' in European philosophy of history. He shows that attempts to limit this phenomenon to the 19<sup>th</sup> c. and to contrast it with the universalism of the 18<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> cc. are not fully justified. On one hand, imperial / colonial discourse first got shape in the mid-18<sup>th</sup> century on the base of universalism. It could be seen in works

by Voltaire, Hume, Ferguson and quickly turns into a norm. On the other hand, in the 19<sup>th</sup> century this discourse faced resistance both in Europe (in Slavic countries) and in Asia (since 1880s).

*V. Yu. Aprytshenko*

**The power of symbols or symbols of power in Scotland  
in the first half of the 19<sup>th</sup> century**

The article is focused on the evolution of the symbols of Scottish state and national identity that had been taking place in connection with changes in Scotland's status within Great Britain.

*O. Yu. Kazakova*

**“Muse serving the idol of utility”: American theme in Russian and  
French poetry of 1850–60s (comparative analysis)**

The article deals with the interpretations of the images of America in Russian and French poetry of various ideological and esthetical trends: in works by Romanticists, liberals, democrats, traditionalists and modernists. It is shown how the image of the USA has been changed in the process of modernization (from that of exotic periphery to one of the centres of modernization) in correlation with political and social changes that were taking places in Russia and France. The author concludes that the ways of representing the USA were similar in Russia and in France although in France this image was more detailed and attracted attention of famous poets (V. Hugo, C. Bodlaire, C. Leconte de Lisle). At the same time the mid-19<sup>th</sup> century Europe did not have a comprehensive and meaningful image of the USA. It could be explained by the social evolution of the poets' audience and its needs.

*V. I. Zhuravlyeva*

**The image of Russia in the representations  
by American caricaturists of the early 20<sup>th</sup> c.**

The article presents a deep and comprehensive analysis of the early 20<sup>th</sup>-century American caricature. At that time the Western view of Russia was changing dramatically as a result of the rise of Russophobia as well as of the influence of imperialist tendencies linked with modernization and the revolution of 1905–07. The evidence supports the wide-spread opinion according to which the image of Russia as the ‘Other’ played an important role in the self-identification of the West. The author shows coexistence and alternative re-actualization of the two views of Russia: demonizing it (because of Russian expansion to the Far East and Jewish pogroms) or romanticizing it (in connection with its modernization, as well as the revolution of 1905–07 and the emergence of the State Duma). It is interesting that Russia as barbarous country was contrasted with Japan that was seen as an Oriental version of Yankee. The attitude towards Russians had changed during the years of the revolution since hopes of democracy were replaced by the fear of revolutionary violence. The author emphasizes positive images of some Russian officials (Vitte in particu-



lar). She concludes that in the early 20<sup>th</sup> century one could see a n image of Russia as a 'dark twin' of the USA, its evil 'Other' that could strengthen Americans' positive self-identification.

*A. S. Usachev*

**Methods of work of an Old Russian scholar and the problem of the authorship of the Royal Book of Degrees (Part I)**

The article deals with new ways of solving the problem of the authorship of the 'Royal Book of Degrees' ('Stepennaya kniga'). The author analyzes historiography as well as the methods of work used by a Russian scholar. In the first part the author focuses his attention on the ways of representing the key historical figures, the role of chronicles, and on the correlation with the hagiographical tradition of the age of Makary (the three-part structure: a life — eulogy — miracles). A. S. Usachev reaches a conclusion that it is highly unlikely that the book was written by a number of authors.

*I. E. Rudkovskaya*

**The 16<sup>th</sup> century in works by W. Robertson and N. M. Karamzin**

The article is devoted to the comparative analysis of the works by W. Robertson and N. M. Karamzin. «The history of the Russian state» cannot be understood adequately without considering English and Scottish historiographical tradition.

*P. P. Shkarenkov*

**Theodericus rex genitus in Ennodius' Concept of Royal Power: rhetorical and stylistic strategy and national ideology**

The article deals with Ennodius' concept of Theodericus' royal power. The concept has two main aspects, the first being the patriotic, national-Italian one, and the second being the religious one. Ennodius has no intention of including Theodericus into the chain of Roman emperors; on the contrary, he opposes Theodericus to them. Paying almost no attention to the Empire and Roman imperial ideology, Ennodius attempts to compare Theodericus with hellenistic rulers in general and with Alexander of Macedonian in particular. Ennodius includes Theodericus into a wider philosophical context of the hellenistic tradition of royal power, with Roman Empire as its variation.

---

---

*Дорогие читатели, вы можете подписаться на наше издание «Диалог со временем», на первое полугодие 2009 года, в любом отделении связи России. Подписной индекс 36030 в каталоге Агентства «Роспечати».*

---

---

## ОБ АВТОРАХ

---

АЛЕВРАС Наталья Николаевна — д.и.н., проф. кафедры Истории дореволюционной России Челябинского государственного университета.

АПРЫЩЕНКО Виктор Юрьевич — к.и.н., доц. кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Южного федерального университета.

ГРИШИНА Наталья Владимировна — к.и.н., ст. преп. кафедры новейшей истории России Челябинского государственного университета

ЖУРАВЛЕВА Виктория Ивановна — к.и.н., доц. кафедры мировой политики и международных отношений Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

ИОНОВ Игорь Николаевич — к.и.н., ст.н.с. Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ РАН).

КАЗАКОВА Ольга Юрьевна — к.и.н., доцент Орловского государственного университета.

КОЗЛОВА Мария Игоревна — аспирант кафедры историографии и источниковедения Ставропольского государственного университета.

КОЛЕСНИК Ирина Ивановна — д.и.н., проф., в.н.с. Института истории Украины Национальной академии наук Украины.

ПОЛЕТАЕВ Андрей Владимирович — д.э.н., проф., зам. директора Института гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного университета — Высшей школы экономики (ГУ — ВШЭ).

- РЕПИНА Лорина Петровна — д.и.н., проф., руководитель Центра интеллектуальной истории, зам. директора ИВИ РАН.
- РОСТИСЛАВЛЕВА Наталья Васильевна — к.и.н., доц. кафедры всеобщей истории РГГУ.
- РУДКОВСКАЯ Ирина Евгеньевна — к.и.н., доц. кафедры философии и социальных наук Томского государственного педагогического университета.
- САВЕЛЬЕВА Ирина Максимовна — д.и.н., проф., директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований ГУ — ВШЭ.
- СЕЛУНСКАЯ Надежда Андреевна — к.и.н., ст.н.с. Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН.
- СТОГОВА Анна Вячеславовна — к.и.н., н.с. Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН.
- ТОРСТЕНДАЛЬ Рольф — заслуженный (emeritus) профессор Уппсальского университета, Швеция.
- УСАЧЕВ Андрей Сергеевич — к.и.н., в.н.с. Научно-исследовательского отдела книговедения РГБ, ст.преп. кафедры истории и теории исторической науки РГГУ.
- ШКАРЕНКОВ Павел Петрович — к.и.н., проф., директор Института филологии и истории РГГУ.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## *Интеллектуальная история сегодня*

- Л. П. Ретина*  
Контексты интеллектуальной истории.....5
- Н. А. Селунская*  
Юбилей и юбилеи: универсальная идея и локальная римская история.....12

## *К Юбилею Иоганна Густава Дройзена*

- И. М. Савельева, А. В. Полетаев*  
«Возведение истории в ранг науки».....26

## *Интеллектуальные сообщества: теория и история*

- И. И. Колесник (Украина)*  
Интеллектуальное сообщество: сетевой анализ.....55
- Н. Н. Алеврас, Н. В. Гришина*  
Историк на перепутье: научное сообщество в «смуте» 1917 года.....87

## *Из истории интеллектуальной культуры*

- А. В. Стогова*  
Дружеское письмо во французских письмовниках  
конца XVI – начала XVIII века.....109
- М. И. Козлова*  
Кросскультурные коммуникации  
в «Разговоре о бессмертии души» М. М. Щербатова.....139

## *Цивилизационные представления и проблемы идентичности*

- И. Н. Ионов*  
Имперская / колониальная компонента  
цивилизационных представлений в XVI – начале XX века.....150

<i>В. Ю. Апрыщенко</i> Власть символов или символы власти Шотландии в первой половине XIX века.....	181
---	-----

### **Образы Другого**

<i>О. Ю. Казакова</i> «Муза на службе кумиру пользы»: американская тема в русской и французской поэзии 1850–1860-х гг. (опыт сравнительного анализа).....	205
<i>В. И. Журавлева</i> Образ России в репрезентациях американских карикатуристов в начале XX века.....	237

### **Историописание: теория и история**

<i>Р. Торстендаль (Швеция)</i> Историописание как профессиональное приращение знания.....	271
<i>А. С. Усачев</i> Методы работы древнерусского книжника и проблема авторства Степенной книги (часть I).....	294
<i>И. Е. Рудковская</i> XVI столетие в творчестве В. Робертсона и Н. М. Карамзина.....	321

### **Из истории идей**

<i>П. П. Шкаренков</i> Theodericus rex genitus в концепции королевской власти Эннодия: риторико-стилистическая стратегия и национальная идеология.....	353
<i>Н. В. Ростиславлева</i> Идеи Вильгельма фон Гумбольдта в ракурсе понятия “Бидермайер”.....	376
Summaries.....	391
Об авторах.....	394
Содержание.....	396
Contents.....	398

# CONTENTS

---

## *Intellectual history today*

- L. P. Repina*  
Contexts of intellectual history .....5
- N. A. Selunskaya*  
The Jubilee and jubilees: universal idea and local Roman history..... 12

## *To the jubilee of Johann Gustav Droysen*

- I. M. Savelyeva, A. V. Poletaev*  
'Elevation of history to the rang of science' .....26

## *Intellectual communities: theory and history*

- I. I. Kolesnik (Ukraine)*  
Intellectual community: network analysis .....55
- N. N. Alebras, N. V. Grishina*  
A Historian at crossroads: academic community in 1917.....87

## *The history of intellectual culture*

- A. V. Stogova*  
Friendly letters in French letter-writing manuals  
of the late 16<sup>th</sup> – early 18<sup>th</sup> cc.....109
- M. I. Kozlova*  
Cross-cultural communications in the 'Discourse of the immortality  
of the soul' by M. M. Tsherbatov .....139

## *Civilization views and problems of identity*

- I. N. Ionov*  
Imperial / Colonial component of civilization theories  
in 16<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> cc. ....150

<i>V. Yu. Aprytshenko</i> The power of symbols or symbols of power in Scotland in the first half of the 19 <sup>th</sup> century.....	181
---	-----

### ***Images of the ‘Other’***

<i>O. Yu. Kazakova</i> “Muse serving the idol of utility”: American theme in Russian and French poetry of 1850–60s (comparative analysis).....	205
<i>V. I. Zhuravlyeva</i> The image of Russia in the representations by American caricaturists of the early 20 <sup>th</sup> c.....	237

### ***History writing: theory and history***

<i>R. Torstendahl</i> (Sweden) History-writing as professional production of knowledge .....	271
<i>A. S. Usachev</i> Methods of work of an Old Russian scholar and the problem of the authorship of the Royal Book of Degrees (Part I).....	294
<i>I. E. Rudkovskaya</i> The 16 <sup>th</sup> century in works by W. Robertson and N. M. Karamzin .....	321

### ***History of ideas***

<i>P. P. Shkarenkov</i> <i>Theodericus rex genitus</i> in Ennodius’ Concept of Royal Power: rhetorical and stylistic strategy and national ideology.....	353
<i>N. V. Rostislavleva</i> The ideas of Wilhelm von Huboldt in connection to the notion of ‘Biedermeier’ .....	376
Summaries.....	391
Contributors.....	394
Contents.....	398